

БИБЛИОТЕКА ДОСТА

ПОЭТЫ
НАЧАЛА XIX ВЕКА

ПОЭТЫ
НАЧАЛА XIX ВЕКА

С

Q

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

основана

М. ГОРЬКИМ

МАЛАЯ СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

ленинград

ленинград

1 9 6 1

ПОЭТЫ НАЧАЛА XIX ВЕКА

титул
советский
писатель

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Ю. М. Лотмана*

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ НАЧАЛА XIX ВЕКА

Литературное развитие неравномерно. За годами бурного поэтического цветения следуют эпохи молчания, внутреннего накопления сил. Но и эти, менее яркие, периоды, мимо которых подчас проходит невнимательный читатель, неодинаковы. История русской литературы знает страшные годы, когда реакция подавляла свободную мысль, ломая то, чего не могла согнуть, Общество безмолвствует, деморализованное, обескровленное утратой лучших деятелей, оглушенное, по словам Некрасова, «литературой с трескучими фразами, полною духа античеловечного». Литература, как вытопанное поле, зарастает сорняками. Наступает «безвременье». Таковы были конец 90-х годов XVIII века, или «мрачное семилетье» конца 40-х — начала 50-х годов в последующем столетии.

Но бывают и другие периоды, тоже не дающие ярких всходов. Это время быстрого исторического развития, время, когда жизнь раскрывается перед современниками настолько по-новому, задает им задачи, столь не похожие на те, которые волновали предшествующее поколение,

что требуются длительные усилия, долгие поиски, чтобы найти правильную дорогу. В такое время поставить вопрос, почувствовать самую потребность времени иногда важнее, чем дать торопливый ответ. В искусстве появляются труженики и искатели, дающие значительно меньше, чем могли бы по силе своего таланта. Но именно они прокладывают дорогу великим поэтам будущего. Литература в такие годы, как засеянное поле, гряд в своих недрах жатву будущих поколений. Именно такова была литература первых двух десятилетий XIX века.

XVIII столетие закончилось. Во Франции революционные бури сменились консульством генерала Бонапарта, в России группа придворных заговорщиков в ночь на 12 марта 1801 года убила императора Павла. Взошедший на престол Александр I остановил казни, вернул сосланных, торжественно обещал царствовать «по заветам и сердцу бабки своей» Екатерины II. Казалось, начинающийся век обещал быть спокойным и устойчивым. Однако внимательные наблюдатели чувствовали приближение великих и трагических событий. Поэт С. Бобров приветствовал новый век словами, вложенными в уста античного бога Януса, ворота храма которого в древнем Риме не запирались во время войны:

Едва ль когда мой храм цветущий
Затворен был в минувший век.
Не чаю, чтоб и век грядущий
Без молний в тишине протек.

XVIII век завершился рядом социальных катаклизмов — новое столетие началось полосой общеевропейских войн. Важнейшая из них — Отечественная война 1812 года — на много лет определила весь ход русской жизни.

Новый век пришел в таком сложном переплетении общественных вопросов, что многие чаяния и верования предшествующего показались наивными. Пожалуй, самым основным среди вновь раскрывшихся перед современниками, прежде неизвестных им качеств жизни была *сложность*. Сознание XVIII века воспринимало жизнь как соединение многих простых задач, каждая из которых может быть выделена и разрешена в отдельности. Я. Козельский, типичный мыслитель этой эпохи, считал противоречие логической бессмыслицей: «Возможное есть то, что не заключает в себе противоречий, а невозможное называется то, что заключает в себе противоречие». О сложности и противоречивости бытия говорили только мистики и иррационалисты, но и для них все сводилось к механическому соединению двух отдельных и разнородных стихий: души и тела, добра и зла, страстей и ума. Противоречие воспринималось не как внутреннее свойство явления, а как насильственное соединение двух противоположных, но внутренне простых сущностей. Так же понимал сложность, противоречивость и Державин:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю...

Потребовался глубокий переворот в сознании, чтобы материалист и единомышленник Гельвеция подвел итог прошедшему столетию в следующих стихах:

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно
и мудро,
Будешь проклято вовек, в век удивлением
всех...
...Мудрости смертных столпы разрушив, ты их
паки создало;
Царства погибли тобой, как раздробленный
корабль;
Царства ты зиждешь; они расцветут и низринутся
паки.
(Радищев)

Не все было новым в сложном клубке противоречий, распутать который предстояло человеку XIX столетия. XVIII век завещал острый и нерешенный вопрос уничтожения несправедливого феодального общества, основанного на неправде и угнетении. Борьба за свободу и равенство, за права человеческой личности, мысль о том, что сама эта личность выше и значительнее любых политических абстракций, что никакие соображения религиозной или государственной власти не могут оправдать насилия над человеком, — все это составляло живое наследие «философского столетия». Идея личности продолжала оставаться главной идеей времени.

Однако рядом с ней появилась и другая, не менее острая.

XVIII век знал идею народа. Более того: именно в эту пору выдвинута была доктрина народного суверенитета, мысль о том, что все в политической жизни должно совершаться для народа и через народ. Однако сам народ мыслился как категория количественная, как многократное повторение отдельных, однородных человеческих единиц. Полагали, что все свойства народа можно изучить на примере искусственно изолированного человека, Робинзона. В этом смысле идея прав личности и идея народного суверенитета не противостояли, а дополняли друг друга. Именно поэтому безусловный и полный демократизм так легко давался передовым теоретикам XVIII века. В начале нового столетия народ предстал как единство, обладающее не только теми же качествами, что и каждая из составляющих его единиц. Проблема народности получила самостоятельное существование, не зависящее от идеи прав личности, а порой и вступающее в противоречия с этой идеей.

Так определились два основных вопроса, волновавших умы в начале XIX века, — идея личности и народность. Они лежали в основе страстных дискуссий, которые наложили печать на всю литературную жизнь тех лет. В спорах о языке, об эпической и лирической поэзии, о балладе и национальной самобытности комедии — во всех тех полемиках, которые то вспыхивали между сторонниками старого и нового слога, то разделяли любителей театра на приверженцев Озерова и его противников, то разгорались во-

круг критики «Россиады» Хераскова Мерзляковым и Строевым или «Людмилы» Жуковского Катениным и Грибоедовым, — постепенно прояснялась сущность основных общественных вопросов: идеи личности и идеи народности. А за этим стояла общественная проблема — соотношение передового деятеля и народа и их место в антифеодальной борьбе.

1

Литература первых двух десятилетий не решила ни одного из этих вопросов. Но она их отчетливо поставила, сделала предметом раздумий и обсуждений, и в этом ее историческая заслуга.

XIX век отделялся от предшествующего не только условностью хронологического исчисления. Современники почувствовали, что началась новая эра. Даже старые, завещанные XVIII веком вопросы выглядели по-новому и решались иначе. Иными стали сами понятия «история» и «политика». Веками гражданское бытие Европы, определение ее политических судеб было монополией узкого круга профессиональных политиков и теоретиков-философов. История вершилась в Париже, Петербурге, Вене и Лондоне. Только здесь современники привыкли находить «историческую» жизнь. Ученый-историк привык ограничивать свой кругозор и географически, и социально. Участвующие в событиях массы не включались в круг «исторических личностей», на них смотрели лишь

как на орудия. В первые же годы XIX века политика стала восприниматься как общественное, а не узко правительственное дело, потому что, в отличие от войн, которые вели абсолютные монархии XVII—XVIII веков, антинаполеоновские войны не были только суммой военных операций. Речь шла не о тех или иных территориальных изменениях, а об определении будущих путей развития Европы. Участие в таких войнах было не только военной, но и политической школой. Круг лиц, живущих исторической жизнью, непосредственно и сознательно участвующих в историческом творчестве, резко возрос.

Другой особенностью явилось изменение темпа исторической жизни. Дело даже не в том, что размеренный ход событий, дававший ощущение прочности социальных институтов, — чувство, которое сквозит во всей поэзии Державина, — сменился политическим калейдоскопом европейских событий конца XVIII — первых двух десятилетий XIX века. Темп жизни был не только быстрым — он был постоянно убыстряющимся, и тому, кто хочет понять литературу тех лет, надо отказаться от привычного взгляда на время, ее породившее, как на годы патриархальной усадебной идиллии. Молодое поколение чувствовало себя подхваченным гигантским потоком, «в дыму столетий», по счастливому выражению Пушкина.

Именно этот напряженный темп событий породил явление, неизвестное XVIII веку и ставшее чрезвычайно типичным для XIX, — разрыв между поколениями, коллизию «отцов и детей».

XVIII век знал очень острые литературные схватки, ожесточенные идейные полемики. Но тогда писатели, разделенные разницей возраста и мировоззрения, — Сумароков и Эмин, Княжнин и Крылов, Радищев и Карамзин — были людьми, *по-разному* думающими *об одном*. Они были противниками, но принадлежали к одной эпохе. В начале XIX века разница в десять-пятнадцать лет разводила людей на такое расстояние, что зачастую даже полемика между ними оказывалась невозможной. Основное чувство, охватившее Якушкина после возвращения в 1814 году из заграничных походов, — ощущение пропасти, отделяющей его поколение от предшествующего. «Мы ушли от них на 100 лет вперед». Это же чувство господствует и в «Горе от ума». Несколько позже И. Киреевский писал: «Взгляните на европейское общество нашего времени: не разногласные мнения одного века найдете вы в нем, нет! Вы встретите отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько разнообразные между собою. Подле человека старого времени найдете вы человека, образованного духом Французской революции; там — человека, воспитанного обстоятельствами и мнениями, последовавшими непосредственно за Французскую революцию».

Особенность эпохи наложила печать на литературу. На тесном пространстве двух десятилетий сошлись поэты нескольких поколений. Еще творили и активно влияли на ход литературного развития поэты, пришедшие из XVIII века: Дер-

жавин, Дмитриев, С. Бобров, Горчаков, Долго-руков. Жалобы современников на «устарелость» их творчества отражают не реальный упадок таланта этих поэтов — Державин, например, продолжал создавать поэтические шедевры вроде «Евгению. Жизнь званская», — а расхождение вкусов поколений. Традиции поэзии XVIII века продолжали и многие более мелкие поэты — такие, как Панкратий Сумароков, Нахимов, Марин. На рубеже XVIII и XIX веков в поэзию приходит новое поколение: Пнин, Гнедич, Востоков, Мерзляков, Андрей Тургенев, Воейков. В короткий срок эти поэты приобретают авторитет «образцовых сочинителей». Так, совсем не новичок в поэзии, И. М. Долгоруков, выходящая в свет свое собрание стихотворений «Бытие сердца моего», предупреждал читателей, что не «хотел свои сочинения сделать образцовыми для других, как, например, в стихах Ломоносов, Державин, Мерзляков, а в прозе Карамзин». С. Жихарев в 1805 году считает Мерзлякова гениальным.

В Петербурге разворачивается деятельность поэтов «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», молодые организаторы которого быстро захватывают инициативу в литературной жизни Петербурга. Радикализм общественных воззрений, стремление к поэтическому новаторству обеспечивают этим поэтам видное место в литературной жизни первых лет XIX века. Но уже к концу первого десятилетия имена Жуковского, Крылова, Батюшкова, Д. Давыдова

затмевают славу их московских и петербургских предшественников, творчество которых начинает казаться архаическим. С 1812 года творчество Жуковского и Крылова окружено ореолом поэтических выразителей патриотизма эпохи Отечественной войны. Но эти поэты находятся еще в расцвете сил и апогее славы, а на литературном поприще появляется уже поколение Вяземского, Пушкина, Грибоедова, Рылеева, и, полный поэтической энергии, Жуковский вынужден в 1820 году признать себя «побежденным учителем». А в 1824—1825 годах Пушкин, подчеркивая историческую роль Жуковского, еще живо и активно пишущего, безжалостно относит его творчество к литературным явлениям вчерашнего дня: «Жуковского я получил. Славный был покойник, дай бог ему царство небесное!»

Если прибавить, что по стечению трагических обстоятельств жизнь и творчество многих поразному одаренных поэтов этой эпохи — таких, как Батюшков, Андрей Тургенев, Пнин, Бенитцкий, — оборвались в середине, а порой и в начале их поэтического расцвета, то станет ясна причина очень типичного для эпохи явления — расхождения в оценке роли поэта людьми его поколения и потомством. И для того чтобы понять подлинную историческую картину, следует учитывать оба типа оценок. Необходимо помнить, что творчество десятков ныне забытых поэтов начала XIX века составляло поэтический «воздух», которым дышало пушкинское поколение.

Литературной жизни начала XIX века не свой-

ственна четкая разграниченность лагерей и программная определенность. Это обусловлено переходным характером эпохи. Та расстановка сил, которая определилась в конце XVIII века, уходила в прошлое — литературные лагеря пушкинской эпохи еще не сложились. Обычным явлением эпохи сделалось расхождение между теоретическими высказываниями писателя — его собственным литературным самоопределением — и реальным смыслом его художественной позиции. В подобных условиях далеко не всегда принадлежность к той или иной писательской группе можно рассматривать как свидетельство безусловного принятия ее творческих установок. Общеизвестен факт участия Крылова, Державина (а в определенный период и Гнедича) в «Беседе любителей русского слова». Почти в каждой литературной организации начала века найдутся подобные примеры.

Обилию расплывчатых в программном отношении объединений соответствовало отсутствие центральной вершины, общепринятого главы словесности — фигуры, равной по значению Пушкину, Гоголю или Толстому для их эпох. Но несомненно: самой крупной фигурой литературного движения начала XIX века был В. А. Жуковский. В творчестве Жуковского не слились, как в фокусе, подобно пушкинскому или гоголевскому творчеству, все прогрессивные тенденции эпохи. Многие, и важные, явления в поэзии тех лет развивались помимо Жуковского, многие — наперекор ему. Его поэзия была односторонней

и не может рассматриваться как выразительница *всей* литературы эпохи. И все же именно она была главной нотой в поэтическом аккорде времени.

Жуковский явился продолжателем литературного дела Карамзина. Белинский писал: «Карамзиним началась новая эпоха русской литературы». И далее: «Жуковский внес новый живой, может быть, еще более важный элемент, в русскую поэзию, чем элемент, внесенный Крыловым. Жуковский проложил себе собственный путь, в котором не было ему предшественников; муза Жуковского возросла и воспиталась на почве, в то время никому из русских неведомой и недоступной, — и, несмотря на то, было бы делом чистого произвола отметить именем Жуковского какой-нибудь из периодов русской литературы и не видеть в нем опять-таки одного из значительнейших или даже и самого значительнейшего деятеля в том периоде русской литературы, главою и представителем которого был Карамзин».

Историческая позиция Белинского, считавшего школу Карамзина — Жуковского главным направлением литературного развития предпушкинской поры и сурово оценивавшего попытки утвердить господство этого лагеря на следующем этапе, достойна самого пристального внимания.

Определяя пафос Жуковского термином «романтизм» «средних веков», Белинский очертил и содержание, и меру прогрессивности позиции поэта. Напомним, что во второй статье пушкинского цикла, откуда мы заимствуем приведенную выше формулу, Белинский трактует понятие ро-

мантизма несколько специфически, да и сам этот термин употребляется здесь в ином, чем в других статьях Белинского, значении. Статья написана в пору страстного увлечения критика идеями утопического социализма: Центральная ее мысль — борьба за права и человеческое достоинство личности. Белинский употребляет термин «романтизм» как синоним идеи личности. «Романтизм — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии». И далее: «Где человек, там и романтизм». Вместе с тем романтизм «средних веков», по Белинскому, — это идея личности, толкуемая спиритуалистически, погружение во внутренний мир, пренебрежение борьбой за материальные права и реальные блага личности. В этом — ограниченность «средневекового» романтизма. «Обаятельна жизнь сердца; но без практической деятельности, источник которой заключался бы в пафосе и идее, самый богато наделенный дарами природы человек рискует скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустоте мечтательных ожиданий и действительного отращения к чувству бытия. Романтизм без живой связи и живого отношения к другим сторонам жизни есть величайшая односторонность!»

Белинский считал «средневековый романтизм», интерес к «жизни сердца» вехой на пути к «романтизму нового времени» — к борьбе за реальное раскрепощение человеческой личности.

Концепция Белинского настолько ясна и исчерпывающа, что вопрос казался бы весьма простым,

если бы Карамзин и Жуковский были первыми, кто внес в русскую литературу идею личности. Однако факты истории свидетельствуют, что и в общеевропейском, и в русском литературном движении идея личности была высказана до карамзинистов, и притом в значительно более решительной форме. Идею личности и ее прав писали на своих знаменах «философы» XVIII века и Руссо, Лессинг и Шиллер, Радищев и русские просветители. По отношению к этим литературным и общественно-идеологическим явлениям концепция человека в творчестве Карамзина — Жуковского не выступала как новая, наступательная, ведущая вперед. Она выглядела значительно более выхолощенной: ей были чужды активный антифеодальный пафос и боевой дух. Значит ли это, что творчество Карамзина как беллетриста¹ и Жуковского играло реакционную роль? Значит ли это, что оценка Жуковского Белинским неточна? При оценке степени исторической прогрессивности того или иного деятеля необходимо исходить из особенностей конкретного исторического момента. В начале 1790-х годов Россия переживала время общественного подъема. Народные движения в пределах страны, явное приближение развала французской монар-

¹ Из контекста ясно, что Белинский говорит о творчестве Карамзина 1790-х годов. С этим периодом связаны художественные принципы, которые развивались Жуковским и последователями Карамзина в начале XIX века. Сам Карамзин в дальнейшем отошел от них и в эти годы уже «карамзинистом» не был.

хии — одного из наиболее влиятельных государств феодальной Европы — все это заставляло думать, что мир находится на пороге эры разума и справедливости. Одним из результатов этого явилось быстрое размежевание общественно-литературных лагерей. На первый план выдвигалась задача создания четкой революционной теории. Общество разделилось на два лагеря: дворянский и демократический. Пробным камнем сделалось отношение к революции. В подобных условиях вперед выступало не то, что разделяло правительственную реакцию и подозреваемого в неблагонамеренности Карамзина, а также мечтавших о братстве на земле масонов, а то, что соединяло их, — боязнь народных масс и народной революции.

Совершенно иная ситуация сложилась в начале XIX века. Надежды на близкую революцию в России теперь не питают даже самые решительные мыслители. Естественно, что отношение к крестьянской революции перестало выступать в качестве общественного индикатора: надежд на нее не возлагал никто из поколения литераторов 1800—1810-х годов. Общественные критерии сделались значительно менее четкими: сторонники прогресса, поступательного движения, свободы, даже в самых умеренных ее проявлениях, — с одной стороны, и поборники застоя, реакционеры, «гасильники» и «хамы», по терминологии Н. И. Тургенева, — с другой.

В начале XIX века поэтому уже не могло идти речи о размежевании с теми, кто был непосле-

дователен и нерешителен в своей проповеди свободы и человеческого достоинства. Для определенного периода общественного развития сделалось характерным положение, при котором интересы передовой части общества настоятельно требовали объединения всех прогрессивных сил, их консолидации. В этих условиях отнюдь не борьба с либеральным лагерем могла сделаться главной задачей борцов против самодержавия и крепостного права. Более того: в годы резкого спада революционной волны и в России, и в Западной Европе никто уже не мог надеяться собрать мощные прогрессивные силы вокруг идеи народной революции. Временно сложилось специфическое положение: именно умеренные идеалы абстрактной свободы позволили собрать и объединить те антиправительственные силы, которые испугались бы проповеди якобинских идей.

Развитие литературы первых двух десятилетий XIX века было чрезвычайно динамичным. То, что в центре поэзии встало творчество Жуковского, стремившегося перенести внимание поэзии на человеческую личность, ее внутренний мир и нравственное достоинство, сразу же отделило литературу прогрессивную от литературы официальной. И вместе с тем ни на одном из этапов литературного развития, в годы наивысшего расцвета славы Жуковского, творчество его не рассматривалось как уже достигшее апогея, уже выразившее передовые чаяния современников. Даже самые пламенные сторонники Жуковского никогда не смотрели на него как на поэта, уже выпол-

нившего свое предназначение. Он воспринимался как художник огромных потенций, и от него ждали, требовали чего-то большего, чем то, что действительно заключалось в его поэзии. Почти с самого начала своего творчества Жуковский находит критиков не только среди тех, кому его поэзия была чужда и непонятна, но и среди друзей, сторонников и единомышленников. Раздаются двоякие упреки: Жуковского осуждают за политическую индифферентность и за недостаточную народность поэзии. Смысл этих упреков был неодинаков, и раздавались они из разных общественных лагерей.

Наиболее резко осуждал Жуковского за умеренность политических взглядов П. А. Вяземский. В марте 1821 года он писал Жуковскому: «Добрый мечтатель! Полно тебе нежиться на облаках; спустись на землю, и пусть по крайней мере ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование — вот современное вдохновение! При виде народов, которых тащат на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий о чистом самодержавии, какая лира не отгрынет сама: мечь! мечь!»

И вместе с тем Вяземский нигде не восстает против *самого принципа лиризма*, составляющего основу художественного метода Жуковского. Он считает лишь, что Жуковский слишком узко применяет свои собственные художественные принципы: картину сердечных страданий следует до-

полнить описанием политических невзгод. Все это *вместе* воссоздаст ту полноту индивидуальной жизни, погружение в которую — цель поэзии. Любовная элегия и гражданская лирика для Вяземского — не взаимоисключающие, а взаимодополняющие жанры. По поводу стихотворения Пушкина «Погасло дневное светило» он писал: «Жаль, что в этой элегии дело о любви одной. Зачем не упомянуть о других неудачах сердца? Тут было где поразгуляться». В представлении Вяземского, поэзия Жуковского исполнена свободолюбивых потенций и дело только в том, чтобы убедить поэта развернуть их до конца. Жуковский для Вяземского — нераскрывшийся Байрон. Свою собственную мятежную поэзию Вяземский считает продолжением и развитием лирики Жуковского. Политическое свободолюбие для него — результат полноты индивидуального бытия. Яркость жизни человека и свобода — синонимы. Поэтому любовная лирика, дружеское послание, уводя поэзию из мира официальности и казенности, служат делу «либерализма». Но их недостаточно для того, чтобы выразить всю полноту сердечной жизни человека XIX столетия. В душе его живет и жажда политической независимости, которая требует поэзии непосредственного гражданского наполнения. Жуковский признавался вождем, но это не был вождь, проложивший дорогу до конца, исчерпавший свои принципы и ведущий за собой толпу последователей: уже первые ученики Жуковского претендовали на руководство своим учителем, стремились его на-

правлять, указывали ему пути. Таким образом, для первых двух десятилетий XIX века романтизм Жуковского не только не играл реакционной роли, но оставался прогрессивным направлением в русской поэзии. Положение изменилось в начале 1820-х годов. И для того чтобы понять причины этих изменений, необходимо отвлечься от чисто литературных вопросов и обратиться к явлениям общественно-политической жизни.

Размежевание с либералами и разоблачение их как наиболее гибких защитников существующего порядка — характерная черта революционной идеологии в эпохи общественных кризисов — присущи далеко не всем этапам развития освободительного движения. Мы можем отметить целые периоды — это чаще всего будут периоды реакции, — когда борьба за чистоту революционной теории будет заслонена задачей консолидации всех антиправительственных сил. Так было в конце 40-х годов, когда Белинский пробовал организовать блок всех сторонников освобождения крестьян — либеральных и революционно-демократических. Так было и в конце 1810-х — начале 1820-х годов.

Первые тайные общества декабристов были малочисленны, окружены атмосферой глубокой конспирации и в силу этого лишь косвенно могли влиять на поэзию. Иная картина сложилась в эпоху «Союза благоденствия». Это была первая декабристская организация, поставившая целью широкое воздействие на писателей и литературу.

Программные установки «Союза благоденствия» исключали возможность идейного размежевания с либеральной дворянской общественностью. Более того: задачи поступательного развития революционного движения требовали перехода от заговорщической тактики раннего периода к широкой пропаганде, объектом которой должна была стать дворянская общественность. В этих условиях поиски союзников среди неревлюционно настроенных, но оппозиционных современников становились неизбежностью, в то время как размежевание с лагерем дворянских либералов означало бы лишь возврат к уже опорочившей себя тактике заговора. Тактика в вопросах политической борьбы влияла на расстановку сил в литературе. Деятели «Союза благоденствия» резче, чем Вяземский, ощущают ограниченность позиции Жуковского, но, конечно, не рассматривают его как поэта, враждебного по своим творческим устремлениям. Жуковский теряет роль поэтического вождя, но и не становится еще противником. На него распространяется положение, определяющее отношение «Союза благоденствия» ко всей либерально-дворянской литературе начала 1820-х годов: «В словесности допускается только истинно изящное и отвергается все худое и посредственное» («Зеленая книга»). Ясно, что такая нарочито нечеткая формула могла служить основой для стремления воспитать широкий круг литераторов, приблизить их к себе. Для размежевания потребовались бы другие формулы.

Перелом в отношении к Жуковскому таких во

многом ему обязанных литераторов, как Рылеев, Бестужев, Пушкин, относится приблизительно к 1820—1823 годам. И это не случайно. Движение декабристов вступает в новую стадию. Соотношение революционного и прогрессивного лагерей складывается по-новому. Начинается процесс размежевания революционеров и либералов, не зашедший, однако, так далеко, как в середине XIX века. Прогрессивные возможности поэтического метода Жуковского исчерпали себя, и он оказался в лагере консервативных литераторов.

Другую сторону в позиции Жуковского раскрывает его отношение к захватившей литературу начала XIX века полемике о народности искусства.

Если критика Жуковского за недостаточно глубокую, боевую разработку идеи личности исходила со стороны его друзей и последователей и велась, так сказать, «изнутри», то упреки в отсутствии «народности» исходили со стороны литераторов, не принимавших самих основ поэзии Жуковского. За «ненародность» Жуковского критиковали и литературные реакционеры, и писатели демократического лагеря, и близкие к декабристской программе литераторы, группировавшиеся вокруг Грибоедова и Катенина. Критики разных лагерей требовали от Жуковского народности, и нельзя сказать, чтобы поэт игнорировал эти требования. История его поэтической деятельности между 1806 и 1820 годами дает целую цепь попыток выйти за пределы романтического субъективизма. На этом пути Жуковского ждали такие победы, как «Певец во стане русских вои-

нов» и «Светлана». И все же Жуковскому скорее принадлежит честь постановки вопроса, чем его решения. Требуя воплотить идею народности в поэзии, литературная жизнь накануне Отечественной войны вновь выдвинула вперед эпические жанры. Интерес к ним захватил и одаренных поэтов разной направленности, и бездарных эпигонов классицизма. Но если для Гнедича, Востокова, Мерзлякова переход к эпосу в поэзии был равносителен отказу от лирики, то Жуковский встал на путь соединения этих элементов. Ему не удалось найти синтез — лирический элемент оказался главенствующим. Органическое соединение эпоса и лирики, объективного и субъективного в поэзии было достигнуто лишь на следующем этапе развития русской поэзии.

Школа Жуковского была основным, но не единственным поэтическим течением эпохи. Кроме карамзинистов, в литературной жизни тех лет можно выделить еще три направления: поэзию широкого, но лишнего четких границ демократического лагеря, поэзию архаически настроенных шишковистов и поэзию зарождающейся дворянской революционности. Взаимоотношения между этими лагерями были весьма сложными.

Вне любых направлений дворянской литературы находились поэты, в той или иной мере наследовавшие демократические традиции XVIII века. Как ни отличались по своим воззрениям, творческой индивидуальности и таланту такие поэты, как Крылов, Гнедич, Востоков, Мерзляков, Пнин, Попугаев, Буринский и многие другие, но у них

была одна общая черта: все они стояли вне любых течений современной им дворянской литературы, все они были прочно связаны с традицией просветительства XVIII столетия. Вместе с тем, утратив революционность, они потеряли и основу для непримиримого размежевания с дворянским лагерем. Конкретные обстоятельства литературной жизни заставляли их смыкаться то с той, то с другой из дворянских литературных группировок. Лагерь этот не был единым и не играл в литературе решающей роли, поскольку, в силу целого ряда исторических причин, демократическая идеология в начале XIX века отказалась от революционных выводов и потеряла ведущее место в общественной жизни. В творчестве многих деятелей этого лагеря отчетливо ощущались черты эпигонства. И все же он сыграл весьма знаменательную историческую роль в процессе формирования литературного облика эпохи.

Особенно ощутимо участие литераторов этого лагеря в полемике по вопросу о народности поэзии — одной из центральных проблем в жизни искусства начала XIX века. Поэты этого лагеря отрицательно относились к карамзинскому культу «безделок» и тяготели к искусству «важному» — идейно насыщенному и патристическому. К числу первостепенных задач они относили поэтическое воплощение образа народа. Разными попытками решения этой задачи были и басни Крылова, и песни Мерзлякова, и фольклорные опыты Востокова, и идиллии и переводы Гнедича. Наследники демократической философии XVIII ве-

ка, поэты этого лагеря чужды были романтическому противопоставлению народа и личности. Особенно интересна в этой связи античная тема в поэзии литераторов демократического лагеря. Освобожденный от уродующих его социальных наслоений, возведенный до той степени совершенства, на какую способна его природа, человек вместе с тем обладает всеми свойствами народа. Противопоставление эпоса и лирики принципиально снято. С одной стороны, в народе изображается не его современное угнетенное состояние, а героические возможности. Гомер воспринимается как народный певец, а «Илиада» — как рассказ о примитивном, но героическом народе. С другой стороны, в лирике поэт «очищает» свои переживания от всего индивидуального, возводя и свою личность до идеала. Из своих переживаний поэт выделяет героические эмоции. Человеческий идеал «Оды достойным» Востокова, «Оды Калистрата» И. Борна, «Переводов из Тиртея» Мерзлякова в равной мере может быть выражен в лирике автора или погружен в эпос. В первом случае перед читателем возникнет героически преображенная личность автора, во втором — в центре произведения встанет представитель народа, как его мыслили себе Гнедич или Мерзляков.

Другая характерная черта поэтов этого лагеря — попытка выразить собственные душевные переживания средствами народной песни. Большой интерес к русскому фольклору проявили Востоков и Мерзляков.

Творчество всех поэтов данной группы, сыграв определенную историческую роль, все же оставалось на боковых путях литературного движения. Исключение составлял лишь Крылов и по силе таланта, и по исключительной самобытности художественного метода. Крылов нашел совершенно новые пути для изображения народного сознания. Раскрывая неповторимые черты своеобразия национального и социального облика народа, его мышления и речи, Крылов прямо подготавливал реализм Пушкина.

Одно из влиятельных направлений дворянского лагеря в начале XIX века было возглавлено А. С. Шишковым. Объединением его сторонников была в значительной степени «Беседа любителей русского слова». В исследовательской литературе утвердилось мнение о связи поэтов этого лагеря с безнадежно устаревшими уже в начале XIX века принципами классицизма. Представление это нуждается в коррективах. Если учесть, что определенная группа членов «Беседы» (Крылов, Гнедич, Галинковский) не имела с шишковистами ничего общего, кроме одинаково отрицательного отношения к Карамзину, что в «Беседу» входила вызывавшая бесконечные насмешки современников группа поэтов (А. Бунина, Хвостов и др.), творческая позиция которых представляла собой эпитонство, возведенное в принцип, то останется немногочисленная группа одаренных (С. Бобров, Шихматов-Ширинский) и весьма посредственных (Е. Станевич и др.) поэтов и литераторов, чье творчество никак нельзя связать с принципами

классицизма. Эстетика «беседчика» Шихматова-Ширинского, а также и занимавшего особую позицию Боброва — это предромантическая эстетика масонской формации, основанная на идеях А. М. Кутузова, впитавшая влияния Мильтона, Юнга, Клопштока и позднего Хераскова. В значительной степени на тех же эстетических позициях стоял и Г. Каменев. В творчестве С. Боброва эта эстетика будет осложнена просветительскими идеями XVIII века и державинской традицией «живописной» поэзии. Все это ни теоретически, ни практически не укладывалось в рамки классицизма.

Наконец, картина развития поэзии первых двух десятилетий была бы неполной, если бы мы не учли, что в это же самое время намечались контуры будущей литературной школы декабризма.

Определение границ тех художественных явлений, которые могут быть соотнесены с политической программой дворянских революционеров, особенно на ранних стадиях ее формирования, представляет известные трудности. Бесспорным признаком декабристской поэзии будет являться свободолобие. Однако взятый сам по себе, этот критерий недостаточен для того, чтобы выделить в массе оппозиционной поэзии революционную струю. Проповедь свободы для личности, даже в самых мятежных и бунтовщических формах, не говорит еще о выходе за пределы дворянского либерализма, если не сопровождается постановкой вопроса о положении народа. Романтизм Жуковского отличался от декабристского

романтизма не просто как искусство политически индифферентное от свободолюбивого. Разница заключалась в отличии субъективно-идеалистической эстетики от художественного метода, впитывающего демократические идеи. В. И. Ленин определил декабристов как дворян, которые «были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн». ¹ Процесс «заражения» демократическими идеями был, разумеется, длительным, подготовленным задолго до заграничных походов всей суммой антифеодальных идей России и Европы, включая Радищева и деятелей русского просветительства, с одной стороны, и энциклопедистов, Руссо и публицистов эпохи Французской революции — с другой. Дворянская революционность — мировоззрение, противоречивое по самой своей природе. Оно включает разнородные элементы: дворянский либерализм и демократическую идеологию, подразумевая в то же время борьбу между этими элементами и постепенное возобладание демократических черт мирозерцания. Период после распада «Союза благоденствия» был отмечен все убыстряющимся размежеванием революционного и либерального лагерей. Однако для декабриста такая борьба была связана и с внутренним перерождением. Вместе с тем полное торжество демократических элементов мировоззрения означает конец периода дворянской революционности и рождение революционности демократической.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 237.

Этим объясняются и пути декабристской поэзии. Критика романтического субъективизма поэтики Жуковского занимала важное место в становлении поэтики декабристов. И вместе с тем это была критика в процессе внутреннего перерождения. Более того: осознавая недостаточность субъективистской поэтики и преодолевая ее, декабристы, оставаясь в рамках дворянской революционности, не могли преодолеть ее до конца.

Таким образом, для зарождающейся поэзии декабризма оказываются чрезвычайно важными столкновения и полемика между школой Жуковского и поэтами, наследовавшими демократическую традицию XVIII века. Споры о народности, об эпической поэзии, о русской национальной теме и т. д. были теми реальными каналами, по которым шло «заражение» дворянской поэзии демократическими идеями. Огромную роль здесь сыграл 1812 год и пример «Певца во стане русских воинов» — стихотворения, нового в творчестве Жуковского и вместе с тем органически связанного с его лирической поэзией, впитавшего опыт русской и мировой героической лирики — от «Песни радости» Шиллера до «Славы» и «Переводов из Тиртея» Мерзлякова. Поиски в области создания произведений на фольклорные и исторические сюжеты, попытки перехода от бессюжетной лирики к «объективным» поэтическим жанрам — все эти и многие другие процессы в поэзии начала XIX века глубоко примечательны с точки зрения генезиса литературного декабризма.

Характерной чертой литературной жизни первых двух десятилетий XIX века явилось стремление к организационному оформлению писательских групп. Стремление это являлось следствием осознанной потребности в сплочении, столь характерном для общественной жизни тех лет и нашедшем логическое и историческое завершение в создании декабристских литературных объединений — легальной надстройки над конспиративной организацией. Вся литературная жизнь этого периода кипит многочисленными объединениями, большей частью эфемерными и быстро распадающимися.

В самом начале века в Петербурге возникает «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» (1801—1808), которое почти сразу сделалось ареной ожесточенной борьбы, приведшей его в конечном итоге к распаду. Почти одновременно в Москве возникает «Дружеское литературное общество». Внутренняя жизнь и этой организации характеризуется борьбой и полемикой, сделавшими общество недолговечным. Но не успевает ликвидация «Дружеского литературного общества» стать фактом, как один из инициаторов его, Андрей Тургенев, переехав в Петербург, организует там новое объединение с участием Михаила и Петра Кайсаровых, Галинковского и Юзефовича, а другой — Мерзляков — создает дружеский кружок поэтов, куда входят З. Буринский, Ф. Иванов, С. Смирнов и некоторые другие

московские литераторы. Возникает кружок поэтов, группирующихся вокруг Милонова (Грамматин, Политковский), кружок Анастасевича-Варакина. Андрей Кайсаров, только приехав в Дерлт (Тарту), чтобы занять кафедру профессора, сейчас же приступает к созданию общества переводчиков — широко задуманной организации, которая должна была, по его мысли, объединить русских литераторов и студентов русских университетов для широкой просветительской работы. Позже планы создания общества переводчиков вынашивал Михаил Орлов. Попав в 1812 году в штаб Кутузова, А. Кайсаров и здесь не ограничивается выполнением служебных обязанностей — вскоре возникает литературный кружок с участием его самого, Жуковского, Воейкова и, возможно, Михайловского-Данилевского. После окончания наполеоновских войн возникает «Арзамас». Литературные объединения растут и в провинции: так, в Оренбурге возникает кружок поэта Кудряшева, а в Варшаве Вяземского—Габбе, которые уже вплотную подходят к черте, отделяющей преддекабристские литературные организации от литературных обществ дворянских революционеров.

Кратковременность существования — характерная черта этих объединений — не является показателем их исторической незначительности. Именно она является интересным свидетельством очень важного процесса. В XVIII веке литературный кружок был чаще всего приятельским объединением. Его скрепляли узы личной приязни, родство,

светские знакомства или совместная служба. В этом смысле чрезвычайно характерен кружок Державина. В него входили столь различные по своим литературным и общественным воззрениям поэты, как сам Державин, Капнист, Львов, Хемницер.

Кружок скрепляли дружба и родство: Капнист, Львов и Державин были женаты на сестрах. Между тем, наблюдая литературные объединения начала XIX века, мы можем проследить одну общую черту их жизни — художественную и общественную поляризацию. Внутри кружков возникают лагеря и споры, которые, как правило, и приводят к распадению групп. Так проявляется процесс постепенного превращения дружеского кружка в организацию, спаянную единством программы.

Наряду с внутрикружковой борьбой, большой остроты достигает литературная полемика между кружками — результат попыток программного самоопределения. Литературная полемика — порой очень острая — имела место и в XVIII веке, но тогда даже принципиальные разногласия, скрываясь, как правило, от глаз наблюдателя, выступали на поверхности литературной жизни в одежде личных симпатий, ссор, порой даже дразг. Теперь, напротив, писатели даже личные разногласия осознают как разницу позиций — правда, пока еще эстетических, а не политических. Прежде литературный противник был «зоил», завистник. Теперь он, кроме того, еще и «славянофил» с варварским вкусом или «враг всего родного».

«противник просвещения» или «сторонник превратных мнений». Правда, политическая дискредитация противников, к которой охотно прибегал Шишков, еще воспринимается не только как нечто недостойное (такой она и была!), но и как внесение в литературу совершенно чуждых ей вопросов. Но пройдет недолгий срок, и для Николая Тургенева оппонент в литературной борьбе и политический противник — «гасильник», «хам» — сольются.

Последствия этого процесса многообразны. Так, например, изменяется облик критики — она все больше освобождается от мелочных, личных придирок и приятельских восхвалений и вместе с тем делается более решительной и резкой. Молодой литератор Галинковский жаловался в 1805 году на критиков, которые, «оградившись чрезвычайною скромностью, говорят только так, чтоб угодить обеим сторонам, то есть либо вполнехотя хвалят, либо вполнехотя критикуют». «Будем справедливы против хороших книг... будем опять неумолимы, сердиты даже, на сочинения плохие и бесполезные и отнимем их у читателей». Галинковский был противником карамзинистов. Но почти те же самые слова повторил в 1809 году карамзинист Вяземский, требуя от Жуковского полемики, резкого выражения своей литературной позиции. Вместе с тем подобный подход повышал значение не только критики, но и эпиграммы, литературной сатиры, пародии — всех средств внесения в поэзию литературной борьбы. Не случайно именно в этих жанрах наиболее полно

отразилась литературная тактика кружковой борьбы. Особенно показательны те изменения, которые происходили постепенно в поэзии и литературной тактике карамзинистов.

Старшее поколение карамзинистов чуждалось полемики. Резко не приемля эстетики других литературных направлений, они не считали еще возможным самую поэзию сделать орудием борьбы. Сатира «Чужой толк» и несколько эпиграмм и пародий Дмитриева в общем облике творчества писателей этого лагеря выглядят одиноко.

Но уже следующее поколение литераторов данного круга, уступая духу времени, решает вопрос иначе: Батюшков, В. Л. Пушкин, Воейков, Вяземский превращают сатиру и пародию в боевой, ведущий жанр. Меняется и облик эпиграммы. Карамзинисты старшего поколения культивировали эпиграмму в духе французских поэтов — краткую и отвлеченную сентенцию на общий порок, уместенную в отточенное двух- или четырехстишие. Но уже в начале 1810-х годов вместе со взглядом на литературу как на игру преодолелось и представление о том, что полемика унижает поэзию. Стих подчиняется борьбе — пока еще литературной. Эпиграмма становится резкой, не боящейся оскорбительных «личностей». И здесь на помощь приходит традиция русской литературы XVIII века с ее требованием сатиры «на лицо». Если в 1792 году Карамзин брезгливо писал о кружке Крылова: «Qu'est ce qu'il y a de commun

entre nous?»,¹ то теперь Вяземский использует чисто крыловский прием введения в текст оскорбительного упоминания лица противника. Крылов в письме Соймонову, пущенном по рукам и, бесспорно, известном Вяземскому, писал: «И последний подлец, каков только может быть, ваше превосходительство, огорчился бы поступками, которые сношу я от театра... у меня на уме глупый Дон-Кишот, ваше превосходительство, который, думаю, один мог своим дурачеством уронить „Инфанту“». Вяземский воспроизвел этот сатирический прием в послании М. Т. Каченовскому:

Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил.

А через несколько месяцев Пушкину уже и Вяземский покажется недостаточно смело нападающим на «лица».

Возникновение литературных обществ как формы объединения писателей вызвало повышение интереса к вопросам организации.

В наследство от традиции XVIII века остались две основные формы литературной организации — официальное общество, «вольное», но находящееся под покровительством правительства, и литературный салон. Первое характеризовалось весьма жесткими организационными формами, второй — почти полным их отсутствием. Ни та,

¹ Что может быть общего между нами? (франц.).

ни другая форма, однако, не соответствовала новым потребностям литературной жизни. Официальное общество было слишком гласным и контролируемым, слишком переносило в литературу «должностной» дух. Напомним, как резко реагировал Гнедич на недостаток демократизма во внутренней структуре «Беседы». Заметив, что список членов составлен «по чинам», он в письме, исполненном чувства личного достоинства, писал Державину: «Из порядка, каким писаны имена гг. членов 2-го разряда, я заключаю, что они расставляются по чинам. Отдавая всю справедливость и уважение заслугам по службе, я тогда только позволю себе видеть имя свое ниже некоторых гг., после каких внесен я в список, когда дело будет идти о чинах». В противном случае, писал Гнедич с угрозой, «мне ничего не останется, кроме заслужить еще и лучшее о себе мнение, и бóльший чин».

Литературный салон как форма организации отталкивал по другим причинам — он был слишком бесхребетным, слишком зависимым от светских, а не мировоззренческих связей и не отвечал требованиям возросшего «духа партий».

Новой формой литературного объединения стало «Дружеское общество» — группа молодых людей, соединенных узами пламенной дружбы. Культ дружбы не был в эту пору чем-то новым, — его усиленно пропагандировали старшие карамзинисты в конце XVIII века. Однако тогда он имел иной смысл. Одинокий, фатально не могу-

щий выйти за круг своих ощущений, человек Карамзина видел в друге лишь средство, при помощи которого люди «самих себя сильнее ощутить могут», — как писал молодому Карамзину Лафатер. «Глаз наш не так устроен, чтобы видеть себя без зеркала, — а наше «я» видит себя только в другом „ты“». В духе этих представлений Карамзин говорил в «Рыцаре нашего времени» о «милой склонности наслаждаться собою в другом сердце», а его единомышленник А. Петров писал Карамзину, что другом «может быть всякий честный человек, у которого есть уши». Культ дружбы в литературной жизни начала XIX века имел другой смысл и связан был с общей тенденцией преодоления карамзинского субъективизма. Дружья — это люди, одинаково мыслящие и чувствующие, а дружеское общество — организация единомышленников. Напряженные споры о дружбе, поиски дружбы, занимавшие столь важное место в деятельности литературных групп первых десятилетий, выковывали связи между людьми, — связи, которые были порождены не близостью семейной или социально-иерархической, а идейным родством.

Пройдя через огонь военных лет и напряженные послевоенные годы, кружковые связи, оставаясь дружескими, превратятся вместе с тем в форму политического единомыслия. «Товарищи и братья», «братья, товарищи» — так определяют Грибоедов и Пушкин тот круг людей, единство которого будет обусловлено общностью политических симпатий.

Сказанное определяет и новый смысл темы дружбы в поэзии начала века, и значение характерного именно для данной эпохи жанра — дружеского послания. Друзья — это мир, противопоставленный бездушному «свету». Дружба — сила, враждебная власти чинов и жажде богатств. В дружеском кругу господствуют равенство и братство. Сами недомолвки, намеки, делавшие язык поэзии кружковым, замкнутым, понятным лишь для этого круга лиц, подготавливали конспиративный язык послания Пушкина к В. Л. Давыдову. Переход языка дружеских недомолвок в язык политической тайнописи, столь хорошо видный на примере лирики Пушкина, шел параллельно с превращением сокровенной дружеской беседы «между лафитом и клико» в политические прения заговорщиков. Позже, когда тайные политические организации уже возникли, дружеская литературная беседа стала восприниматься как бессодержательная. «Пустыми» показались и дружеские послания, и Кюхельбекер с раздражением писал: «Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчастиях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, что — слава богу! — здоровы и страх как жалеют, что так давно не видались!» Но в преддекабристский период эти формы были полны живым содержанием, и в них вызревали тенденции завтрашнего литературного дня.

Противоречивость и разнообразие литературных явлений не превращают, однако, поэзию рассматриваемого периода в механический конгломерат не связанных между собою произведений. Сложность картины не снимает ее исторического единства, а разнообразие поэтических путей, не слившихся еще в четкие магистрали, не говорит об отсутствии строгой внутренней логики литературного развития. Литература начала XIX века прошла через два последовательных этапа развития. Естественную грань между ними представляют годы Отечественной войны и заграничных походов.

Первый период — время, охватывающее десять с небольшим лет начала века. Своеобразие поэзии этих лет заключалось в том, что на сцену уже выступили деятели всех основных направлений литературы предпушкинской эпохи: поэты, стоящие вне любых группировок дворянского лагеря, — наследники демократической традиции XVIII века, поэты карамзинского направления, школы Жуковского и Батюшкова и литературные деятели, в чьей эстетической программе и художественной практике намечались черты будущего литературного декабризма. И одновременно в жизни искусства участвовали поэты, органически связанные с разными направлениями литературы XVIII века.

Поэзия 1799—1801 годов имеет своеобразную физиономию. И в обществе, и в литературе резко

возрастают антимонархические, тираноборческие настроения. Годы правления Павла I способствовали дискредитации идеи самодержавия в глазах широкой общественности. Конституционные настроения в либерально-дворянской среде и республиканские — в кругах более радикальных распространились столь широко, что без учета их не могла строиться политика нового правительства. Поэзия особенно чутко реагировала на эти настроения.

Сложность обстановки заключалась в том, что отход от идеи народной революции и рост ненависти к неограниченному самодержавному произволу протекали параллельно, в одно и то же время. С одной стороны, это заставляло искать защиты от тирана не в революционной энергии народа, а в героизме гражданина-тираноборца; с другой — характерно стремление придать республиканским идеям абстрактный характер, отдалить их от конкретно-исторических воспоминаний. Радищев прозревал в русском крестьянине римского гражданина, а в Федоре Ушакове — Катона. Теперь идейно-стилистическая система меняется и образы античных героев позволяют восторгаться идеями республиканизма, не вспоминая ни о русском крепостном, ни о парижском санкюлоте.

Широко бытует мнение о том, что вздох облегчения, вырвавшийся у общественности при известии о событиях 11 марта 1801 года, сопровождался взрывом ликования и энтузиазма по адресу нового императора, который якобы был встречен

разноголосым, но дружным хором приветственных од. Подобное представление нуждается в коррективах: необходимо иметь в виду, что притягательная сила идей республиканизма в эти годы значительно усилилась, и это прибавило своеобразную ноту к хору стихотворных панегириков новому императору. При этом, поскольку республиканские идеи трактовались порой в условно-античном плане, они могли привлекать и деятелей, весьма далеких от стремления к немедленным практическим действиям по преобразению России в республику.

Не следует считать, что смелые слова Радищева, осудившего в начале XIX века не деспота, а деспотизм:

Тиран мертв, но где свобода? —

прозвучали одиноко. Молодые современники Радищева в 1801 году действительно не могли подняться до целостного и глубокого мировоззрения вождя русской демократической мысли XVIII века. Однако для того, чтобы истолковать убийство Павла как шаг к утверждению республиканских идеалов, и не надо было особой политической зрелости. Для этого порой достаточно было юношеского энтузиазма и бурного, но туманного свободолюбия. Республиканские тираноборческие идеи прозвучали в поэзии первых лет XIX века весьма отчетливо. Так, Мерзляков, посвятив стихотворение смерти тирана, который «погиб тиранства жертвой», призывает мщение и на головы его потомков:

А там — свистит дух бурный мщенья
Против сынов твоих сынов.

Рази, губи, карай злой род,
Прокляты ветви корня злого;
В них скрыта язва, гибель нова,
В них новый плен для нас растет!

В том же духе писал и Озеров в «Гимне богу любви» — стихотворении, видимо написанном в конце павловского царствования: имя тирана сохранилось лишь «в проклятиях народных»,

Не скроет имя и в гробнице, —
Неронов прах клянет весь свет,
И матери своей убийце
До наших дней покоя нет!

Нерона с Павлом I отождествлял и В. Попугаев в стихотворении «Гений на развалинах золотого дворца Неронова». Образ дворца с подвешивающимися на цепях мостами, окруженного стражей, которая не спасла тирана, достаточно ясно намекал на Михайловский замок — место гибели Павла:

Здесь плески радости звучали,
Гремели цепи вокруг мостов,
Мечи у стражи страх вливали,
Блиставшие из-за щитов...
...Погиб в громаде властелин!¹

¹ Ср. слова Карамзина о Павле I: «Думал соорудить себе неприступный дворец — и соорудил гробницу», а также оду «Вольность» Пушкина.

Совсем не славословием нового монарха, а прославлением античных республиканских идеалов прозвучала «Ода Калистрата» И. Борна. В ней в образах, заимствованных из античности, прославляется подвиг тиранобойцев — основателей республики:

Тиран пал от руки вашей! вольность
Дана вами Афинам и правосудие!

Идея тираноборческого или патриотического подвига, создание поэзии, его прославляющей, привлекали также Востокова, Гнедича, Андрея Тургенева, Бенитцкого, Ф. Иванова. В этом же ряду следует рассматривать и басни молодого Д. Давыдова. Смысл их был ясен современникам: В. Г. Анастасевич, переписав стихотворение «Орлица, турухтан и тетерев», против строк:

Убили турухтана,
Избавились тирана, —

приписал на полях: «12 марта 1801 года». Одновременно родилась и потребность выработки стилизованных средств для гражданской поэзии нового содержания. Наиболее удобными формами создания поэзии, гневной, протестующей, эмоционально насыщенной и одновременно зашифрованной из цензурных соображений, явилось воспроизведение стиля обличительных пророчеств Библии и героической поэзии античности.

Вместе с тем уже на этом этапе в разработке

политической лирики поэтами разных групп наметились характерные идеологические, следовательно и стилевые, расхождения.

Перед прогрессивной поэзией начала XIX века открылись три пути, которые в пределах первых двух десятилетий, уже ощущаясь как различные, не были еще противоположными.

Наследники демократической традиции XVIII века, поэты типа Гнедича, Востокова, Мерзлякова требовали гражданственной, высокой поэзии, говорящей от лица героя-республиканца. Этот патриотический и свободолюбивый образ был приподнят до абстрактного идеала и удален от мира интимных переживаний авторского сердца. Поэзия Жуковского с неслыханной для тех лет силой и конкретностью раскрыла внутренний мир самого автора, резко индивидуализировав художественные средства его выражения. Преддекабристская поэзия, отождествляя свободолюбие с борьбой за полноту человеческого бытия, встала на путь попыток синтеза гражданственности и лиризма. В этом смысле и творчество Гнедича, и творчество Жуковского, не выражая устремленности будущих дворянских революционеров, не воспринималось ими как враждебное: в нем видели лишь тенденции, подлежащие синтезу. Андрей Тургенев, В. Озеров, Бенитцкий, Милонов, в определенной степени Ф. Иванов пытались соединить гражданственность тематики, героическое звучание поэзии с психологизмом и лиризмом. Не всегда эти поэты возвышались до создания органического единства стиля, чаще речь шла о

более или менее механическом совмещении двух идейно-стилистических рядов. В этом проявлялись и масштаб дарования, и особенность исторического момента — дворянская революционность еще не определилась как самостоятельная идеология, она лишь существовала как определенная тенденция. Естественно, что и художественная программа декабризма еще не могла возникнуть. Речь может идти лишь о тенденциях, получивших в дальнейшем, в новых исторических условиях, новое качество.

С середины первого десятилетия Россия вступает в длительную полосу войн с Наполеоном. Неизбежность трагического столкновения вырисовывалась с каждым днем все отчетливее.

Вспоминая чувство, охватившее в 1807 году свидетелей подписания Тильзитского мира, Д. Давыдов писал: «1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть». Первые военные неудачи уронили авторитет правительства и одновременно усилили патриотические настроения. Именно в эту пору — около 1807—1812 годов — в литературе особенно усиливается интерес к фольклору, эпико-героическим жанрам. Однако была и другая, еще более глубокая, причина движения на первый план идей народности: в ходе революционных событий во Франции просветительские идеи XVIII века были подвергнуты всемирно-исторической проверке. Дальнейшее движение вперед требовало углубления философских представлений о природе человека, национальной,

а затем и историко-социальной. К концу первого десятилетия проблема народности, поиски народных форм поэзии, обращение к фольклорным и национально-историческим сюжетам, попытки реформы стихосложения на базе народного стиха — все эти общие и частные вопросы живо волновали литераторов. Именно в их решении надеялись найти будущие пути развития русской поэзии.

4

Творчество второстепенных поэтов интересно не только тем, что вносит дополнения в общую картину литературы. Порой именно в массовой литературной продукции эпохи наиболее характерно и выпукло проявляются основные черты времени.

Среди поэтов, чьи произведения в равной мере принадлежат и концу XVIII, и началу XIX века, прежде всего должен быть назван И. М. Долгоруков. Поэзия его отмечена печатью исключительной самобытности.

Долгорукова лишь условно можно причислять к поэтам начала XIX века: самый старший среди поэтов, включенных в настоящий сборник, он был лишь на два года моложе Карамзина.

Несмотря на то, что он назвал сборник своих стихов «Бытие моего сердца» (Вяземский писал: «Мог бы он назвать книгу свою «Летописью о сердечных мятежах»), поэзия Долгорукова была лишена глубокого интереса к миру душевных переживаний. Не внутренняя жизнь сердца, а быт

в его непосредственном житейском облике интересуется поэт. Связь его с державинским направлением бесспорна. Вяземский писал в «Старой записной книжке»: «Если Державин — русский Гораций, как его часто называют, то князь И. М. Долгоруков, в таком же значении, не есть ли русский Державин? В Державине есть местами что-то горадианское; в Долгорукове есть что-то державинское». И далее: «В том и в другом есть поэзия личная, так сказать автобиографическая». Но поэзия Долгорукова, конечно, при несоизмеримости его таланта с державинским, не представляла бы интереса, если бы была лишь простым повторением достижений великого предшественника. Поэзия Долгорукова имеет свое лицо. Он совершенно чужд смелого метафоризма Державина, чужд и стремления к философской лирике. Среда поэзии Долгорукова — быт, а основное своеобразие его лирики составляет язык. Отношением к языковому материалу Долгоруков сближался с Крыловым. Как и Крылов, он, перенося в поэзию идиоматизм и своеобразие живой речи, именно этим путем шел к воссозданию психического образа, специфического взгляда на мир массового носителя этой языковой стихии. Только Крылов таким путем проникал в психологию народа, а Долгоруков воспроизводил склад ума и чувств русского барина. Именно такой образ возникал из самого строя поэтической речи, соединяющей галлицизмы и непере译имые русские идиомы, сочный народный язык. Стиль Долгорукова идиоматичен по существу. Включая в стих

французские цитаты, он и здесь берет не первые попавшиеся слова, а идиомы. Его «макаронические» стихи — не пародирование светской смеси «французского с нижегородским». Они воссоздают образ человека, в сознание которого вошли и *непереводимое* своеобразие русской речи, и *непереводимые* обороты французского языка. Главным в этом образе становится характерность, нестандартность. Долгоруков — поэт непосредственных жизненных наблюдений, противник нормативности. В отказе от любых правил и любого теоретизирования есть и эмпиричность, закрывшая Долгорукову путь в большую литературу; но это же позволило ему создавать образы необычайной конкретности, и этим творчество Долгорукова, при всем своем своеобразии, включалось в общий поток литературного развития.

В поэзии Долгорукова была еще одна сторона: стремлению к характерности, своеобразию в поэзии соответствовала в быту поза чудака, сознательно не сливающегося с окружающим его обществом. При всей благонамеренности политических воззрений Долгорукова, это придавало его позиции печать свободомыслия. Он дорожил своей «непохожестью». По словам Ф. Ф. Вигеля, он «жил и писал» «особняком». Говоря о «чужачествах» Долгорукова, Герцен писал: «Удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства».

В острой литературной борьбе, развернувшейся в начале XIX века между защитниками и противниками «нового слога», а затем между поборниками и врагами романтизма, первые бросили вторым презрительную кличку «классик». Из полемики современников она перешла в исследовательскую традицию, упорно повторяющую тезис о борьбе классицизма и романтизма в русской литературе начала 20-х годов XIX века.

Классицизм как живое и достойное полемики явление умер в русской литературе почти на полвека ранее этого срока, и тот реальный противник, с которым приходилось иметь дело определенным группировкам русского романтизма, представлял собой предромантизм особой — ранней и уже архаической в ту пору — формации. На это совершенно справедливо указывал Г. А. Гуковский: «Были еще и другие ответвления романтизма в начале XIX века, например безнадежная попытка задним числом объединить традиции Сумарокова с ультра-романтикой мистики, перенапряженной лирики и психологической фантастики в поэзии Ширинского-Шихматова, пересаживавшего Юнга и немецкий романтизм в шишковскую «Беседу» и полагавшего, что он идет путем Семена Боброва, тогда как тот на самом деле был гораздо ближе к Радищеву, чем к Сумарокову. Вообще «Беседа» в своей литературной продукции была усердной, хотя и неумелой, ученицей романтизма».

Большой интерес в этом отношении представляет поэзия С. Боброва. Это поэт, не только биографически связанный с недворянским лагерем в литературе конца XVIII века, но и в значительной степени сформировавшийся под влиянием демократических идей «философского века». С. Бобров — противник сословных привилегий. Он писал: «Хотя мы и привыкли искать великих дел только в людях благородного класса — в людях, воспитываемых или по крайней мере долженствующих воспитываться и руководствоваться к сей цели, — в людях, верховной властью призванных и одаренных мерами к сим подвигам, — но для чего бы не склонить взоров на другие статьи народа и не заметить высокого в низшем?»

Кругом интересов С. Бобров живо напоминает семинариста из главы «Подберезье» в «Путешествии из Петербурга в Москву», который «Вирпилия, Горация, Тита Ливия и даже Тацита» знал «наизусть», читал Горация, Монтескье, Блекстона, ратовал за просвещение народа, а уходя, обронил из кармана масонскую рукопись, о которой Радищев заключил: «На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга».

Демократическая общественная мысль XVIII века широко повлияла на Боброва. Он был страстным поклонником Ломоносова. Его привлекал и образ поэта-плебей, и Ломоносов-ученый. Интерес к естественным наукам — астрономии, физике, геологии, ботанике, географии — Бобров сохранил на всю жизнь. К Ломоносову восходит и его привязанность к научной поэзии, к лирике,

погруженной в космос. Здесь Бобров не был одинок — эту же традицию продолжали и Пнин, и Востоков.

Видимо, от Ломоносова же С. Бобров усвоил и преклонение перед деятельностью Петра I. Петр у Боброва — просветитель и труженик:

Держа светильник, простирает
Луч в мраках царства своего,
Он область ночи озаряет —
И не объемлет тьма его...

...Повсюду быв присущ и славен,
Всего себя на всё делил.
Он, мнится, был многосоставен,
Как исполин безмерных сил...

Не прошли мимо Боброва и демократические социальные учения конца XVIII века. С. Бобров лично знал Радищева и, видимо, был хорошо знаком с его сочинениями. Вряд ли он воспринимал в полном объеме программу Радищева, но все же решительно нельзя согласиться с представлением о нем как о поэте консервативном или политически индифферентном. Целые строфы С. Боброва звучат как прямая перекличка с Радищевым. Так, явные отзвуки рассуждения Радищева о сахаре, омытом слезами, потом и кровью негров, находим в стихотворении Боброва «Против сахара»:

То мало: коль за подлу цену
Невольник черный был продан,
Отводится к позорну плену
От африканских милых стран...

...Идет под тяжкими бичами
Над тростником свой век кончать,
Труд мочит кровью и слезами,
Чтоб вкус Европы щекотать.

И наконец — он умирает,
Чтоб сластолюбью услужить
Затем, что без того не знает
Оно мудрейших мер открыть.

Что я тогда скажу, смущенный?
Не сахар — сладкий яд мы пьем,
В слезах и поте распушенный,
Не нектар — кровь несчастну льем.

С. Бобров был продолжателем ломоносовской традиции. На него особенно сильно повлияла научная поэзия Ломоносова с ее космизмом, пафосом проникновения в тайны природы, поэзией беспредельности мирового пространства. В поэзии Боброва легко вскрываются многочисленные отголоски научной лирики Ломоносова. Усложненная влиянием Клопштока и Мильтона, эта традиция отгородила С. Боброва от поэтов, культивировавших малые жанры, «легкое стихотворство». Именно С. Боброва имел в виду Карамзин, когда писал в полемическом предисловии

к сборнику «Аониды» (1797): «Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен природы, но в живости мыслей и чувств... Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар природы и прочее в сем роде».

К Ломоносову восходило и стремление Боброва сделать поэзию выразительницей «важного» гражданского содержания. Однако, как и у Радищева, именно это стремление, объективно гораздо более связанное с ломоносовской традицией, чем квазиломоносовская трескотня од В. Петрова, приводило к осуждению и содержания, и жанрово-стилистических форм политической поэзии Ломоносова.

Упорная борьба Боброва против рифм и ломоносовской системы стихосложения также шла в русле радищевских исканий, и не случайно опыты Боброва в этой области встретили одобрение Радищева. В поэме «Бова» Радищев, описывая свое воображаемое посещение Крыма, сочувственно отозвался о поэме Боброва:

...с собою
Возьму плащ я для тумана,
А Боброва в услажденье...

В дальнейшем именно эта сторона деятельности Боброва была одобрена Пушкиным.

Захваченный общими предромантическими настроениями эпохи, Бобров проявил интерес и

к созданию психологической поэзии. Однако психологизм С. Боброва — это или изложенные в стихах метафизические размышления о природе души, или аллегорические картины, в которых бури и ужасы «натуры», описания странствий «слепца» должны знаменовать борьбу страстей и движение человека по пути нравственного прозрения. Проявлял Бобров и интерес к фольклору: сохранилась выполненная им запись украинской народной песни.

Бобров был страстным пропагандистом Мильтона и Клопштока, однако, влияние на него оказал и Шиллер. Так, в одну из своих од он включил несколько стихов дословного перевода «Песни к радости» — гимна братству народов:

О радость — радость многоценна,
Небесна искра, сладость дней,
Эдемска легка дщерь полей,
В млечную ризу облеченна!

Однако воззрения С. Боброва, видимо, всегда отличались непоследовательностью и сумбурностью. Интерес к науке уживался у него с утверждением непознаваемости мира, демократические идеи XVIII века — с масонской проповедью. Масонские идеи, пропагандируемые московским кружком А. М. Кутузова, захватили С. Боброва глубоко. Здесь он почерпнул и интерес к напряженному лиризму, погружению в глубины «нощных размышлений». Обостренное чувство катастрофичности жизни, неотступные по-

мышления о смерти, космический символизм гиперболизированных образов, окрашенных мистической жутью, — все это непосредственно ведет к идеям и эстетике Кутузова. Отсюда же возник и интерес к Юнгу. Поэт мощного дарования, сознательно избегавший проторенных дорог, предпочитавший лучше быть непонятым, чем трафаретным, Бобров с большой силой выразил это противоречие.

Основным элементом стиля С. Боброва является метафоризм. С. Бобров, бесспорно, учитывал поэтический опыт Державина, державинское умение средствами поэтического слова сделать предмет зримым, придать словесному образу материальность. Однако Бобров применял такого рода «вещественную образность» для характеристики понятий отвлеченных, придавая осязательную зримость полумистическим фантомам, которыми он населил свою поэзию:

Все спят — прядут лишь парки *тощи*...

Отвлеченные, по сути аллегорические картины становятся зримыми. Так С. Бобров рисует катастрофические картины гибели мира — библейский потоп:

Тогда тьмы рыб в древах висели,
Где черный вран кричал в гнезде,
И страшно буры львы ревели,
Носясь в незнаемой воде.

Грядущая космическая катастрофа:

Падут миры с осей великих,
Шары с своих стряхнутся мест...

Однако эта же сила образности позволяла С. Боброву также создавать смелые картины природы, насыщать политическую лирику поэтической конкретностью:

...юный век в зарнице
Из бездны вечности летит,
Звучит ось пылка в колеснице...

Перед Суворовым

...как серна, смерть шла в боях...

Он лег на отдых — в сноп лавровый.

С. Бобров усвоил державинское мастерство звукописи:

Звукнул времени суровый
Металлический язык;
Звукнул, — отозвался новый,
И помчал далече зык.

И все же С. Бобров, подобно Третьяковскому, был больше поэтом-экспериментатором, смелые находки сочетались в его поэзии с многочисленными срывами и неудачами. Творчество его учитывали и ценили крупнейшие поэты его эпохи — от Радищева и Державина до Пушкина, но чита-

тель прошел мимо него с насмешливым изумлением.

У Боброва была и своя поэтическая школа в узком смысле. Влияние его сильно чувствуется в стихах Г. Каменева, также затронутого воздействием кутузовской эстетики, и в творчестве несправедливо забытого поэта-декабриста М. А. Дмитриева-Мамонова.

Г. Каменев иногда именуется в научной литературе «первым русским романтиком» (причем ссылаются на апокрифическую, вероятно, характеристику его творчества Пушкиным). В этом есть изрядная доля преувеличения. Г. Каменев был одаренным поэтом и не был лишен самобытности, но все же он не был пролагателем новых путей. В своем наиболее интересном произведении — балладе «Громвал» — он пытается синтезировать масонскую символику с приемами сюжетного развития, почерпнутыми из «рыцарского» и «готического» романов. Вместе с тем, накладывая на действие стихотворения условный колорит русской старины, автор, видимо, надеялся этими средствами решить волновавший современников вопрос народности литературы.

От традиции С. Боброва отпирывался и М. А. Дмитриев-Мамонов. Однако в его поэзии еще до 1812 года одержала победу над характерными для воспитавшей его школы космизмом и безысходным пессимизмом преддекабристская тема романтической исключительной личности, движущей, вопреки косности людей, человечество к счастью:

Несись, о Гений, над годами
И веки с славой определи!
*Гряди необицими путями*¹
И обелиск свой утверди,
Где тонет мыс земель предальных...

...Великий Гений, благодатный,
Сочеловеков верный друг —
Тебя поносит мир развратный,
Стесняет дел твоих округ!

Стихи М. А. Дмитриева-Мамонова — шаг к поэзии Ф. Глинки и отчасти Кюхельбекера.

Многие из второстепенных поэтов начала XIX века испытали воздействие стилистической реформы Карамзина. Деятельность их подготавливала возникновение «Арзамаса» (1815). Так, одно из наиболее шумных столкновений сторонников «нового» и «старого» слога перед Отечественной войной 1812 года связано с именем В. А. Озерова. Озеров известен как драматург, и именно это определяет его место в истории русской литературы. Однако современники видели в Озерове не только драматурга, но и поэта — автора трагедий в стихах и стихотворца-лирика. Вяземский, отмечая недостатки версификации Озерова, все же считал, что он «неоспоримо утвердился на чреде первейших наших поэтов». Озеров выступил как карамзинист, встав на путь психологизации своих драм. Но Озеров

¹ Курсив мой. — Ю. Л.

пошел дальше старшего поколения карамзинистов в своем стремлении создавать гражданственно-патетические спектакли. Именно своей гражданственностью он оказался близок Вяземскому, считавшему, что стихи:

Но брань — конец правам, добытым через
брани...
...Но право сильного мечом отмщать убийство,
Свободу защищать и отражать насилие, —

«есть один из красноречивейших отрывков нашей поэзии». Гражданственный пафос трагедии Озерова был связан с патриотическим подъемом эпохи войн с Наполеоном. Однако в сознании декабристски настроенных литераторов следующего поколения он подвергся переосмыслению. Среди декабристов была весьма популярна мысль о том, что самодержавие и крепостное право на Руси — тяжелое наследие татарского ига. Именно такое понимание позволило Рылеву изобразить Дмитрия Донского противником самовластья. Не случайно также, что совершенно независимо от Озерова, к такому же выводу приходит и Катенин. У Озерова:

России миру нет, доколь ее в пустыню
Свирепостью своей враги не превратят
Иль, к рабству приучив, сердец

не развратят.

У Катенина:

Не останвятся отныне
Успехом гордые враги,

Доколь Россию всю пустыне
Не уподобят их шаги.

В поэзии Озерова прозвучали те же гражданственные ноты. Особенно примечательно стихотворение «Гимн богу любви», сыгравшее бесспорную роль в подготовке стилистики поэзии декабристов. Творчество Озерова в значительной степени относится к предвоенному десятилетию. Новая вспышка литературной активности карамзинистов наступила в 1815—1817 годах. К этому времени болезнь и смерть вырвали Озерова из литературы.

6

Значительная группа поэтов, чьи стихи публикуются в предлагаемом сборнике, начинала свой творческий путь в «Дружеском литературном обществе» — кружке, возникшем в 1801 году и в том же году распавшемся. Почти все члены этого объединения — Жуковский, Мерзляков, Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров, Воейков, Семен Родзянко — писали стихи. Составлявшие общество поэты в свое время не считались незначительными. В русской поэзии между 1800 и 1812 годом Мерзляков был заметной фигурой. В еще меньшей степени к «незначительным» литераторам может быть отнесен Андрей Тургенев. Только смерть помешала этому одаренному юноше занять место в первом ряду литературных деятелей. В. К. Кюхельбекер, перечитывая то небольшое

из поэтического наследия главы «Дружеского литературного общества», что было опубликовано, писал: «Несчастлива Россия насчет людей с талантом; этот юноша, который в Благородном пансионе был соперником Жуковского и, вероятно, превзошел бы его, умер, не достигнув и 20-ти лет».

Андрей Иванович Тургенев обладал незаурядными способностями поэта и литературного критика. За свою короткую жизнь он пережил стремительную эволюцию от убежденного карамзиниста, преклоняющегося перед личностью Карамзина и полностью разделяющего принципы его творчества, до решительного и непримиримого критика этих принципов.

Борьба Андрея Тургенева с карамзинизмом шла в двух направлениях. Последние годы царствования Павла I были для кружка Андрея Тургенева временем быстрого политического созревания. Ненависть к деспотизму, питаемая впечатлениями русской действительности, дополнялась увлечением тираноборческими драмами молодого Шиллера. Любовь к отечеству и ненависть к правительству делаются для Андрея Тургенева синонимами. В речи, произнесенной в «Дружеском литературном обществе», он говорил, обращаясь к отечеству: «О ты, пред которым в сии минуты благоговейно сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы; пусть же ползают пред ними льстецы с мертвою душою; здесь пред тобою стоят сыны твои! Благослови все предприятия их!

Внимай нашим священным клятвам! Мы будем жить для твоего блага». Чем острее становилась политическая оппозиция молодых писателей, тем неприемлемее для них делался скепсис и гражданский индифферентизм Карамзина, призывавшего

Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока...

Критика камерной, лишенной политического содержания лирики выливалась в требование «высоких песен», героической и мужественной поэзии, говорящей от лица энергической, готовой к гражданским подвигам личности. Поэту-скептику и беспечному ленивцу противопоставлялся поэт-борец: Тиртей, воодушевляющий лирой героев на битвы, Оссиан, поющий перед воинами, или Боян, воспевающий патриотизм русских князей. Задачи создания героической поэзии потребовали поисков новых художественных средств, и мы это можем легко проследить в творчестве поэтов «Дружеского литературного общества», то обращавшихся к традиции торжественной оды XVIII века, то пытавшихся использовать художественный опыт «Песни к радости» Шиллера. Памятниками опытов членов кружка Тургенева в области гражданской поэзии остались стихотворение Тургенева «К Отечеству», «Ода на разрушение Вавилона», «Оды из Тиртея» и «Слава» Мерзлякова. К этому же жанру, вероятно, относился не дошедший до

нас, чо упоминаемый в источниках «Гимн» Андрея Кайсарова.

Другая линия, по которой шла критика карамзинизма, связана была с вопросом народности. В речи «О русской литературе» Андрей Тургенев требовал, чтобы поэт изображал «великое, важное и притом истинно русское». В этом смысле вся русская литература XVIII века и особенно творчество Карамзина не удовлетворяли Тургенева. «Что можешь ты узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова, Карамзина?» Он призывал поэтов обратиться к фольклору — русским сказкам и песням. «В большей части из них, особливо в печальных, встречается такая пленяющая унылость, такие красоты чувства, которых тщетно стали бы искать мы в новейших подражательных произведениях нашей литературы».

Интерес к народному творчеству проявился в деятельности молодых литераторов широко и многообразно: Мерзлякова он привел к созданию песен, представляющих смелую для своего времени попытку привить литературе народность, Кайсарова — к сбору русского и сербского фольклора и попыткам научно подойти к народной поэзии. Любопытно, что именно с ссылкой на фольклор отстаивал Андрей Тургенев в споре с Жуковским правомерность элементов фантастики в творчестве Шекспира.

Отношение к Карамзину явилось вопросом, вызвавшим раскол в обществе, — Жуковский и группа Андрея Тургенева (Мерзляков, А. Кайса-

ров) заняли противоположные позиции. Жуковскому было чуждо стремление к гражданственности в поэзии. Показателен в этом отношении подбор произведений в «Собрании русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев (1810—1815)». Составитель превратил сборник в своеобразную хрестоматию карамзинизма. Жуковский не включил сюда стихотворения Андрея Тургенева «К Отчеству», что много лет спустя вызвало недоумение Кюхельбекера. Кюхельбекеру эти «стихи» «очень понравились». «Не понимаю, — писал он, — как Жуковский, друг и товарищ покойного и сам поэт с талантом, не поместил их в своей Антологии». Не попали в «Собрание русских стихотворений» и переводы из Тиртея Мерзлякова, что вызвало возмущение Вяземского. Последний спрашивал Жуковского от имени «современников и потомков»: «Зачем не напечатали вы прекрасного перевода Мерзлякова Тиртеевых од?» Тенденциозность подбора Жуковского была ясна современникам. Но именно полемика с Жуковским одновременно позволяет раскрыть и различие в позиции Андрея Тургенева и Мерзлякова. Во взаимоотношениях Мерзлякова и Жуковского неясностей не было — разница общественной и эстетической позиции была столь глубокой, что литературные разногласия привели к охлаждению дружбы, вначале очень тесной, к ряду острых столкновений, а затем и к полному разрыву. Между поклонником Карамзина, склонным к мечтательному мистицизму, в будущем арзамасской Светланой, смо-

тревшим на поэзию то как на игру-забаву, то как на откровение, и разночинцем-профессором, втайне поклоняющимся Карлу Моору и сочиняющим в то же время должностные оды к университетским «актам»; между поэтом, «мечтателем-ленивцем», и бьющимся в материальной нужде «педантом», литератором-профессионалом, — не было ни идейной, ни психологической общности. Отношение Андрея Тургенева к Жуковскому было более сложным. Для Мерзлякова отказ от карамзинской эстетики субъективизма был отказом от интимной лирики — он обращается к эпическим жанрам. Свои собственные чувства он стремится выразить в форме народной песни (так, знаменитое «Среди долины ровныя...» имеет прямое отношение к биографическим обстоятельствам и переживаниям самого поэта), желая, таким образом, выделить в своих чувствах не индивидуальное, а общенародное, не то, что делало личность поэта неповторимо своеобразной, а то, что было в ней общего с другими людьми. Путь Андрея Тургенева был иным. В его небольшом, рано оборвавшемся творчестве лирика занимает ведущее место. Интерес к гражданской поэзии дополнялся у А. Тургенева интересом к внутреннему миру человеческой личности. Его «известная», по словам Кюхельбекера, элегия «Угрюмой осени мертвящая рука...», еще до того как поэзия Жуковского обрела свою художественную определенность, закладывала основы великого переворота в русской лирике, осуществить который довелось Жуковскому. Значение элегии не укрылось от

такого тонкого наблюдателя, как Кюхельбекер. Он писал: «Еще в лицее я любил это стихотворение, и тогда даже больше «Сельского кладбища», хотя и был в то время энтузиастом Жуковского. Окончание Тургенева элегии бесподобно:

Там твой смущенный дух найдет себе покой
И позабудет всё, чем он терзался прежде,
Где вера не нужна, где места нет надежде,
Где царство вечное одной любви святой».

Что же нового вносила эта элегия в русскую лирику? Если подойти к произведению с точки зрения сюжета или так называемых «мотивов», то нетрудно увидеть зависимость его от карамзинской и, шире, от преромантической традиции. Но вместе с тем очевидно, что элегия не сводится к этой традиции, как не сводится к карамзинской традиции и художественная практика Жуковского.

Просветители XVIII века смотрели на живую человеческую личность сквозь призму представлений о нормальном, естественном человеке. В человеке их интересовала человеческая природа, а не то, что делало его *этим* человеком. Все индивидуально-неповторимое воспринималось как наслоение и искажение. Даже изображая индивидуальные черты, писатель вводил их как нарушение нормы, то есть как изображение той же *общей* природы человека, только негативное.

За пределы нормативных представлений не вы-

шел, по сути дела, и карамзинизм. Он тоже говорил о вечной природе человека, только на место доброй, общественной и социально определенной природы он ставил злую, иррациональную, одинокую во враждебном мире. Проповедуя отказ от объективной тематики и погружение во внутренний мир, Карамзин 90-х годов XVIII века всей природой своих художественных средств обнаруживает, что предметом его изображения является все же сердце человека вообще. Субъективизм не помог преодолеть общей для XVIII века метафизичности мышления.

Великая цель, вставшая перед европейским искусством первой трети XIX века, состояла в преодолении нормативности сознания. Эта огромная задача могла быть решена лишь общими усилиями европейских мыслителей и художников и завершилась теоретическим осознанием законов диалектического мышления. В первые годы XIX века еще не была подготовлена почва для подобного переворота в сознании людей. Жуковскому удалось решить лишь очень частную проблему в этой огромной задаче. Он изменил язык поэзии, раскрыв его противоречивость, способность наполняться бесконечно новым содержанием в бесконечно новых поворотах. Дело здесь не только в том, что в языке лирики Жуковского слова теряли свое объективно-предметное значение, наполняясь субъективно-лирическим содержанием и становясь зеркалами его поэтического «я». Последнее было лишь сравнительно узким применением нового и плодотворного принципа

отношения к языку — результатом того, что сам Жуковский, в силу ограниченности его идейно-эстетической позиции, свою реформу понимал очень узко.

Первый же шаг в преодолении нормативности мышления — новый подход к языку поэзии — произвел переворот в структуре лирического стихотворения. Оно перестало говорить о природе человека и заговорило о личности автора; создаваемый поэзией образ сделался неслыханно конкретным по сравнению со всей предшествующей поэтической традицией. Правда, это была лишь психологическая конкретность: в силу того, что новый принцип в эстетике Жуковского получил карамзинское истолкование, мир действительности, как и прежде, остался за пределами искусства. Это определило и ограниченность реформы Жуковского.

В новом подходе к языку поэзии Андрей Тургенев выступил не только союзником, но и предшественником Жуковского, что ясно чувствуется и в его знаменитой элегии, и в элегических набросках, впервые публикуемых в настоящем издании.

Общность стилистических средств не означала, однако, единства образа, создаваемого лирикой Андрея Тургенева и Жуковского, — для А. Тургенева, ненавистника рабства и свободолюбца, тема страданий и горестей будет иметь политический, а не извечно-психологический подтекст. Его герой — человек, чья прекрасная душа страдает от зла, царящего в общественной жизни:

Пусть с доброю душой для счастья ты рожден;
Но, быв несчастными отсюда окружен...
...Не будет для тебя блаженством добродетель.

Именно по этому вопросу между сторонниками Карамзина — Жуковского и группой Андрея Тургенева в «Дружеском литературном обществе» произошла полемика, определившая замысел стихотворения «Ты добр! Но пред тобой несчастный, угнетенный...».

Таким образом, в «Дружеском литературном обществе» встретились три основные тенденции поэзии начала XIX века: продолжатели демократической традиции XVIII века (Мерзляков), карамзинисты (Жуковский) и ранние предшественники декабристской литературы (Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров).

Своеобразен и извилист был поэтический путь игравшего заметную роль в обществе А. Ф. Воейкова. Воейков также начал свой литературный путь в стенах «Дружеского литературного общества». В принадлежавшем ему ветхом, полуразвалившемся доме, находившемся на окраине тогдашней Москвы — около Девичьего монастыря, бывали обыкновенно сборы общества. Большинство членов дружеского кружка были еще очень молоды и дома находились под бдительным надзором (особенно это относилось к Тургеневым и Кайсаровым), Мерзляков жил на казенной университетской квартире, также неудобной для сборов. Положение Воейкова было иным — он уже сделался вполне самостоятельным, жил

один в своем доме, многое успел испытать (по его собственным словам): в январе 1797 года «был произведен в офицеры, в конце 1798-го исключен из службы, в январе 1800 года опять принят в службу». Служить при Павле было нелегко. Воейков вспоминал: «Я был сто раз арестован, мне запрещен был въезд в обе столицы. . .»

«Поддевиченский» дом Воейкова сделался обыкновенным местом дружеских собраний. Несколько позже Андрей Тургенев писал друзьям: «Вспомните холодный еще, сумрачный апрельский день и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова, вспомните себя и, если хотите, и речь мою, шампанское, которое вдвое нас оживило, торжественный, веселый ужин, соединение радостных сердец».

Атмосферу встреч у Воейкова хорошо передают стихи Мерзлякова:

В сентябрьски вечера ненастны
С любезной трубкой и вином
Родные песенки певали
И с бурей голос соглашали,
Когда б пред нами с тьмой ночной
Огонь сражался Оссиана,
Древа шумели над главой
И своды горня окиана
Лились в стремительных дождях,
Березы старые скрипели
На сильных сплетшихся корнях,

И листья желтые летели
И стлались по сырой земле...

Однако не только Оссиан и русские песни были предметами вечерних споров в доме Воейкова.

Жуковский вспоминал «песни пламенны и музам, и свободе», а Воейков писал о дружеских встречах:

Где, распалив вином и спорами умы
И к человечеству любовью,
*Хотели выкупить блаженство ближних
кровью.*¹

Воейков сразу же выделился на заседаниях «Общества» резкостью суждений, почти нескрываемыми тираноборческими настроениями. Речи Воейкова в «Обществе» сохранились. В одной из них он характеризует его членов как «юных россиян, оживленных пламенной любовью к Отечеству! И если нужна кровавая жертва для его счастья, вот сердца наши! Они не боятся кинжалов! Они гордятся такою смертью. Сам эшафот есть престол славы, когда должно умереть на нем за Отечество!» В другой речи он образу «мирного философа» противопоставил идеал «гражданина-тираноборца»: «пренебрегающие смерть герои знамениты потому, что редки». А. Кайсаров цитировал в письме слова Воейкова: «Победим или умрем!» В полемике, развернувшейся между

¹ Курсив мой. — Ю. Л.

членами «Общества», Воейков примкнул к тем, кто стремился привлечь внимание к политическим проблемам, — А. Тургеневу, Мерзлякову, А. Кайсарову. Литературная позиция его, видимо, была далека от карамзинизма. Кайсаров, сообщив Андрею Тургеневу, что «Воейков перевел первое явление из «*La mort de Cézair*», добавлял: «Стихи его больше похожи на славянские, нежели на русские».

«Дружеское литературное общество» скоро распалось, но некоторым членам его довелось еще раз встретиться в тесном товарищеском кружке, правда, совсем в другой обстановке.

В начале кампании 1812 года А. Кайсаров выступил как инициатор идеи создания при Главной квартире действующей армии типографии — своеобразного пропагандистского центра. Особенно оживилась деятельность типографии с переходом ее в ведение штаба Кутузова, в период Тарутинского лагеря. В это время вокруг типографии Кайсарова сложился своеобразный литературный кружок. Идейным вдохновителем его был А. Кайсаров, основным литературным лидером — В. А. Жуковский. В этот же кружок попал и Воейков. Согласно его неопубликованной автобиографии, он находился в 1812 году «при Главной квартире». Когда после смерти Кутузова и изменения атмосферы в Главной квартире кружок распался, Жуковский остался в Вильно, а Андрей Кайсаров, демонстративно покинув штаб, перешел в партизанский отряд брата. Показательно, что в это время Воейков также «добро-

вольно вызвался и находился в отряде генерал-майора Кайсарова» (автобиография). В поэтическом наследии членов этой литературной группы решительно возобладали торжественные гражданские мотивы. Даже Жуковский обратился к созданию таких произведений, как «Певец во стане русских воинов» и «Вождю победителей». Агитационно-ораторские интонации этих стихотворений (особенно второго) не удивительны — ведь они предназначались для печатания в качестве боевых листовок. В этой обстановке Воейков создал стихотворения «К Отечеству» и «Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому».

В идеологической жизни 1812 года кружок А. Кайсарова в штабе Кутузова занимает самостоятельное и интересное место. Условия военного времени и задачи борьбы с внешним врагом несколько сгладили поляризацию литературы. С одной стороны, правительство вынуждено было прибегать к либеральной фразеологии, истолковывая войну как освободительную и народную, направленную против тирании и захватов. С другой — передовая часть общества была настроена патриотически, свободолюбиво, но не революционно. Антиправительственного лагеря в литературе 1812—1813 годов не было и быть не могло. Это не значит, однако, что в отношении прогрессивно настроенной общественности к личности Александра I не происходило колебаний. В 1812 году авторитет царя упал весьма низко и поднялся только во время заграничных походов и пребывания русских войск в Париже.

Не будучи антиправительственным по своим настроениям, кружок Кайсарова—Жуковского—Воейкова отнюдь не был официальным. Атмосфера штаба Кутузова резко отличалась от придворной атмосферы в Петербурге. Водоразделом здесь являлись вопросы истолкования характера войны и отношения к личности царя и Кутузова. И в манифестах Шишкова, которые говорили в 1812 году от имени правительства, и в афишках Растопчина Наполеон объявлялся исчадием революции, в упрек императору французов ставилось, что он не «чистой царской крови». Борьба с Наполеоном рассматривалась как защита алтарей от «безбожных атеистов». Как главное свойство народа подчеркивалась верность «вере отцов» и трону. Конечно, в борьбе с Наполеоном правительству приходилось использовать и либеральную фразеологию, мелькали выражения: «борьба за свободу», «деспотизм», «тирания», однако не они выражали сущность правительственной позиции в 1812 году.

Центральной мыслью всей деятельности Кутузова в 1812 году, определившей и атмосферу в его штабе, было убеждение в народном характере войны и в решающей роли, которую призваны сыграть в ней народные массы. В сочетании с представлением об освободительном характере Отечественной войны эта идея определила и дух листовок, издаваемых штабом Кутузова, и стихотворений, создававшихся в поэтическом кружке Кайсарова—Жуковского—Воейкова. Стихотворение Воейкова «К Отечеству» в этом смыс-

Другой важной чертой поэтического наследия интересующих нас поэтов являлось подчеркивание роли Кутузова — черта, характерная для настроений целой группы прогрессивных поэтов той поры. Разбираемые стихотворения создавались в период между Тарутинским лагерем и выходом армии к границе (стихотворение Воейкова «Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому» было написано при получении известия о смерти Кутузова). Холодное отношение царя к Кутузову было хорошо известно. Оставление Москвы было воспринято в придворных кругах как сигнал к началу травли главнокомандующего. Растопчин 20 октября 1812 года писал: «Кутузов — самый гнусный эгоист, пришедший от лет и от разврата жизни почти в ребячество. Спит, ничего не делает».

В этих условиях кампания по укреплению общественного авторитета Кутузова, прославлению его деятельности имела особый смысл. Жуковский, опровергая версию о дряхлости и бездеятельности Кутузова, называл его «бодрым вождем»:

С ним опыт, сын труда и лет,
Он бодр и с сединою.

А после победы под Красным в типографии Кайсарова было отпечатано отдельной листовкой (10 ноября 1812 года) стихотворение Жуковского «Вождю победителей», где Кутузов прославлен как вдохновитель и организатор побед, а об Александре не сказано ни слова. Более того: сти-

хотворение содержало обидный для царя намек на Тильзитский мир («росс главу под низкий мир склонил»).

Воейков в стихотворении «Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому» был осторожнее: он все же поместил несколько официальных комплиментов царю. Однако именно Кутузов, а не Александр I — «вселенная спаситель». Честь победы приписана ему. Кутузов — это характерно для общего понимания сущности войны — освободитель,

Завоевавший гроб священная свободы,
Расторгший рабства цепь и сокрушивший бич!

Правда, необходимо отметить, что, в отличие от листовок Кайсарова и стихотворений Жуковского, Воейков гораздо охотнее подчеркивает религиозность народа, видя и в этом признак народности.

Вновь в литературном мире Воейков появляется уже после Отечественной войны как поэт — член «Арзамаса» и профессор, наследовавший место убитого Кайсарова в Тартуском (Дерптском) университете. И в это время Воейков продолжает еще пользоваться именем литератора, близкого к передовым кругам. Он пишет ряд посланий, не выделяющихся над средним уровнем литературной продукции тех лет, переводит обширные описательные поэмы Делиля. Однако популярность его зиждется на другом — на создаваемых им язвительных сатирах. Именно

на этой почве наметилось сближение Воейкова с Вяземским, который, начиная с 1809 года, вел борьбу за активизацию литературной позиции карамзинистов, за обращение их к критике и полемике, эпиграммам и сатирам в поэзии. Речь, однако, шла не только о литературной сатире. Вяземский сближается с Воейковым в 1818—1819 годах, во время своего бурного движения влево, создания антикрепостнических и антиправительственных произведений. Политические проблемы для него в это время заслоняют литературные. Так, в очень заостренном политически письме к Воейкову от 2/14 ноября 1818 года, сообщая, что за все, «что говорят попы», он не даст ни гроша. Вяземский продолжает: «Но охотно дам червонец тому, кто принесет мне новые стихи Воейкова, потому что люблю Воейкова и стихи, червонец тому, который скажет, что нашли средство освободить крестьян в России и зажать рот мужику Каченовскому, потому что после рабства всего для меня ненавистнее подлая зависть и бешеная брань». В этом же письме Вяземский советует «запрятать» «в свою поэму» Радищева (речь идет о поэме «Искусства и науки») и добавляет: «Поблагодари меня: я тебе дал хорошую мысль. У нас обыкновенно человек не видим за писателем. В Радищеве напротив: писатель приходится по плечу, а человек его головою выше. О таких людях приятно писать, потому что мыслить можно».

Воейков привлекал Вяземского смелыми выпадами против реакции, которые придали знамени-

тому «Дому сумасшедших» характер не только литературного памфлета. Воейков был собирателем запрещенных стихотворных сатир. На это намекает следующее интересное свидетельство. Среди бумаг, написанных рукою старика Вяземского, есть его заметка о сборнике «Лютня» — «собрании свободных русских песен», изданном в Лейпциге в 1873 году: «В этой книге на 44 странице есть пакостные стихи под моим именем, которые я никогда не писал... Эти стихи слышал я в 19-м или в 20-м году в проезд мой через Дерпт». Стихи, о которых идет речь, — это известная сатирическая песня «Боже, коль благ еси, Всех царей в грязь меси...» Вяземский проезжал через Дерпт по пути из Варшавы в Петербург, и политические настроения его в 1819—1820 годах были весьма отличны от настроений 70-х годов. Стихи эти он тогда вряд ли находил «пакостными». Кто же мог их сообщить Вяземскому в Дерпте? Единственным знакомым ему лицом там был Воейков, а текст песни, предлагавшей всех великих князей «на кол посадить», был не таков, чтобы его можно было получить проездом от случайного собеседника. Вместе с тем это, как кажется, самая ранняя дата упоминания песни «Боже, коль благ еси...» в источниках.

Однако уже в 1818 году обнаружилось и отличие в позиции Вяземского и Воейкова. Защита православия в стихах последнего вызвала резкую критику со стороны Вяземского. Он писал Воейкову, перефразируя его стихотворение «О пользе

путешествия по отечеству»: «Я не хуже другого славянин, а право, вовсе не смиренный церкви сын».

Расхождение имело глубокие корни. Морально неустойчивый, но гибкий, легко схватывающий и впитывающий чужие мысли, Воейков производил впечатление передового писателя, поскольку жизнь окружала его передовыми людьми. Но уже и тогда даже действительно передовые мысли приобретали под его пером оттенок демагогии. Если «Сатира к С<перанскому> об истинном благородстве» еще звучит как выражение искренней симпатии к деятелю, вышедшему из народа, и не менее искреннего осуждения паразитического барства, то уже в послании «К моему старосте» демагогические нотки звучат весьма явно. В дальнейшем они приведут к пониманию народности как ортодоксально-церковной религиозности, которое вызовет резкий протест Вяземского. Легкость, с которой Воейков менял свои оценки и принципы в зависимости от личных видов и выгод, в 20-е годы войдет в поговорку.

По мере формирования декабризма как передовой идеологии, параллельно с политической дифференциацией шла дифференциация моральная. Не случайно именно по этическим мотивам произошел несколько позже разрыв между Рылевым и Булгариным, а члены тайных обществ рассматривали нравственную стойкость как неперемutable условие принадлежности к революционному движению. По свидетельству Е. П. Оболенского на следствии, «образование молодых лю-

дей, наблюдение за их нравственностью было также предметом занятий членов Общества».

Именно моральная неустойчивость облегчила уход Воейкова из передового лагеря поэзии и обусловила дальнейшую деградацию этого заметного в первые два десятилетия XIX века литератора.

7

Отечественная война 1812 года положила предел литературному периоду первого десятилетия XIX века. Военная обстановка, особый, народный, характер войны, общественный подъем создали совершенно новые литературные условия.

С одной стороны, никогда еще требование народности не звучало в литературе с такой силой. Д. Давыдов в «Дневнике партизанских действий 1812 года» писал: «Я на опыте узнал, что в народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней, к ее обычаям и ее одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил языком вполне народным». Заключительные слова звучат почти символически: потребность «заговорить языком вполне народным» встала и перед литературой, и не случайно поэтическим выразителем 1812 года сделался И. А. Крылов.

С другой стороны, исторические события подрывали самые основы поэтики карамзинистов: камерность, культ «безделок», призыв «играть

в душе своей мечтами» (Карамзин), за которым стояло убеждение в том, что весь внешний мир — «китайские тени моего воображения» (Карамзин), — все это в свете грозных событий 1812 года показалось мелочным и несостоятельным. Батюшков сообщал в 1812 году Гнедичу: события военного времени «вовсе расстроили мою маленькую философию». Действительно, удар был нанесен по самой основе «маленькой философии» карамзинистов — представлению о внешнем мире как недоступном поэту и недостойном его внимания. Однако особенно плодотворными оказались уроки 1812 года для того направления в поэзии, которое подготавливало литературный декабризм. Разрушение в самой историко-политической практике жизни привычных норм дворянского мировоззрения, например представления о пассивной роли народа в истории, создавало благоприятные условия для того «заражения» демократическими идеями, в котором Ленин видел характерную черту декабризма. Не случайно Грибоедов именно на материале событий 1812 года задумал построить сюжет трагедии о роли народа в истории. Д. Давыдов писал: «Спорные дела государств решаются ныне не боем Горациев и Куриациев, не поединками полководцев... Ныне народ или народы восстают против народа».

Под влиянием самих жизненных событий в сознание передового дворянина врывались представления и идеи, уводившие с позиций классово-корыстной дворянской идеологии.

Однако то, что объективно представляло собой

усиление демократических элементов мировоззрения, субъективно осмыслялось в категориях привычного мышления. Так рождалась противоречивая идеология, насыщенная противоборствующими тенденциями — дворянской и все усиливающейся демократической, которая определила природу декабристского романтизма.

Процесс этот хорошо прослеживается на следующем примере. Первые же события Отечественной войны 1812 года показали ее патриотический характер. Они же заставили решительно отказаться от тех военных доктрин, которые логически вытекали из крепостнической идеологии, — стремления превратить солдата в послушный автомат и связанного с ним преклонения перед строевой выправкой, парадностью и механическим повиновением. Общая демократизация военно-теоретической мысли проявилась в возрождении суворовских традиций и особенно в стремлении развязать «малую войну», активное народное партизанское движение. Отмечая этот процесс, Д. Давыдов писал: «Грозная эпоха 1812 года, ознаменованная столь чрезвычайными событиями, причинила в России изменение в главной части военного искусства; системы Бюлова¹ и подобных ему мечтателей пали, и партизанская война поступила в состав предначертаний общего действия армии». И в другом месте: «Размеренные движения регулярной армии заменились, так ска-

¹ Бюлов Дидрих-Генрих — теоретик прусской военной школы конца XVIII — начала XIX века. В 1805 году был активным противником тактики Кутузова.

зять, устроенным беспорядком вооруженных поселян».

Объективно включение в военную науку учения о партизанской войне — а это было связано с представлением о рядовом участнике как об активном, сознательном и инициативном бойце, а не послушном исполнителе, — подразумевало взгляд на крестьянина как на гражданина, а не вещь, «мертвую в законе», — означало решительную демократизацию военной теории. Однако для Д. Давыдова имела значение другая сторона: поэтизация военного поприща. Возникшая в результате событий 1812 года, военная теория воспринималась как романтическая. Давыдов писал о партизанской войне: «Сие исполненное поэзии поприще требует романтического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою храбростию — это строфа Байрона».

Слова Давыдова много проясняют и в вопросе формирования декабристского романтизма в литературе. 1812 год изменил лицо литературы.

Среди поэтов второго ряда, захваченных новыми веяниями, интересен Федор Федорович Иванов.

Ф. Иванов был сыном генерал-майора, занимавшего пост в охране Елизаветы, но в кружке группировавшихся вокруг Мерзлякова литераторов-разночинцев он не выделялся. Отец Ф. Иванова умер в бедности и, «кроме почтенного имени, ничего не оставил в наследство многочисленному семейству, которого попечителем и пита-

телем судьба назначила быть Федору, старшему его сыну» (Мерзляков). Ф. Иванов вынужден был служить и жил на жалованье.

Материальная заинтересованность Ф. Иванова в успехах его литературной деятельности вызвала насмешки современников. Автор ходившей по рукам в Москве 1811 года сатиры на Пресненские пруды писал:

Вот Иванов наш в мундире,
То и се, ни Марс, ни Феб,
Пусть бренчит себе на лире,
Продает стихи на хлеб.
Водит в рынок Мельпомену,
За бесценок отдает...

Взгляды Ф. Иванова, не отличаясь зрелостью и законченностью, были все же отмечены явной печатью радикализма.

Не являясь ведущим писателем, Ф. Иванов тем не менее отразил в своем творчестве характерные черты определенных сторон литературной жизни эпохи.

Характерными мотивами элегии карамзинистов в 1800—1810-е годы являлись раннее увядание души, разочарование, преждевременная смерть.

Ленский пел

...поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

Особенно популярен был образ умирающего юноши. «Поглядите, в двадцать лет Бледность щеки покрывает», — писал Батюшков. А Жуковский 4 мая 1811 года писал Уварову: «Вы обещали мне прислать французские стихи: «*Sur l'avantage de mourir jeune*». ¹ Эта идея меня пленяет; мне самому хотелось бы ее обработать на нашем гиперборейском языке, укравши у вас несколько мыслей». Само заглавие стихотворения Уварова передает атмосферу любования горем и смертью, а одновременно выдает чисто литературный, эстетизированный характер этой темы, проникшей в поэзию карамзинистов не без влияния популярных в ту пору элегий Мильвуа и Жильбера.

В творчестве Ф. Иванова, Милонова, Мерзлякова тема эта получает неожиданный поворот — поэт ведет речь о горестях вполне реальных, им самим хорошо изведанных, и в первую очередь о материальной нужде. Ф. Иванов в замечательной по пропикновснию в психологию бедняка статье «К несчастным» писал: «Истинное несчастье терпит тот, кто не имеет насущного хлеба. Когда человек имеет пропитание, одежду и под кровом скромным огонек, тогда все прочие бедствия исчезают». Популярный в поэзии тех лет образ французского элегика Жильбера, ранняя смерть которого истолковывалась романтиками как свидетельство враждебности поэзии и жизни и вечного одиночества поэта, осмыс-

¹ «О преимуществе умереть молодым» (франц.).

ляется иначе: «Без первых необходимостей в жизни нет врачевания бедам нашим. Отвай, который задохнулся от выпрошенного под окошком куска хлеба, Гильберт, который помешался от горя и в госпитале проглотил ключ, горестно почувствовали всю тщету философии в сем отношении, хотя были и славные литераторы».

В поэзии Ф. Иванова отразилась и другая важная сторона интересов членов мерзляковского кружка — размышления о народности литературы. Он обратился от элегий к эпическим сюжетам, почерпнутым из древней русской истории. Подобно большинству своих современников, Ф. Иванов воспринимал «северные поэмы» Оссиана как родственные по духу русской народной поэзии. Гнедич в примечании к «Последней песне Оссиана» в «Северном вестнике» (1804, № 1) писал: «Мне и многим кажется, что к песням Оссиана никакая гармония стихов так не подходит, как гармония стихов русских». Ф. Иванов был в числе этих «многих». В поэзии Оссиана он видел средство противопоставить салонной поэзии карамзинистов искусство героическое и народное. В этом смысле показательным, что опубликовано в 1807 году стихотворение Иванова «Плач Минваны (Из Оссиана)» написано белым четырехстопным хореем с дактилическими клаузулами — размером, который воспринимался как «русский». Этой же цели служит и — правда, весьма условное — воспроизведение элементов русского песенного стиля, особенно системы постоянных эпитетов. Следующим шагом на пути

поисков народного искусства явилось обращение к сюжетам из русской истории. В 1808 году Иванов опубликовал стихотворение «Рогнеда на могиле Ярополковой». Ритмико-стилистическая система его как бы продолжает «Плач Минваны». Попытка Ф. Иванова создать сюжетную историческую поэзию представляет большой историко-литературный интерес. Произведение лишено повествовательной части — это лирический монолог. Обо всем случившемся с Рогнедой читатель узнает из ее собственных жалоб. Объективные события заслонены выражениями горести. Перед нами — произведение, по жанру очень близкое к песням Мерзлякова, но расширенное в объеме, приуроченное к древней Руси и вложенное в уста условного исторического лица. К близкому решению построения исторической поэзии позже придет Рылеев в «думах». Только лирической основой его «дум» будет не песня в духе Мерзлякова, а элегия.

К концу первого десятилетия XIX века политические воззрения Ф. Иванова в достаточной мере оформились. В 1809 году он опубликовал одно из центральных своих произведений — республиканскую драму «Марфа-Посадница». Произведение это, проникнутое неприкрытой симпатией к «республиканским» идеалам, осуждением деспотизма, было запрещено театральной цензурой. Мерзляков писал, что «Марфу-Посадницу» «не пустили на сцену по неизвестным некоторым причинам». И добавлял, что в этой пьесе, «никогда не игранный, много мест прекрасных».

Идея «Марфы-Посадницы» Ф. Иванова противостояла и уклончивой позиции «республиканца в душе» Карамзина, считавшего равенство и вольность прекрасными, но не осуществимыми на земле химерами, и рептильной пьесе реакционера Павла Сумарокова («Марфа-Посадница, или Покорение Нова-Города», 1807), доказывавшего, что глава новгородской республики Марфа — обманщица и предательница. Беспомощная и реакционная пьеска Павла Сумарокова вызвала издевательскую рецензию И. А. Крылова (почти в тех же выражениях, что и Крылов, о ней писал в дневнике С. П. Жихарев). Солидаризируясь с Крыловым, Иванов противопоставил П. Сумарокову свой героический образ русской республиканки.

Пьесу пронизывает мысль о том, что смерть лучше рабства и что над героем, не страшась гибели, не властен никакой тиран. Убить в человеке страх смерти — значит положить непреодолимую преграду деспотизму. Не желая сделаться рабой, Марфа закаляется со словами, обращенными к сыну:

В царе ты изверга, во мне пример свой зри:
Живя без подлости, без подлости умри.

Эта мысль была весьма распространена в XVIII веке среди сторонников республики. Неоднократно в таком смысле высказывался Радищев. В главе «Медное» он писал: «Ты умереть не умеешь. Ты склонись и будешь раб духом, как и состоянием». Мысль эта не была присуща

только Радищеву, и, следовательно, Иванов мог ее почерпнуть и из других источников; но она была характерна именно для республиканского мышления, и в этом смысле произведение Иванова в высшей степени знаменательно. Подобный же смысл имела в литературе XVIII века символика образа Катона Утического как последнего республиканца, избравшего смерть, но не рабство. То, что после «Марфы-Посадницы» Ф. Иванов создает два больших стихотворения с центральными образами Катона и Брута, свидетельствует об устойчивости его политических настроений. В центре названного цикла — противопоставление героев-республиканцев и рабов:

...чьи сердца тирану преданы,
Те Кесарю рабы, но Риму — не сыны!
(«Послание Катона к Юлию Кесарю»)

О Рим, отечество, любовь и жизнь Катона!
Погибнем вместе мы, не зная царя и трона!
(«Разговор Катона с Брутом»)

Опыт создания гражданской поэзии в формах торжественного послания (александрийский стих, высокая «римская» лексика) был, вероятно, учтен Пушкиным, написавшим через три года свое послание «К Лицинию».

Сохранившиеся материалы не позволяют восстановить воззрения Ф. Иванова во всей полноте, но и то, что мы можем установить, в выс-

шей мере интересно для выяснения общественных настроений предекабристской поры.

Радикально настроенный поэт, видимо, критически относился и к самодержавию, и к личности царя. По крайней мере в 1812 году он восторженно встретил назначение Кутузова главнокомандующим и в сложное время, после пожара Москвы, обратился к нему с приветственным стихотворением (оно написано в начале отступления Наполеона из Москвы), в котором даже не упомянул имени Александра I. Мы видели, что в условиях кампании 1812 года подобная оценка событий могла быть истолкована только как демонстрация. Однако положительная программа Ф. Иванова была еще очень туманной — он, видимо, надеялся на освободительную энергию передовой дворянской общественности. Показателен, например, его призыв в 1812 году «К российскому дворянству» как к «сынам отечества избранным». Большой интерес представляет и перевод Ивановым с французского пьесы Ламартельера «Робер, атаман разбойников» (название русского перевода — «Разбойники»), написанной по драме Шиллера. Как указывали Мерзляков и М. Н. Лонгинов, «„Разбойники“ Иванова не могли долго быть представлены на сцене, но потом игрались с успехом». Лонгинов объяснял цензурные трудности тем, что пьеса была приспособлена к «вкусу партера времен национального конвента». Однако не приемлемых для цензуры мест в пьесе меньше, чем в «Марфе-Посаднице». Интересным новшеством в пьесе Ламар-

тельера, переведенной Ивановым, является одна деталь. Разбойники Шиллера — это народ, восставший во главе с благородным свободолюбом против неправды феодального общества. Разбойники Ламартьера — Иванова — это тайное общество, «таинственное и ужасное судилище, которое поражало неизбежной смертью тех, которые мощию своею или богатством умели отвращать от себя меч обыкновенных законов. Права наши основаны на их злодеяниях. Мы поддерживаем права сии силою, умеем учинить их почтенным нашим правосудием! Да трепещет злодей, какой бы знатности он ни был, услыша, что существуют судии непоколебимые...»¹

Идея, что «бессилие законов, несправедливость хранителей их» вынуждают создать тайное общество для борьбы с неправдой, в высшей мере интересна. Она является свидетельством тех настроений, которые после войны 1812—1813 годов дали качественно новый этап в освободительном движении — этап тайных обществ. Любопытно, что первая идея тайного общества, зародившаяся у М. Орлова, подразумевала создание законспирированной организации, которая, борясь с нарушением законов, содействовала бы правительству в искоренении зла.

¹ Ламартьер развил эту идею дальше во второй пьесе — «Грозный Трибунал, или Продолжение Робера, атамана разбойников» (1793). Пьеса, видимо, тоже была известна Ф. Иванову.

Параллельно с московским кружком Мерзлякова — Буринского — Ф. Иванова в Петербурге действовал родственный ему по духу писательский кружок, группировавшийся вокруг журнала «Цветник». Кружок этот был многими нитями связан с «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств». Душой его был одаренный литератор А. Бенитцкий. Журнал «Цветник» — одно из центральных преддекабристских изданий. Он объединил на своих страницах и представителей радикально настроенной недворянской литературы, и деятелей, в чьем творчестве вызревали черты будущего декабризма. Круг сотрудников был широк и включал таких литераторов, как Батюшков, Катенин, Гнедич. Не случайно именно в «Цветнике» Вяземский напечатал статью, осуждающую литературную пассивность и всеядность карамзинистских журналов того периода.

Автор интересных литературно-критических статей и сатирических «восточных» повестей, Бенитцкий был и заметным поэтом. Не свободный от влияния карамзинской традиции, он испытал весьма плодотворное воздействие творчества поэтов «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» и особенно Востокова. В творчестве поэтов, группировавшихся вокруг «Цветника», — Бенитцкого, Милонова, А. Измайлова (поэтическую периферию составляли авторы менее одаренные, с не столь ярко выраженной индивиду-

альностью: Н. Грамматин, П. Никольский) — ощущаются две основные тенденции.

Первая выразилась в интересе к героическим образам, вторая проявилась в культивировании сатиры. И Бенитцкий, и Милонов, и А. Измайлов были сатириками. Их интерес к сатире был обусловлен глубокой неудовлетворенностью окружающим. Однако сатирическая умонаправленность проявилась в творчестве этих писателей в различной форме. Милонов разрабатывал «высокую», обличительную сатиру. А. Измайлов писал сатирические басни. Басни эти выделяются оригинальностью творческой манеры и по праву занимают заметное место в истории русской поэзии начала XIX века. Как поэт А. Измайлов остался верен традиции XVIII века. Он сохранил принцип сатиры «на лицо», или, как он сам говорил, «на рожи». Традиционная поэтика XVIII века предполагала — для низких жанров — предельную индивидуализацию, доходящую до персональной карикатуры, грубости языка и низменности образов. Мир реальной жизни воспринимался как скопление разрозненных и безобразных фактов. Он был комичен, потому что реален, а нравственная и эстетическая норма классицизма выражалась лишь в логических образах идеального мира, противоположного житейскому. Однако эта же индивидуализация, возведенная в эстетический принцип *всей* литературы, а не только низких комических жанров, делалась уже средством борьбы с классицизмом. В начале XIX века она получила новый смысл,

противостоя салонной сглаженности сатиры карамзинистов. Сравнение басен А. Измайлова и И. Дмитриева раскрывает определенные положительные стороны творчества первого. Однако достаточно сопоставить их с баснями Крылова, чтобы стала очевидна архаичность художественного метода Измайлова. Отказавшись от нормативного мышления просветителей, Крылов нашел положительный идеал в реальном, исторически конкретном облике народа. Решающим для определения позиции автора в данном случае является отношение его к стихии народной речи. Мир героев-зверей и у Крылова, и у Измайлова — мир, подлежащий осмеянию, отрицаемый мир аморализма, социальных пороков и несправедливости. Но для Крылова в басне есть еще один образ: сама стихия народной речи, воспроизводящая народную психологию, является здесь положительным началом. Она оригинальна, но не комична; ни сатира, ни ирония на нее не распространяются. Она сама является судьей, носителем иронии. Именно из этой стихии народной речи возникает образ мудрого рассказчика, который включает в себя и автора, и народ с его точкой зрения на окружающий мир. Поэтому народная речь — носитель этической и эстетической нормы — берется не в своих *грубых*, вульгарно-лексических, а в *характерных*, идиоматических проявлениях.

У А. Измайлова языковая стихия как бы выросла к отрицательным героям и в этом смысле отделена от автора. Язык сам как бы свидетель-

ствуется о низости изображаемого. Смех вызывают и басенные персонажи, и басенный язык. Дмитриев смотрит в баснях на изображаемое с точки зрения светских приличий, Крылов — глазами народного сознания, а Измайлов — с позиции отвлеченного разума, возмущенного хаотичностью, неразумием и дикостью окружающей жизни.

Художественный метод Измайлова — не реализм. Он эмпиричен. Однако этот эмпиризм, сатира «на лицо» (в какой-то мере аналогичная театральной сатире Шаховского), по мере изменения других литературных направлений функционально играл различную роль. Когда в конце 1821 — в 1822 году наметился поворот в отношении Пушкина к сатире и он от торжественного обличения пороков, облаченных в античные одежды, начал переходить к изображению современной действительности, путь к конкретности пролег именно через сатиру «на лицо». Пушкин внес в высокую поэзию приемы элиграммы. В послании к Вяземскому он отгораживается от «высокой» сатиры:

...в глупом бешенстве кричу я, наконец,
Хвост<ову>: ты дурак, а Стурдзе: ты подлец.

И не случайно именно в этом стихотворении Пушкин делает попытку в новых условиях использовать типично измайловские стилистические средства.

Браниться жажду я — рука моя свербит...
...Так точно трусивший буян обиняком
Решит в харчевне спор надежным кулаком.

9

Наиболее значительным деятелем в рассматриваемой группе был Михаил Милонов. Поэт разностороннего дарования, Милонов был в первую очередь сатириком. Однако принципы сатиры Милонова существенно отличались от художественного метода Измайлова. Политический кругозор Милонова был шире, а его оппозиционность — гораздо более глубокой и последовательной. Его не удовлетворяло изображение отрицательного как смешного. Милонов желает возбудить в читателе не смех, а негодование. В его творчестве формировалась та ювеналовская сатира, которой позже столь значительное внимание уделяли поэты декабристского лагеря. Не случайно, осуждая ту романтическую иронию Жуковского, которая позволяла смеяться над всем и, делая смех самоцелью, составляла основу знаменитой арзамасской «галиматьи», Милонов писал Жуковскому:

...останемся мы каждый при своем —
С галиматьею ты, а я с парнасским жалом,
Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом.

Смысл подобного противопоставления прекрасно раскрыл Кюхельбекер: «Сатирик — саркастик:

Ювенал, Персий ограничиваются одним чувством — негодованием, гневом. Юморист, напротив, доступен *всем* (курсив Кюхельбекера. — Ю. Л.) возможным чувствам; но он не раб их, — не они им, он ими властвует, он *играет* (курсив мой. — Ю. Л.) ими, вот чем, с другой стороны; отличается он от элегика и лирика, совершенно увлекаемых, поработаемых чувствами. Юморист забавляется ими и даже над ними».

«Высокая» сатира прежде всего подразумевала наличие образа гражданина, скорбящего об упадке нравов и торжестве неправды. Позже декабрист М. А. Дмитриев-Мамонов в письме к М. Ф. Орлову, говоря о том, как следует «волновать умы» и в чем состоит «великое искусство руководителя революции», писал, что в процессе воспитания борца «ко всему этому нужно примешивать что-нибудь римское». Именно «примешивая что-нибудь римское», следовало, по его мнению, создавать в поэзии образ гражданина — судьи современности. Такое построение подразумевало, что и «пороки» выступают не в их конкретно-бытовом, современном облике, а в отвлеченном, представленном крупным планом, тоже в античных одеждах. Это будут не «пороки», а «злодеяния». Являясь абстрактным, такое обличение было значительно более смелым и общим, чем допускали бы цензурные возможности, когда речь шла о современности. От образов стихотворения «К Рубеллию» на читателя веяло республиканским духом римской сатиры. В преддекабристский период, когда речь шла не о борьбе за

точно сформулированные пункты программы, а о воспитании пусть неясного, но свобододолюбивого чувства, необходима была именно такая структура сатиры. В дальнейшем, в период «Союза благоденствия», подобное художественное решение будет отклонено во имя сатиры современно-бытовой, которая приведет к «Горю от ума» и первой главе «Евгения Онегина».

Милонов был мастером именно «высокой» сатиры, написанной александрийским стихом, насыщенной «римской» символикой.

Но вместе с тем в поэзии Милонова была и другая сторона, хорошо известная современникам. Он культивировал поэзию дружеского кружка, не предназначенную для печати, создававшуюся без оглядки на цензуру. Недаром в письме Грамматину от 17 ноября 1810 года Милонов беспокоился: «Хочу знать, получил ли ты письмо мое через Чагина.¹ Для меня весьма неприятно, если оно попадет в чужие руки, ибо я писал слишком откровенно». Потаенная политическая сатира Милонова почти не сохранилась, но, вероятно, среди анонимных эпиграмм конца 1810-х — начала 1820-х годов не одно стихотворение принадлежит ему. По крайней мере такой хорошо осведомленный доносчик, как В. Н. Каразин, приписывал Милонову известную эпиграмму на Сенат:

¹ Земляк Милонова, сосед его по квартире в Петербурге.

Какой тут правды ждать в святилище закона!
Закон прибит к столбу, и на столбе корона.

(Имеется в виду эмблема Сената, изображенная на пуговицах сенатских мундиров). К такой кружковой поэзии, не предназначенной для печати, принадлежит и «Послание в Вену к друзьям». Стихотворение, созданное в форме письма друзьям и явно антиправительственное по духу, написано языком намеков, дружеских недомолвок, очень близко напоминающих язык дружеской конспирации в пушкинском «Послании В. Л. Давыдову». Автор сам подчеркнул эту особенность стиля:

Не осердитесь хоть из дружбы,
Что речь покажется темна.
Ведь я чиновник статской службы,
А в оной ясность не нужна.

Милонова постигла общая беда поэтов-демократов тех лет: материально необеспеченный, нуждающийся во всем необходимом, вынужденный служить из-за денег и презирающий службу, Милонов начал опускаться. В конце 1810-х годов почти единственный путь сохранения верности прогрессивным идеям состоял в организационном союзе с единомышленниками. Для того чтобы не отстать от передовой части общества, надо было двигаться вместе с ней, а движение это подошло к критическому рубежу — оно превращалось в конспиративное и сознательно ре-

волюционное. Демократ и оппозиционер, Милонов не был человеком революционного мышления. Более демократичный, чем декабристы, он не мог, однако, подняться до их революционности и остался в стороне. Темы его стали мельчать. Дружеский литературный кружок, предшественник тайного общества, в момент, когда тайные общества уже возникли и вобрали людей, стремившихся к объединению на основе политического единomyслия, или сближался со своим прежним антагонистом — светским салоном, или превращался в кружок собутыльников. Именно эта последняя участь постигла кружок Милонова — Политковского. Сохранилась тетрадь последнего — «Зеленая книга» — со стихами членов кружка, и в частности Милонова. Темы стихов, написанных порой с блеском, — нужда, поиски средств для покупки вина, размышления о разнице между «шестирублевым» и «четырёхрублевым» коньяком и водкой. Пушкин записал характерный анекдот: «Сатирик Милонов пришел однажды к Гнедичу, пьяный по своему обыкновению, оборванный и растрепанный. Гнедич принялся увещевать его. Растроганный Милонов заплакал и, указывая на небо, сказал: „Там, там найду я награду за все мои страдания. . .” „Братец, возразил ему Гнедич, посмотри на себя в зеркало: пустят ли тебя туда?»» Ф. Ф. Вигель писал в своих записках: «Огромный талант Милонова можно сравнить с прекрасною зарей никогда не подымавшегося дня».

В 1815 году в Петербурге организовалось литературное общество «Арзамас». В «Арзамасе» объединились ведущие литераторы тех лет: Жуковский, Батюшков, Вяземский, Д. Давыдов, Пушкин-лицеист. В «Арзамасе» не было творческого единства — в стенах его протекал тот же процесс поляризации, который характеризовал и литературу тех лет в целом. Внутреннее изменение творческих принципов было присуще не только ведущим поэтам «Арзамаса» — оно захватило и второстепенных его участников, и арзамасскую периферию. С одной стороны, мы здесь встречаем популяризацию художественных принципов Жуковского, с другой — попытки выработать новую позицию, теснее связанную с современностью и более приспособленную для литературной, а затем и общественной борьбы. В качестве примера первого пути можно назвать творчество Александра Ивановича Мещевского — «приемыша Арзамаса». Поэт не без дарования, писавший гладкие и звучные стихи, он создавал элегии и баллады, подражая стилю Жуковского, и перекладывал в стихи повести Карамзина.

Сложная эволюция поэтических принципов карамзинизма хорошо прослеживается на примере Василия Львовича Пушкина.

В. Л. Пушкин был старше других арзамасцев и принадлежал по возрасту к раннему поколению карамзинистов. Первые стихи его по-

явились в печати в 1793 году, то есть когда Жуковскому было десять лет, а Вяземскому не было и года! Развиваясь в русле поэзии Карамзина и Дмитриева, поэзия его культивировала поэтические «безделки», альбомную лирику, гладкие басни в духе Дмитриева.

Однако к началу 10-х годов, когда поэтические принципы старших карамзинистов давно уже оказались исчерпанными, В. Л. Пушкин проявил способность понять новые литературные потребности. Он (так же как и Батюшков) понял необходимость соединения поэзии с полемикой. Позже он имел основание гордиться именем одного из первых застрельщиков поэтической перепалки с «Беседой» и шишковистами:

...первый. может быть,
Осмелился глупцам я правду говорить;
Осмелился сказать хорошими стихами,
Что автор без идей, трудясь над словами,
Останется всегда невеждой и глупцом;
Я злого Гашпара убил одним стихом...

Поворот В. Л. Пушкина к семантически четкому, сентенциозному стиху, восходящему к традиции XVIII века, был для карамзинистов новшеством. Но обращение к такому стиху не случайно. Если старшие карамзинисты противопоставляли «надутой славянщине» вкус как основной критерий художественного достоинства, то в полемике 1811—1816 годов акценты смещаются. Рядом с критерием вкуса выдвигается критерий

ума и просвещенности. Достоинство писателя измеряется ими, а не религиозностью и народностью, понимаемыми беседчиками как верность старине. Спор о том, какие слова употреблять в поэзии, заслоняется другим — вредны ли для России просвещение и европеизация.

Слов много затвердить не есть еще ученье,
Нам нужны не слова — нам нужно
просвещенье, —

писал В. Л. Пушкин в 1810 году. Противопоставление пропаганде православной религиозности Шишкова и мистицизму Шихматова-Ширинского здравого смысла не могло осуществляться средствами стилистики Жуковского, мистической по своему существу. С этим связано тяготение Вяземского, Батюшкова, В. Л. Пушкина к поэтической и философской традиции XVIII века и к прозрачной четкости стиля французской поэзии. При этом происходит парадоксальное явление: для борьбы с «беседчиками», которые считаются «классиками», молодые романтики — Вяземский, Батюшков, Пушкин-лицеист — используют авторитет Буало. В то же самое время «архаисты» ссылаются на имена Клопштока, Юнга и Мильтона. В этом отношении обращение к поэтической традиции Буало, легко ощутимой в посланиях В. Л. Пушкина, имело глубокие корни и означало определенный этап в развитии карамзинизма как направления.

Однако центральным произведением В. Л. Пушкина сделались не послания, а поэма «Опасный сосед». Поэма эта, исполненная полемических выпадов против шишковистов, привлекала и своей бесцензурностью — открытой установкой автора на создание стихотворения, не предназначенного для печати. Не без влияния поэзии Дениса Давыдова В. Л. Пушкин смело расширил и сферу допустимого в изображении быта, и круг лексических средств. Подобный художественный метод еще не был реалистическим, поскольку за поэзией признавалось лишь право изображать обычную жизнь как смешную. Каждодневный быт брался поэтом в своих грубых, низменных проявлениях. И вместе с тем это было решительное расширение самой сферы поэтического — шаг в сторону сближения поэзии и жизни.

Одной из отличительных особенностей поэзии начала XIX века было то, что литературное «завтра» рождалось в это время не в рамках какого-нибудь одного направления, — оно подготавливалось всем ходом развития поэзии, вырабатывалось деятелями различных и часто враждовавших между собою лагерей. Многие из действительно прогрессивных явлений поэзии тех лет имели разные истоки, текли по различным художественным руслам, но все они составили как бы единый поэтический бассейн, питавший главную магистраль — пушкинское творчество. Причем такую роль поэтического синтеза всех

передовых явлений эпохи пушкинское творчество играло именно в свой первый период. В дальнейшем Пушкин будет значительно более сурово отсекал то те, то иные (в зависимости от изменения внутреннего содержания его художественного метода) генетические связи.

Возможность поэтического синтеза определена была не только особенностями личного дарования Пушкина — она органически завершала развитие русской поэзии первых двух десятилетий XIX века. Потребность такого слияния вытекала из самой сущности поэзии 1815—1820 годов.

Поэтическим итогом XVIII века явилась лирика Державина. Душа, пафос этой лирики заключались в вере в высокое предназначение человека именно как человека — вне мундирных различий, вне всего, порождаемого, по убеждению Державина, «мнениями».

Высшая похвала герою — человечность. Поэтому в Суворове подчеркивается простота, а новорожденному наследнику престола дается напутствие:

Будь на троне человек!

Однако державинское понимание «человеческого» было весьма специфично. Оно совсем не означало поэтизации «простого» или «маленького» человека. Черты простоты и человечности выделялись именно в героической личности. Ценилось соединение размаха, широты деяний, общегосударственной значимости поступков и неприязательности, скромности и гуманности.

Герой классицизма величествен потому, что нечеловечен, превосходит обычного человека. Герой Державина величествен и человечен одновременно. Щедро окружающий его быт — это не «фламандской школы пестрый сор», не «смирная проза». Количественное нагромождение бытовых подробностей создает впечатление грандиозности, изобилия, роскоши. Оставаясь человеком, герой вместе с тем и богатырь, и окружающий его быт — быт богатырский.

Вместе с тем простота и величие героя выступают в поэзии Державина как *внешние* проявления личности — первое как скромность личных привычек, второе как грандиозность дел и поступков. Не случайно описание внешности героя занимает в поэзии Державина такое значительное место.

Человеческий идеал, возникший в прогрессивной поэзии конца 1810-х годов, был иным. В пушкинской лирике этих лет появляется образ личности, наделенной необычным богатством *душевной* жизни, внутренних возможностей. Отличительной чертой этой личности является способность ее *ко всей полноте* человеческих переживаний: она вбирает в себя и душевную тонкость поэтического идеала Жуковского, и соединенное со скепсисом стремление к гармонии и совершенству, присущее лирике Батюшкова, и героические эмоции гражданских поэтов 1800—1810-х годов. Причем именно эта *полнота* и гармоничность внутреннего мира, нашедшая свое выражение в лирике, а не только та или иная

острая политическая сентенция, делали ее глубоко свободолюбивой. Поэзия в любом своем проявлении — интимно-лирическом или гражданственном — в равной степени несла мысль о значительности человеческой личности, духовное богатство которой оттенялось казенным убожеством официально-бюрократического существования.

Только на следующем этапе, когда поэтический идеал передовой личности уже должен был не просто осуждать самим фактом своего существования все причастное к официальной сфере жизни, а указывать направление действий, появится новый идеал — идеал борца. Он будет активнее, действеннее, но зато и ригоричнее. Поэзия сердечной полноты, душевного богатства сменится проповедью героической односторонности:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя Отчизна страждет...
(Рылев)

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь...
(В. Ф. Раевский)

В это же время в поэзии наступит пора размежевания. Однако это будет размежевание между направлениями, уже внутренне обогащенными той эпохой сближения передовых поэтических тенденций, которая явилась литературным

выражением этапа и требований «Союза благоденствия».

Но и поэзия зрелого декабризма, рылеевской школы уходила корнями в литературное движение первых двух десятилетий XIX века. Декабристская поэзия была богата и противоречива, — сложной, чуждой единообразия была и подготовлявшая ее преддекабристская гражданская лирика 1800—1810-х годов.

Общие исторические закономерности, пробиравшие себе дорогу сквозь многообразие и пестроту литературных явлений переходного времени, порой особенно ярко проявлялись именно в поэзии массовой, составлявшей историческую атмосферу, окружавшую Пушкина, Жуковского, Рылеева, Грибоедова. Это была почва, которая не только впитывала то, что давали литературные корифеи, но и сама питала и обогащала их.

Понимание этого в свою очередь заставляет внимательнее присматриваться к творчеству поэтов, хотя и не перворазрядных, но внесших все же свою лепту в общий поэтический труд эпохи.

Ю. Лотман

И. М. ДОЛГОРУКОВ

Князь Иван Михайлович Долгоруков (1764—1823) принадлежал к древнему роду, но большого состояния не имел. Служить Долгоруков начал рано. После короткого пребывания в Московском университете он поступил на военную службу. С 1791 по 1797 год служил вице-губернатором в Пензе. В результате служебных неприятностей Долгоруков был отставлен от дел. С 1802 по 1812 год занимал должность гражданского губернатора во Владимире, но после новых служебных неприятностей вышел в отставку.

Поэтическая деятельность Долгорукова началась в 1780-е годы. Долгоруков охотно печатался в периодических изданиях, но это не лишало его творчество характерного привкуса «домашнего стихотворства». Организатор домашних спектаклей и сам умелый актер и имитатор, мастер поэтического экспромта, Долгоруков писал много и легко, печатал свои стихи без разбора. Сам он признавался: «Я очень мало поправлял мои стихи... ни одной безделки, ни одного стиха не вымарал, потому что всякий напоминает мне какое-либо происшествие, или мысль, или чувство». Это была типичная и со-

знательно подчеркнутая поза поэта-дилетанта. От поэтики Державина Долгоруков унаследовал стремление сделать свое творчество зеркалом своей личности, запечатлеть в стихах не только собственные чувства, но и внешность, бытовой уклад жизни. «Я люблю быть всегда Я, не занимствуя чужих нарядов», — писал он.

Основные издания стихотворений
И. М. Долгорукова:

Бытие сердца моего, или Стихотворения князя
Ивана Михайловича Долгорукого, ч. 1—4. М.,
1817—1818.

«Поэты-сатирики конца XVIII — начала
XIX в.». «Библиотека поэта», Большая серия,
Л., 1959.

КАМИН В ПЕНЗЕ

Камин, товарищ мой любезный!
Куда как я тебя люблю!
С тобою в сей юдоли слезной
Заботы все свои делю.
Когда природа умирает,
Когда нас осень запирает
В темницу скучных наших стен,
Тогда, как лист, и я желтею,
К огню прибежище имею,
Играю с ним, уединен.

Хотя без всякого убранства
Из камней грубых ты сложен,
Не монументом гордым чванства
В моем углу ты быть сужден;
Тебя не мрамор одевает,
Не стали луч в тебе сияет,
Не грань хрустальная блестит;
Приятство ломкого фарфора
Толпы невежд не тешит взора, —
Зато ты греешь, тот — дави́т.

Как ночь войдет ко мне в окошко
И дня прогонит белый свет,
Внесут ко мне дровец лукошко:
В моем быту затеев нет;
Вельможам я не подражаю,
На кораблях не добываю
Ни знатных угольев, ни дул;
Дубовыми топлю дровами
Своими попросту руками,
И сам расклат, и сам раздул.

Пока еще не разгорится
Костер моих дешевых дров,
Мой взор с приятностью дивится,
Смотря на быстрый бег дымов,
Смотря, как искра искру тронет,
Как, иссыхая, влага стонет
И место пламени дает;
Огонь все поры распирает,
Дрова трещат, а он пылает
И, что ни встретит, мигом жжет.

Один впогьмах, нога на ножку,
Я в креслах нежусь у огня;
То сон вкушаю понемножку,
То мысль к мечтам зовет меня:
Высоки замки шпански строю,
Стада рабов зрю пред собою,
Готовых манию внимать;
Вселенну всю межую взглядом,
Царей даю смятенным градом,
Гоню морей пределы вспять.

Или, наскучивши войною,
С досад далеко бросив шлем,
Гонясь за новой суетою,
Спешу в мечтании моем
Судей, корыстью обольщенных,
Судейских чучел изумленных
Поганы гнезда разорить,
Злых ябед жало притупляя,
Злодейства капища сжигая,
Во храм свят правды обратить.

Или, намыкавшись по свету,
Наделав пропасть славных дел,
Опять к любезному предмету
Несу убогий свой удел:
Камин поленьями питаю,
Все думы в кучу созываю
И, грезы сонные прогнав,
Влекусь ко сладку размышленью,
Плету хвалы уединенью,
Мирских сует тщету познав.

«Чего ты хочешь, горделивый. —
Вещаю мысленно к себе, —
Ко счастью муж несправедливый,
Чего не достает тебе?
Ты хлеб свой с прихотью съедаешь,
Жену прекрасную лобзаешь,
Детей любезных тормошишь;
Ты млад и незнаком с недугом,
От стужи печь к твоим услугам,
И в неге сколько хочешь спишь.

Ты все молишь провиденье,
Чтобы, как Крез, ты был богат;
Сребро и золото — обольщенье:
Бедняк покойнее стократ.
Кто мер желаниям не ставит,
Тот, сколько золота ни сплавит,
Всё будет беден перед тем,
Кто, по прибаске русской, ножки
Тянуть умеет по одежке
И медный грош ценит рублем.

Напрасно и о том скучаешь,
Что не живешь в ином краю;
Неужли ты воображаешь,
Что Лондон и Париж в раю?
Ах, нет! во все года и веки
Везде те ж были человеки.
Бог миру дал всё пополам;
Нигде нет ясного блаженства,
Нигде нет благ всех совершенства:
Есть смеху час, есть час слезам».

Так думу думал и, вздыхая,
Воображал наш краткий век;
С собой беседу продолжая,
«Не прах ли, — мнил я, — человек?
Постигнет и его кончина
Так точно, как среди камина
Теперь огонь щепы палит.
Вчера сей дуб был знатен, славен,
В лесу ни с чем он не был равен;
Сегодня — срублен и горит.

Колико мы ни нарохтимся
Один другого выше стать,
Напрасно, право, суетимся;
Хоть титло в лист, а умирать!
Рожденья миг есть шаг к могиле.
Нельзя противиться нам силе
Законов вечных естества;
Конца достигнет вся вселенна,
И скот, и тварь одушевленна
В свой час лишатся существа».

И так-то брѣдя в кабинете
Меж многих мертвых мудрецов,
Я прогонял на белом свете
Тоску осенних вечеров;
То рубль один мильоном множил,
То всю Сибирь на фраках прожил,
То пир Лукуллиев давал;
Иль философии стезею,
Простясь с гостившею душою,
Червей в могиле ожидал.

Камин! к тебе я обращаюсь!
Ты в скуке мне великий друг!
Коль в мрачну думу углубляюсь,
Ты всю ее разгонишь вдруг;
Ума и сердца заблужденья,
Страстей жестокие волненья
На память тотчас мне явишь;
Чего напомнить не умеешь!
Со всяким вздором вмиг поспеешь,
Чело улыбкою даришь.

Какое множество ласкательств
Тебе я в жертву приносил!
Любовных клятв и отрицательств
Тебе стопами я дарил;
Нередко шитые жилеты,
Колечки, перстни, силуэты
С лучиной вместе зажигал,
Огонь физический с моральным,
В угоду случаям печальным,
Со всякой скромностью венчал.

О сердца сладкие обманы!
Что может с вами быть равно?
Не вы спокойствия тираны,
Вам царство радостей дано.
Стократ благословенны годы,
В которы красоты природы
Влюбляют снова каждый день!
Всё в мире лживо нас пленяет.
Где ж правда? — В небе обитает;
Внизу ее лишь только тень.

Учитесь, смертные! учитесь
Во всем средину познавать,
И, буи, мира умудритесь!
Чего бог не дал, где же взять?
Кто свет таким, как есть он, создал,
Кто всем из нас свой жребий роздал,
Пред тем винися всяка тварь.
Во всем на власть его надеюсь,
А между тем сижу и греюсь;
Камин мой двор, при нем я царь.

Я вижу часто, как рождается
От искры пламенной пожар;
Не так ли царств судьба вертится?
Горит война от мелких свар.
Но там камины зло калятся,
И сплошь дрова так разгорятся,
Что не зальет морской кувшин;
А здесь воды, чуть жарко станет,
Графина одного достанет:
Спросил да влил — погас камин.

1794 или 1795

АВОСЬ

Хочу стихи писать от скуки,
От скуки, точно для себя, —
Беру перо теперь я в руки,
О ближний мой! не для тебя,
Да что писать? Ей-ей, не знаю!
Предметов много я встречаю,
Но было писано про всё;
За мысль чужую ухватиться,
По мне, так это не годится:
Нет! — лучше выдумать свое.

Любовь! тебя во всех возможных
Наречиях стихотворят;
Богов и истинных, и ложных
Давно уж рифмами дарят;
Давно псалтирь в них наряжали,
Царям как пар их поддавали;
Что знатный пан, то акростих!
Безделки, реченьки, каминьки,
Измену Лизы, верность Нины
И Феклу кто-то впрягал в стих.

С чего ж начать свою мне оду,
Покамест жар мой не простыл,
Чтобы попасться ею в моду,
Чтоб все кричали: «Как он мил!»
С чего? — Или кто мил безмерно,
На вкусы всех тот графил верно?
Нет, также, чаю, на авось.
Авось! — что лучше сей обновки?
Твои я стану петь уловки;
Как, браво, кстати ты пришлось!

О слово милое, простое!
Тебя в стихах я восхваляю!
Словцо ты русское прямое,
Тебя всем сердцем я люблю!
Без важных вычур, но прекрасно!
Ты кратко всякому и ясно
Свой вес почувствовать даешь.
Куда с копытом конь помчится,
Туда же рак ползком тащится;
Обоих в путь один ведешь.

Исчислить всех чудес не можно,
Какие строишь ты, авось!
Скажу — и это, чай, не ложно, —
Что без тебя весь ум хоть брось.
Трудись, потей, слагая темы,
Исчерпай естества системы, —
И всё ты с места никуда;
А тот, кто за авось возьмется,
Ни думав, ни гадав, плетется
И промах редко даст когда.

Со мной не хочешь ли поспорить,
Высокомудрый философ?
Напрасно станешь ум задорить:
На правду-матку мало слов.
Пожалуй, разводи бобами,
Слышал я их семи веками,
Красны они лишь на письме;
А как на деле пешку сдвинуть,
К царю свою ладью придвинуть,
Так тут у всех авось в уме.

На свете мыкался я много,
Ходил, ездил и так, и сяк;
Пойдешь авось — везде отлого,
Пойдешь с умом — всё буерак.
Удача, матушка ты наша!
Земля такая ныне каша,
Что без тебя всё наплевать.
Наперекор рассудку смело
Ломай, коверкай всяко дело;
Коль тут авось, всё тишь да гладь.

Не ныне, ах! во всяко время
Удача бог была земной!
Прочтите древних книг беремя,
Давно сей сякнет ключ дрянной.
Взгляните вы на римлян, греков,
На белых, черных человеков, —
Откуда что у них взялось?
Что был бы Ромул, витязь braveй,
Сей римлян царь превеличавый,
Что был бы, если б не авось?

Коснусь ли здесь я для примера
Вина не пьющих мусульман?
Взгляните там на изувера,
Алтарь низвергша христиан.
Что Магомет-богохулитель,
Востока вредный оболститель,
Что Александр, весь свет пленя,
Что б были знатные герои,
Богатырей водящи строи,
Что без авось? Точь-в-точь, что я!

Колико нежных сибаритов,
Блестящих золотом и серебром,
Дающих дань толпе пиитов,
Чтоб зла их тонкость звать добром?
Когда бедняк пот крови точит,
Слезами каждый грош промочит,
По лестнице тот благ летит:
«Авось взойду!» — себе вещает
И, где не сеял, пожинает,
Что восхотел, то и творит.

А сколько тех сирен прекрасных,
Что знать бы век не довелось,
Когда бы в помыслах их страстных
Не поселилось авось?
Но, в рост пустив свои приятства,
Снискали славу, честь, богатства,
Пошевелился как-то в час,
Когда иная шить устанет,
Ценой камзола хлеб достанет
И съест, не осушая глаз.

Авось всему и всем подпора,
С ним любо и за карты сесть;
Не глядя в них, кричи знай скоро:
«Бостон!» — открыл — он тут и есть!
В беседе миленькой девчонки,
Влюбился ль кто в ее глазенки, —
Скажи «люблю», скажи, не бось;
И верь, что нежно то словечко
Пройдет насквозь ее сердечко.
В любви премудрость вся — авось.

Вещайте, мудрецы! вещайте,
Деля на классы школьный бред!
Птенцам его преподавайте;
А тот смеется вам, кто сед.
Вы то, а свет твердит иное,
Хотя и мнится, что пустое,
Да вить его не стать учить;
Не к нам обычай применится,
А нам с ним надо согласиться:
С волками надо волчьи выть.

В глазах у матушки играя,
Ребенок иногда шалит,
По мере лет обман слагая,
Авось она не разглядит;
Растет — тогда шалит важнее,
Всё с тою целью, хоть скромнее,
Что с рук авось-либо сойдет;
Мужает с тою же повадкой,
Питаяся надеждой сладкой,
Что он-то всех и проведет.

Сожитель женку уверяет,
Что он чужих не терпит жен;
Супруга мужа лобызает,
Твердя, что боле всех мил он;
Скупой свою шкатулку прячет;
Бродяга весь свой век маячит;
Приказный крадет, что есть сил;
А всякий сам в себе смекает:
Авось никто-де не узнает,
Что я проказу сгородил.

Старик, одной ногою в гробе,
Мечтает год прожить еще;
Он, чая жизни новой в небе,
Здесь любит суеты вотще;
По склонности своей природной,
В часок, от немощи свободный,
Карабкается мыслью вверх:
Авось, дескать, я знатей буду,
И денег наживу я груду!
Меня чем лучше сей извѣрг?

За что зовем того злодеем,
Кто мастер счастье добывать,
Кто случаем, как дети змеем
По ветру, смыслит управлять?
Чужое благо нас тревожит;
Но разве всяк из нас не может
Одною с ним стезей идти?
Его авось вить удастся;
Поди за ним, коль не споткнется
Твоя нога на сем пути.

Авось велико, право, дело!
Он всех затеев наших руль;
Лови успех, чтоб всё кипело,
Коль в мире быть не хочешь нуль, —
У всех такие ныне мысли.
По мне, меня чем хочешь числи,
Лишь был бы я здоров и сыт;
Затем ни в шахи не желаю,
И предков слов не забываю:
Закон мой — правда, бог — мой щит!

И так тебе хвалу воздавши,
Словцо языка моего!
Твои доброты описавши,
Прошу вниманья твоего!
В отечестве моем преславном,
Ни с чьим в подсолнечной не равном,
Останься друг мне навсегда!
А если я подчас рехнуся,
К тебе под крылья подобьюся,
Не посрами меня тогда!

И точно так, коль друг по моде,
Чтоб дружбу сильно мне явить,
От важных дел своих в свободе
Задумает мне яму рыть;
Но, средств на то честных не зная,
А на тебя лишь уповая,
Коль станет гнуть меня в дугу, —
Ты с ним, пожалуй, не якшайся,
В овраг спихнуть его старайся,
Вступаясь за верного слугу!

О, час досуга вожделенна!
Прошел, и в вечность канул ты;
С ним вместе духа восхищенна
Исчезли пылкие мечты!
Но плод сей незабвен пребудет,
В бюро моем храниться будет,
Доколе жить мне довелось!
Созрей ты там возле Камина!¹
Его устроена судьбина;
Но ты сравнишься ль с ним? .. Авось!

<1798>

¹ Сие относится к оде моей под названием «Камин».

ПАРФЕНУ

Парфен! напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, с скуки изнываешь.
Ты беден — следственно, терпи.

Блаженство даром достается
Таким, как ты, на небеси;
А здесь с поклону всё дается.
Ты беден — следственно, проси.

Коль барин на смех поднимает,
Вменяй то в честь и не ропщи;
Тобой он тешиться желает.
Ты беден — следственно, молчи.

Не смей отнюдь тем обижаться,
Что некогда ему тобой
В своей уборной заниматься.
Ты беден — так в сенях постой.

Иной шагá не переступит,
С софы не тронется своей,
А сходно всё достанет, купит.
Ты беден — бегай и потей.

О бедность! горько жить с тобою!
Нельзя и чувствам воли дать.
Я, рассуждая сам с собою,
Не мог вовек того понять,

Как могут люди быть такие,
У коих множество всего,
И в том же свете есть другие,
У коих вовсе ничего?

Иной в прекраснейшей палате
Дает всedневный пир друзьям;
А рядо́м с ним в подземной хате
Другой не ест по целым дням.

Богач теряет десятину,
И все кричат: «Какой урон!»
А бедный выронит полтину —
И никому не жалок он.

Обижен сильный — шум, тревога;
Обижен сирий — быть должно!
Иль в области всесильна бога
Парфен и Крез не всё равно?

Ужли различны всем на свете
Удел судьбы, природы дар!
Иным все радости в предмете,
Другим, что шаг — то и удар.

Ах, нет! нельзя, чтоб провиденье,
Создав меня, тебя, его,

Пролило всё благотворенье
Из нас из трех на одного.

Равно нас матери утроба,
Равно и носит, и родит;
И всем, в свой час открыв дверь гроба,
Равно нас смерть туда валит.

За что ж? — Опять позабываешь,
Что ты не должен рассуждать,
Ко всем вопросы посылаешь;
А знал бы ты, Парфен, — молчать.

Терпи свое тихонько горе,
И знай, что наша жизнь была
И будет впредь такое море,
В котором гадов несть числа.

Рассудком тщетно ты хлопочешь
Предрассужденье одолеть;
И если волею не хочешь,
Насильно будешь же терпеть.

Так верь ты мне, Парфен! держися
Пословицы казачьих стран,
По их системе жить учися:
Терпи — и будешь атаман.

Я

Ты хочешь знать меня? — Изволь, мой друг, скажу
И с радостью тебе портрет мой покажу;
Со всем, что бог ни дал, на сцену я предстану,
Пороков убирать моих отнюдь не стану.
Так слушай же теперь, кто я, чей сын, чей внук,
И в правде слов моих поверь мне без порук.

Я мелкая кроха князей тех крупных, славных,
Из коих на Руси один во днях недавних
Великому царю велику правду рек.
Не мне чета был князь и громкий человек!
Всю жизнь свою провел в обычае угрюмом,
Отечества был столп, отцу его был другом.
Внук этого — мой дед — познал, как говорят,
Что вправду близ царя — близ смерти все стоят.
Монарх его любил, вельможи величали;
Там сослан и казнен — и поминай как звали!
Жена его с ним всё делила так, как друг,
Милей самой себя ей был ее супруг;
Лишася в нем всего, в монахинях спасалась
И, схиму восприяв, средь Киева скончалась.
Отец мой (и того уже к себе взял бог)
Душою был богат, а счастием убог.
Моя почтенна мать тяжелый крест свой носит,

В недугах изнурясь, вседневно смерти просит.
А я Jeannot tout court¹ и гол так, как сокол,
Служа 18 лет, в четвертый класс вошел.
Жена моя добра, люблю ее как душу,
Люблю — но и подчас трясу ее как грушу.
Детей вокруг себя привел бог восемь счасть;
Но двух спросил назад, осталось только шесть.
Творец да будет им прибежище и сила,
И что восхощет он, чтоб с ними то и было!
За ним, уверен я, ничто не пропадет:
Молитва, вздох, слеза — всё мзду свою найдет.
Доволен будь, мой друг, ты сею родословной!
Займу тебя теперь я описью подробной
Всего того, что здесь своим могу назвать.
Снаружи наперед начну я рисовать.
Натура маску мне прескверну отпустила,
А нижню челюсть так запасну припустила,
Что можно б из нее по нужде, так сказать,
В убыток не входя, другому две стачать;
Глаз пара пребольших, да под носом не вижу,
То есть я близорук, — лорнета ненавижу;
Хоть ростом никогда не буду великан,
Но в рекрутский набор и мой годится стан.
Вот всё, что мне на крест природа положила!
Увидим ниже, чем душонку снарядила.
Но, вместе всё смешав, нельзя ей попенять,
Чтоб метила во мне товар лицом продать.
Родитель мой меня воспитывал как должно:
Учился я всему, чему придумать можно;
Да что-то я на всё тупенек смалу был:

¹ Просто Иванушка (франц.). — *Ред.*

Иное не далось, иное позабыл.
По мере лет моих прошел я все науки,
На разных языках мололи мне аз, буки;
Латынь, одну латынь — по складу, по толкам,
Твердил семь битых лет, и всё по пустякам;
Что денег бог пошлет, в минуту сосчитаю,
А математики совсем, мой друг, не знаю,
И сколько мастеров ни смучил я за ней,
Дошел до дележа и в пень стал у дробей.
Учился фехтовать за дорогую цену,
И вечно попадал не в цель, а прямо в стену.
Бивал все в барабан бои до одного,
А ныне, хоть убей, не помню ничего.
В манеже три зимы меня ль не муштровали,
К езде на лошадях всемерно приучали;
Но всеу затевать, чего нет на роду:
Не только что с коня — с клячонки упаду.
Ты видишь, что я льстить нимало не намерен,
Итак, в моих словах, пожалуй, будь уверен.
Учился я всему, но был успех в том плох;
Наука в стороне, а я стал скоморох:
Пляшу, пою, резвлюсь, комедии играю
И в знатных людях тем по нүжде промышляю.
Спасибо, что хотя на что-нибудь да гожд!
До сих пор мой портрет со мною очень схож;
Жаль только, что моя пропала штукатура!
Посмотрим, чем внутри снабдила мать-натура.
Слышал я от жены, что будто я умен;
Быть может, что и впрямь в своем углу смышлен.
Когда о чем-нибудь я с ней перебиваю,
Скажу без хвастовства, не всё же повираю.
Да в этом вслух нельзя признаться мне никак,

А то вить скажут все: какой-ста он дурак!
Пусть буду я таков, я, право, не сержуся
За то, что в список ваш, люд умный, не гожуся.
Не чван ли я? — О нет! и если б знатен был,
За всякий бы поклон поклоном я платил.
Самолюбив ли я? — К несчастью, очень много,
И сей порок во мне хоть школят очень строго,
Но что же делать с ним, коль слаб его унять?
Во всех частях собой кто может управлять?
Я дик, тяжел и груб; но лъзя ли быть иначе
С развратными людьми, с такими наипаче,
Которым, говоря о правде каждый час,
Всё бойся, как бы им не трафить камнем в глаз?
Приятно ль встретить вдруг на рыцарской ходули
Того, кто в целый век не видывал и пули?
Что хочешь говори, бичуется вся кровь,
Когда иной подлец вздымает горду бровь,
Когда сам о себе и бог весть что мечтает,
Уверить хочет всех, что звезды он хватает;
А ты, когда пред ним как подлый раб стоишь,
Внутри своей души в алтын его ценишь.
Я гибкости в себе нимало не имею,
В клубок ни перед кем свернуться не умею;
Иду своим путем, как должность мне велит,
И где споткнется ум, там совесть подкрепит.
Я вспыльчив, но во мне дух злобы не гнездится,
И мщением моя душа не возгорится.
Коварствовать ни с кем не смышлю никогда,
И с чувствами язык согласен мой всегда.
Здоровьем небогат, однако же доволен,
И, слава богу! я не очень часто болен.
В герои не влечет меня мой тихий шаг,

По склонности ушел от рыцарских отваг.
Не зная, лучше что из этих двух игрушек:
Пырнуть ножом в углу иль дать туза из пушек,
По логике моей давно расположил,
Что так ли, или сяк, да плохо, как убил.
Мне мамки натвердя: вон, батюшка князь, бука!
Пугнули так, что я боялся долго жу́ка;
А нынче, как уж стал немножко смышленёй,
Так только лишь одних боюсь, мой друг, — людей,
И для того от них поодаль часто жмуся,
Из-за угла на их проказы я смеюсь, —
Подобно как в лесу громовую стрелой
Падет, разбит в щепы, кудрявый дуб большой;
Громадою его весь мелкий лес разится,
Что прежде защищал, то вмиг стремглав валится;
В то ж время деревцо в кустарнике глухом,
Где чуть-чуть раздались стихиев прят и гром,
От солнышка в тени, от бурь в уединеньи
Разгневанных небес не чувствует волненьи.
Природа не дала мне больше сих даров;
Весь тут, как видишь ты, и без обиняков.
Но спросишь ты меня, чем в жизни наслаждаюсь
И в праздности какой забавой занимаюсь? —
Мой друг! от карт меня уволить я прошу,
Бостону жертвы я совсем не приношу;
За зайцем по полям с собаками гоняться —
Сим правом сильного не мастер величаться.
О женщины! лишь вас с пристрастием люблю;
За вас — для вас — по вас я многое стерплю!
Лишь взвижу где корсет — пропал душой и телом!
Не думай, чтоб шутил; нет, право, самым делом.
Каких краев и лиц я женщину ни зрю,

Готов для всякой храм и сердцем всех дарю.
Премудрости богов, о ты, залог прекрасный, —
О женщины! какой не любит вас несчастный?
При вас я и крохам сухого хлеба рад,
Без вас — не надо мне и мраморных палат.
Причины у всего просил я окологка,
Почто я весь не свой, как встретится красотка;
Всяк бредит свой довод, а кажется, все врут.
Что нужды, пусть меня Сердечкиным зовут;
Купиду, верь, мой друг, никто не одолеет,
И всяк из нас его по-своему лелеет.
Доколе свет стоит и смертных род живет,
От женщин нас ничто нигде не отвлечет.
Все моды, проходя, одна другой менялись:
Мужчины то в шишак, то в шали наряжались.
Бывало, как изволь, везде без пошлнн ври,
А нынче сядь за стол и делай de l'esprit.¹
Век нá век не придет: то вдруг затеют драться,
То примутся пахать, хозяйством заниматься;
Теперь же посмотри (когда весь мир вверх дном),
Мужчина за канва, а женщина верхом...
Прости — я от моей материи отбился;
Но к слабостям людским отчасти устремился
На тот один конец, чтоб делом показать,
Что тот же вкус всегда не может нас пленять.
Итак, среди всего, что столь непостоянно,
Амур! хоть от тебя сердцам людским изъянно,
Амур! один лишь ты с Адамовых времен
Дань брал и будешь брать со всех земных племен.
Адам в раю один за Евою гонялся,

¹ Остроты (франц.). — *Ред.*

Потомство тем взманил, — весь свет с тех пор
влюблялся,
Но с той по временам и людям разнотою,
Что все любезны быть имели способ свой.
Лет триста, например, назад тому, я чаю,
Любовник не певал: «Ах! я вас обожаю!»
Гуляфною водой распысканный Синав
Славянским красотам не трафил бы на нрав;
Детрейше Генрих сам не так бы полюбился,
Когда бы прочь усы и в фрачек нарядился;
И также вряд теперь понравится паша,
Который, сняв чалму, проскачет антраша.
Но, впрочем, всяк свою красоточку голубит!
Владыка под венцом, мужик в отрепьях любит.
За что же одного винить в любви меня?
Желал бы посмотреть, кто ж в этом и не я?
Я думаю, что ты, мой друг нелицемерный,
Доволен должен быть картиною столь верной.
Прости!.. пора письмо на почту отсылать;
В Москве всему свой час, боюся опоздать.
Люби Jeannot; хоть он детина незадорный,
Но будет навсегда слуга твой всепокорный.

< 1802 >

ПИР

Ah! il n'est point de fête,
Quand le cœur n'en est pas.¹

Взманил меня на днях знакомый малый вздорный
В деревню к богачу на праздник преогромный:
Там стерлядь, хвастал он, аршина в полтора,
К тому же, говорил, живого осетра
С курьером во весь дух из Волги притащили, —
Вчера его при мне в садок здесь посадили;
Вина — хоть окунись — какого хочешь есть,
И, словом, лишь была б охота пить и есть,
А впрочем, всякий там найдет, чего желает:
Гостям хозяин рад, как принц их принимает.
Я слушал и молчал, смекая сам с собой:
Ни крошечки не лжив детина дорогой.
Зачем поеду я обедать в дальни гости?
Верст тридцать от Москвы ломать напрасно

кости

Нет нужды никакой; а есть ли сила в том,
Чтоб стерлядь запивать диковинным вином
И в куче разных лиц незнаемых шататься,
То, право, лучше мне в своей семье остаться.
Дворянский наш базар меня уж не дивит,

¹ Ah! это уж не праздник, когда сердце не в нем
(франц.). — *Ред.*

А кашею крутой я также буду сыт.
Но вдруг поехать с ним мне что-то рассудилось,
Иль пуще оттого, что мне в тот день
сгрустилось.

«Решился, так и быть, поедем!» — я сказал
И цугом заложить коляску приказал.
Пока мой экипаж к походу снаряжался
И Колобов,¹ как бес, по всем избám прощался
(У всякого своя приманка в свете есть:
Любовь не всё одну боярску холит честь,
Не всё она к одной прекрасной тянет роже;
Бродяга часто в ней поспорит и вельможе.
А что до красоты, то свет давно пустил
Пословицу в Руси: не по хорошу мил,
А по милу хорош) — итак, пока впрягали,
Нам просто, без затей позавтракать собрали;
Мы, съевши хлеба край, хлебнули молочка,
Прекрасен был тот день — ни туч, ни облачка;
Посоветившись брать с собой в дорогу книжку,
От голоду в запас взял вяземску коврижку.
Не рифму здесь хочу для книжки прибирать —
Нет, истинно люблю я пряники жевать.
Меж тем уже в подъезд коляску подвозили;
Мы прыг в нее тотчас — трягнули — покатали
Без цели тридцать верст скакать, бог весть
зачем.

Едва ль, oprичь меня, случалось это с кем!

Ах! если б я умел здесь живо и прекрасно
Пером то написать, что мне молот всечасно

¹ Слуга мой.

Товарищ на пути... уверен бы я был,
Что повестью такой и мертвых рассмешил.
Лишь сел и закричал: «Пошел! Как тихо едем!
Мы эдак никогда до места не доедем».
— «Помилуй! пять минут лишь только со двора».
— «Какое пять минут! часа уж с полтора».
Фу! что за пекла здесь! нет мочи — задушился!
Вели спустить хоть верх». — «Ты очень
зашалился».
— «Пожалуй, прикажи!» Слуга лишь соскочил:
— «Постой, постой!» — «Что там?»
— «Я тросточку забыл».
— «Неужто нам за ней турить домой лакея?»
— «Добро, уж так и быть — пошел, да
поскорее».

Отъехали сажень: «Ай! ай! вон косогор, —
Коляска на боку». — «Пустое, братец, вздор!»
Вот так-то он блажил, а я всё с ним чинился.
Наскучил мне сумбур, и я за ум хватился:
Не слушал ничего, что далее ни врал.
Ах, боже мой! как он меня тогда залгал!
Вестей не есть конца — всего и всех коснулся;
Скакали три часа, хоть в слове бы запнулся;
Да пуще-то всего он тем мне надоел,
Что сряду двух минут в покое не сидел:
Как живчик, — то и знай в коляске он вертится;
Вдруг крикнет: «Ну, пошел!», вдруг: «Дай
остановиться!»
Там кочка, сям бугор — «Ой! вывалят тотчас»;
Подъедем ли к реке — «Прости, уходят нас!»
Я только что спрошу, когда заколобродит:
«Да часто ль на тебя такая дрянь находит?»

Как стали мы к селу верст на пять подъезжать,
«Постойте!» — закричал. — «Когда теперь стоять!
Что там бог дал еще?» — «Вон в роще незабудка;
Сорви ее, слуга!» — «И! полно, что за шутка!
Не слушайте его!» — я людям закричал,
И кое-как в село к обеду прискакал.

Оправились, взошли. — В прекраснейшем
строении

Художества везде находим превращеньи.
Хозяин из-за карт а bras ouverts¹ бежит;
Хозяйка на софе, разнежившись, лежит.
Французских слова два она нам отпустила;
Товарищ мой тотчас: «Ах! как у вас всё мило!
Мы видим возле вас Олимп среди полей».
И подлинно тогда набег к ним был гостей:
Иной кричит «бостон», иной «сампрандру»

просит;

Тот песенку поет, другой стихи подносит;
Французов, немчуры — бесчисленный народ,
По всем углам торчит иноплеменный сброд.
Товарищ мой ко всем с приветством подбегает;
Иного руку жмет, другого обнимает.
Девиц прекрасных строй, любезных женщин тьма,
И было б, может быть, с чего сойтить с ума;
Но, к счастью моему, ум дома я оставил,
А сердце на житье к Раиде я отправил,
И тут среди гостей вздохнул об ней тогда:
С ней розно не могу быть весел никогда.
Пошедши на балкон окинуть глазом виды,

¹ С открытыми объятиями (франц.). — *Ред.*

Гость каждый речь свою запел, как соловей:
Иной, схватя пирог, в две щеки утирает
И думает, что он *Морó* на штык сажает;
Индейче крыло терзая, там другой
Рассказывает всем про *Макдональдов* бой;
Над жирной ветчиной уездный Бушма прееет
И крайне о долгах дворянских сожалеет;
Потягивая пунш, беззубых двое тут
Грустят, что скоро дни последние придут;
Никто ни с кем ни в чем не хочет быть

согласным,

А всякий свой довод считает распрекрасным.
Хозяин, чтобы вдруг все мысли согласить,
Спросил большой покал — и ну здоровье пить.
Он наше, мы его пока шампанским пили,
По ноте *много лет* нам певчие сулили.
Потом со всех сторон пошли десерт таскать.
Всего, что было тут, нельзя пересказать.
Желая истощить всей неги услажденья
И самых тонких чувств растрогать в нас

движенья,

На арфе двух певиц заставили играть
И нежны голоса со звуком струн сливать.
Хозяйка между тем, жеманяся непутно,
Болтала всякий вздор французский поминутно;
Девицы про себя: «Ты знаешь, *chez Pierrsohn* ¹
Препропасть навезли *bonnets à la Nelson*. ²
И вот уж — быть нельзя — тотчас ведь спорить
стала;

А я вчера за ним нарочно заезжала.

¹ У Пьерсон (франц.). — *Ред.*

² Чепчики à la Нельсон (франц.). — *Ред.*

— «Поеду же и я». — «Сегодня уж когда?»
— «Так завтра». — «А как всё раскупят — вот
беда!»

— «Какая здесь соgвée! ¹ терпенья не достанет.
Нет! маменька меня вперед уж не заманит». —
А маменька в ушко соседке: «Ах! мой свет!
Взгляни-ка, — шепчет ей, — не смялся ль мой
корнет?»

Чад винный между тем объявши все утробы,
Тронулись страсти в нас, вскипел в устах яд
злобы.

Мой хватик дал сигнал, возвыся первый тон;
Исчезли речи все — стал слышен рев и стон.
Хозяйка «Ah! j'ai peur!» ² взвизжала и умчалась,
За нею дам толпа в минуту разбежалась, —
И тут-то начался порядочный содом,
А люди то и знай, что всех поят вином.
В ином углу дрались, в ином еще бранились;
Кой-где гостей уж нет — давно под стол
свалились.

За женщинами вслед и я было урыл,
Да пьяный мой сосед за фалду ухватил:
«Постой! после стола спектакль нам покажут». —
Какой тебе спектакль: уж в лыко все не вяжут.
Под эту речь Мортивр, ³ проснувшись со сна,
Дворецкому кричит: «Дай сладкого вина!»
Пристали все рабы, с попырок у рту пена;
Да пьяным, говорят, и море по колена.
Не ведаю, как я непьяный уцелел.

¹ Тяжелая работа, барщина (франц.). — *Ред.*

² Ах! я боюсь (франц.). — *Ред.*

³ Имя хозяина.

Мой хватик, нагрузясь, едва уже сидел.
По рюмке поднесли еще нам дрей-мадеры, —
Тут новые у всех родилися химеры:
Кто в шахи захотел, кто в знатны господа,
Кто хочет миллион иметь рублей всегда,
Иной стрельнул в Мадрид с испанцами подраться,
Другой готов весь век с соседями тягаться,
Тот весь индийский скарб в баул свой положил,
А этот в свой чулан сераль переташил:
Что разум, то расчет, что сердце, то желанья.
Хозяин посреди сих пьяных восклицаний,
Ко мне оборотясь: «А вы, гость дорогой!
Чего б хотелось вам?» — «Домой, сударь,
домой», —

Ответствовал ему я очень равнодушно.
— «Так рано!» — «Да мне здесь, помилуй бог,
как скучно!»

Пострел мой унимать: «Пожалуй, погоди.
На фейерверк ужю немножко погляди!
Такого, мне поверь, не видывал вовеки:
Фонтаны, бураки и пламенные реки;
С собор Успенский щит и тысяч сто фузей».
— «Ах! полно, братец, врать! По милости твоей
Я слышал уж и так, как лжешь ты превосходно,
И далее с тобой транжирить мне несходно».
— «Так я останусь здесь». — «О! ты хоть
до утра,

Пожалуй, пей и жди живого осетра;
А мне пора в Москву». — Ни с кем я не
прощался,
Вскочил из-за стола, на цыпочках убрался.
Недолго на крыльце своей коляски ждал,

И в город во весь дух скакать я приказал.
Дорогой размышлял: вить есть же в свете люди,
Которы осетров хотят ловить на уди.
К Раиде прикатил, — Раиды милой взгляд
И путь мне, и обед вознаградил стократ.
Свободен от чинов, без всяких принуждений,
Блажен, когда могу ей делать угожденьи!
С ней мал и целый день, с другою длинен час.
И тут я испытал уже не в первый раз,
Что где мне ни польстят к утехам разны виды,
Ах, нет! я не могу быть счастлив без Раиды!

* * *

Без тебя, моя Глафира,
Без тебя, как без души,
Никакие царства мира
Для меня не хороши.
Мне повсюду будет скучно,
Не могу я быть счастливым,
Будь со мною неразлучно,
Будь со мной, доколе жив!

Ни богатства не желаю,
Ни в большие господа,
Всё другим то уступаю,
Будь лишь ты со мной всегда.
Вот одно мое желанье!
У меня другого нет,
Без тебя — вся жизнь страданье,
Без тебя — пустыня свет.

Я люблю тебя всех боле,
Я люблю одну тебя,
В толь приятной сердцу доле
С кем сравняю я себя?

Ах, ни с кем, ни с кем, конечно!
Только ты люби меня,
Буду счастлив, будешь вечно
Ты мой друг и жизнь моя!

< 1802 >

**ИЗ ЦИКЛА
„ГУДОК ИВАНА ГОРЮНА“**

Фекла! сем-ка мы с тобою
Станем жить да поживать,
Станем мы без ссор и бою
Себе хлебец наживать.
Мы свой век и без Амура
Промаячим кое-как,
Ты невинна, что ты дура,
Я невинен, что дурак.

Я наук не понимаю,
С востряками не вожусь,
В речь разумну не вступаю
И в собраниях не гожусь.
Нас пустила в свет натура
Ни на что, как только так,
Ты невинна, что ты дура,
Я невинен, что дурак.

В книгах я не обращаюсь,
Арифметики боюсь,
С Яшкой рыжим не якшаюсь,¹
Часто с азбукой бранюсь.

¹ Жан-Жак Руссо.

На зубах у балагура
Пусть слышем мы так и сяк,
Ты невинна, что ты дура,
Я невинен, что дурак.

Век охоты не имею
Ни в картишки, ни на бал,
Днем сижу, хожу и прею,
Ночью дрыхну наповал.
Моей Феклы мне натура
Вечно жить велела так.
Ты невинна, что ты дура,
Я невинен, что дурак.

Деньга деньгу в сумку манит,
А за деньгой грбша жди,
Ум доходу не притянет,
Сколько в книгу ни гляди.
Видно, хочет так натура,
Чтоб ум дёнгам был батрак,
Так пускай ты будешь дура,
Я рад вечно быть дурак.

СЕМИРА БОЛЕСЛАВНА

Послушайте меня, Семира Болеславна!
Открою тайну вам; она весьма забавна.
Вестимо буди вам, чтоб в добрый молвить час,
Что дернул сатана меня влюбиться в вас.
Невмочь уже терпеть; или сей час жениться,
Иль тяжкий сделать грех — на своре удавиться.
А что бы за резон? Понять изволь, мой свет:
Петров день на дворе — мне стукнет двадцать
лет;

У матушки в селе крестьяне в это время
Все женятся давно, мне жизнь без друга
бремя, —

Слоняюсь всё один, ни бабы, ни детей,
И некому ходить за пажитью моей.
Нет, полно! уж пора зажечь домком господским;
Об этом толковал я и с попом приходским,
А к нам вот на Святой лишь только посвящен
Какой-то богослов — и сильно обучен.
Он часто мне твердит, что лучше обвенчаться.
Чем страстию любви сушиться и терзаться.
И впрямь, коль рассудить, голубушка моя,
Что толку одному маячить век, как я?
Господь благословил меня-таки достатком:
Крестьян за мной в степи душ триста
и с остатком;

Скота — не перечесть! а жита что! а птиц!
Сусеков не стает, — нигде таких пшениц!
Овса ли, как у нас в уезде, не родится;
Что лесу на бору, и в стройку весь годится;
А рыбы-то в прудах — не видано такой,
И наши караси весь круглый год с икрой.
Уж то ли не житье! — Да что б добра ни было,
Без милого дружка на свете всё постыло:
И солнце не светло, и месяц не на вкус,
И в душу никакой нейдет любимый кус.
Пойдешь на скотный двор — с навозу станет

душно,
А с матушкой сидеть — помилуй бог как скушно!
Такая лезет дрянь, такой найдет столбняк,
Что суток пять лежишь, как в стойле аргамак.
Лишь только б до венца мне как-нибудь
добраться,

А то я молодец, могу хоть с кем равняться;
Детина напоказ, натурою счастлив,
И туловищем дюж, и рожею смазлив;
Хоть речью говорить заморской не умею,
Признаться, и свою тупенько разумею, —
Да разве тем одним на свете только жить,
И бабу целовать, и детушек родить,
Которые, с тех пор как школы появились,
Неведомо какой грамматике учились?
Пустое не потачь! — Хоть я не грамотей,
Дай сроку, как женюсь, и я взведу детей.
Что много рассуждать? Семира Болеславна!
Поди-ка за меня — и заживем мы славно!
Всё, ягода моя, тебе во власть отдам,
Прошенье в земский суд по форме я подам;

Велю в нем написать, что весь мой скот рогатый,
И за́кром, и подвал, и пчельник мой богатый
Потомственно тебе, сударушка, дарю:
Пускай же знают все, как жарко я горю,
И пусть по всем торгам разносится молвою,
Что скоро я вступлю в законный брак с тобою.
Исправник и судьи к нам гурьбой налетят,
Нацедим пива чан, нарежем поросят;
В день свадьбы подарю волосяно колечко
И с перламутрами янтарное сердечко;
А сам надену фрак, что мой отец носил,
Когда по сторонам амуриться ходил.
Кой час из-под венца воротиться со мною,
Велю псарям встречать музыкой роговою;
А там я приложусь к малиновым устам, —
Хе! хе! — и будешь ты, как водится, *мадам*.
Назавтра пир горой; мой староста с народом
Ударится челом; а бабы хороводом
Придут вокруг тебя венки зелены плесть
И станут песни петь, что силы в груди есть.

Как праздники пройдут, начнем сушить овины,
Под ивами гулять мы станем вдоль плотины,
Холопей за собой нарядим ровно двух,
Чтоб венчиком они обмахивали мух;
Не то — велим по нас приехать дрожкам
с клячей,
Объедем вместе хлеб молоченый, стоячий;
Для случая велю срубить сот пять дерёв,
Плотами по реке пригоним их в Венёв,
Чтоб можно было там на временну забаву

Поставить флигелек с светелочкой на славу,
И было бы куда просить гостей к себе;
А ежели и то соскучится тебе, —
Так что ж? — неволи нет: раскланявшись миру,
В коляску — и махнем поблизости в Каширу.
Там станем день и ночь по улицам катать,
С настойкой чаю пить, к знакомым заезжать.
Уж то ли, я скажу, не разливанно море?
Какое может нас тогда постигнуть горе!
Сорокоумники напрасно все твердят,
Что Питер да Москва одни лишь веселят;
Пустое! — в этом наш поспорит околודок.
Во-первых, нет нигде таких отменных водок;
К тому же никакой в столице господин
Не ссилит выпить то, что наш брат дворянин.
У нас вить то и знай попоичкам причины:
Поминки ли, сговёр, рожденье, именины,
Без хмелю никакой здесь случай не пройдет;
Хозяин всем поит, а гость всего припьёт.
По крайней мере мы, когда набьем утробы,
Хоть съездишь и в висок соседа, да без злобы,
Назавтра же и мир — и снова наливай;
А инде-то небось со всячинкой, я чай!
Да что нам до людей, предбудуща супруга!
Мы будем ликовать взаимно друг для друга.

По милости творца я полный господин!
Всё вдоволь у меня, — на что мне важный чин?
Я сроду не служил, по вольности дворянства,
И впредь из одного лишь только окаянства,
Как многие у нас, служить я не хочу;
Достаточек бог дал, а вдаль не хлопочу.

Да мало ли забав! Лишь дѣньга бы была,
Уж залюбуешься, красотка, до зела.
Свезу тебя к сестре недели на две в гости;
У ней по вечерам играют часто в кости.
Малеваный гусек, и восемь гнезд вокруг,
На каждом свой цифирь — раскинуть надо вдруг;
И если трафишь так, что кость числом тем
ляжет,

Которое гнездо гусиное покажет,
Та ставочка твоя. — Я сам любил играть,
Да больно дома бит, пришлось перестать,
А то бы и своих костей не досчитался.
Я с этою сестрой с младенчества свыкался.
Мой дядюшка ее был деверю свояк,
А ближе довести родства не знаю как;
Но слышал от того, кто нас учил закону,
Что бог велит любить Далматову Пиону
Затем, что я ей брат, а мне она сестра.
Родню свою хвалить негоже — а востра!

Довольно ль изъяснил, Семира Болеславна,
Все выгоды житья со мною вам исправна?
Мудреных от меня не ждите вы словес,
А в срок купить горазд и сено, и овес;
Но если как осел под вьюком я вспотею,
То лучше ничего сказать вам не сумею,
Как то, что от любви шатаюсь без ума,
И в теле, и в мозгу ужасна кутерьма.
Готов я и на то, против природной лени,
Чтоб, ставши на часок пред вами на колени,
Из книжки прочитать страницу наизусть,

Как некий описал свою любовну грусть
Восточный Дурилом, собравший важну силу,
Чтоб в плен с собой угнать с орды княжну
Ненилу:

«О ты, таинственна небесна красота!
Воображения сладчайшая мечта!
Души моей кумир и ландыш благовонный!
Воззри на гордый дух, красе твоей
преклонный!..»

Ах! как, бишь, там еще? Пойдите! да, — «Луна
На Севере не так в кругу своем полна,
Не столько видно мачт на гордом океане,
Не столько Магомет сумбурит в Алкоране,
Не столько дал добра ост-индский нам народ,
Колико мне любви, тебе дал бог красот!»

Каков восточный шах, — но я косноязычен
И к вычурам таким смаленька не обычен;
Я попросту одно заладил и твержу,
Когда к тебе в окно с плотины погляжу:
«Венчаться поскорей!» — и мать сбил с ног
родную:

«Да высватай же мне соседку дорогую!»
А матушка твердит всеобщую молву:
«Сынок! да поезжай искать жены в Москву;
Там девок, говорят, тьма-тьмушая в народе,
Как репы родилось на нашем огороде;
Лишь стоит кошелек пошире развязать,
Из тысячи дадут любую выбирать:
Для трехсот душ степных одну жеманну душу
Кто замуж не отдаст за этакую тушу?
Вот мой тебе совет! Надумайся, ступай

И с милою женой по ярмаркам качай.
Ну, что тебя, скажи, к плотине привязало?»
— «Кормилицу спроси — меня приколдовала
Каким-то корешком одна ворожея;
Ведь драться с сатаной не станешь, и нельзя, —
На том и кончим спор». — Я губу вдруг надую,
Уйду в дремучий лес, да месяц и бунтую;
А там опять за то ж. — Уж будет ли конец?
Или кинжалом в бок, или надеть венец.

Усовестись, прошу, Семира Болеславна!
Грех смертный волочит меня и так издавна.
Подходит мясоед — реши мою судьбу!
Я к свадьбе заказал миндальную трубу;
Уже готово всё: двуспальная перина,
Подножие, свечы, попу с дьячком полтина,
Трезвоны на мази — вся дворня маршируй!
Лишь только скажешь: «Да!» — Исаие, ликуй!!!

НА ПЛАН ГОРОДА БЕРЕЗОВА

Под стражей мой отец на месте сем родился,
Мой дед и друг царев в остроге здесь томился;
А я, как Павел крест, всех выше титлов чту
И дедов эшафот, и отчу нищету.

< 1818 >

СЕМЕН БОБРОВ

О жизни Семена Сергеевича Боброва (ок. 1767—1810) мы имеем скудные сведения. Он не был дворянином, воспитывался в духовной семинарии, а затем обучался в Московском университете. В 1785 году, окончив университет, он вынужден был поступить на службу. Материальная необеспеченность заставила его не снимать мундира до последнего дня жизни.

Литературная деятельность Боброва началась в 1784 году. Сблизившись в Москве со студенческой молодежью, тяготевшей к кружку Новикова, он стал сотрудничать в масонских журналах — «Утреннем свете», «Вечерней заре», «Покорящемся трудолюбце», а также в «Детском чтении», «Зеркале света». Личность и воззрения Н. И. Новикова, идеи А. М. Кутузова произвели на Боброва глубокое впечатление. Переехав в Петербург, Бобров вошел в литературное общество «Друзей словесных наук» и сотрудничал в его журнале «Беседующий гражданин». Здесь он познакомился с Радищевым. Репрессии, обрушившиеся на Радищева и других писателей, к которым был близок Бобров, непосредственно его не задел, однако вряд ли вне связи с ними находится неожиданный переезд Боброва в 1790-х годах на Черноморское побережье. Боб-

ров служит в Николаеве, бывает в Крыму. В эти же годы он перестает печататься, на что многозначительно намекнул в некрологе его друг, также подвергшийся репрессиям по делу Новикова, — М. Невзоров. В 1798 году в Николаеве вышла поэма Боброва «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» (второе издание — в 1804 году под названием «Херсонида, или Картина лучшего летнего дня в Херсонесе Таврическом»).

В начале царствования Александра I Бобров получил возможность вернуться в Петербург, где сблизился с «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств», печатался в прогрессивном журнале И. И. Мартынова «Северный вестник». Умер Бобров в бедности.

Основные издания сочинений С. С. Боброва:

Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе, поэма в стихах. Николаев, 1798.

Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, браненосных и мирных героев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода опытов, ч. 1—4. СПб., 1804 (ч. 4 — «Херсонида»).

Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец. Поэма в стихах, ч. 1—3. СПб., 1807—1809.

Россы в буре, или Грозная ночь в японских водах. СПб., 1807.

Еще в то время усумнилась
О слезном бытии его.
Лишь усумнилась, — парка хитра
Сокрылася в железном пруте.¹
Но Ломоносов, друг его,
Не так несчастлив был тогда,
Как в смелом опыте того
Судьба свое скрывала жало
И токмо шага ожидала,
Он самый жребий превозмог:
Прошед он философский мир,
Достиг святилища природы.
Не многие пределы крылись
В безмерной области наук
От взоров пламенных его.
Ах! как он в сердце восхищался
При испытании эфира,
Когда шипящие лучи,
Одеянны в цветы различны,
Скакали с треском из металла?
«Скор быстрый шаг бегущих ветров, —
Так он в то время рассуждал, —
Еще быстрее ветр эфирный!
Он, быв от точки отражен
И быстро преносясь по тверди,
Летит мгновенно в точку зренья:
Но звук, эфирным ветром данный,
Подобно как бы луч звенящий,
Слой воздушны потрясая

¹ Известно, что г. Рихман, профессор Санктпетербургской академии, убит громом при испытании электрической силы.

И дале круг свой расширяя,
Слабейшим шагом в слух течет.
Смотри! — сверкнул эфирный луч!
Смотри! — как сребрен вихрь крутится
Змиеобразною чертой!
С какой чудесной быстротой
Стремится в жидку часть из сжатой!
Здесь он в стремлении шумит,
Шипит, трещит — и твердь сечет.
А глас далек — приходит поздно.
Уже гроза на крыльях ветра
Сюда сокрытый пламень мчит,
Который скоро покорит
Себе дрожащий здешний воздух.
Перун чертится полосами
По растяженным черным сводам;
Се сто небесных тяжких млатов
Готовы свой удвоить стук!»
Так мыслил северный мудрец;
Вдруг грянул гром — а ты,
О неисследны небеса!
А ты, достойный плача Рихман,
Печальной опыта стал жертвой!
Потрясая тут, вострепетал
Сердоболящий Ломоносов,¹
Узря бездушного тебя.

<1798>

¹ См. письмо г. Ломоносова о исследовании громовой силы и участии профессора Рихмана.

НОЧЬ

Звучит на башне медь — час ноши —
Во мраке стонет томный глас.
Все спят — прядут лишь парки тощи,
Ах, гроба ночь покрыла нас.
Всё тихо вокруг, лишь меж собою
Толпящись тени, мнится мне,
Как тихи ветры над водою,
В туманной шепчут тишине.

Сон мертвый с дикими мечтами
Во тьме над кровами парит,
Шумит пушистыми крылами,
И с крыл зернистый мак летит,
Верхушки *Петрополя* златые
Как бы колеблются средь снов,
Там стонут птицы роковые,
Сидя на высоте крестов.

Там меж собой на тверди бьются
Столпы багровою стеной,
То разбегутся, то сопрутся
И сыплют молний треск глухой.
Звезда *Полярна* над столпами
Задумчиво сквозь пар глядит;

Не движась с прочими полками,
На оси золотой дрожит.

Встают из моря тучи хладны,
Сквозь тусклу тверди высоту,
Как вранов мчась сонмы гладны,
Сугубят грозну темноту.
Чреваты влагой, капли ноши
С воздушных падают зыбей,
Как искры на холмы, на рощи,
Чтоб перлами блистать зарей.

Кровавая луна, вступая
На высоту полден своих
И скромный зрак свой закрывая
Завесой облаков густых,
Слезится втайне и тускнеет,
Печальный мечет в бездны взгляд,
Смотреться в тихий *Бельт* не смеет,
За ней влечется лик Плиад.

Огни блудящи рассекают
Тьму в разных полосах кривых
И след червлёный оставляют
Лишь только на единый миг.
О муза! толь виденья новы
Не значат рок простых людей,
Но рок полубогов суровый.

Не такова ли ночь висела
Над *Палатинскою* горой,
Когда над *Юлием* шипела

Сокрыта молния под тьмой,
Когда под *вешним зодиаком*
Вкушал сей вождь последний сон?
Он зрел зарю — вдруг вечным мраком
Покрылся в *Капитольи* он.

Се полночь! — петел восклицает,
Подобно рсковой трубе.
Полк бледный тэней убегает,
Покорствуя своей судьбе.
Кто ждет в сии часы беспечны,
Чтоб превратился милый сон
В сон гроба и дремоты вечны
И чтоб не видел утра он?

Смотри, какой призрак крылатый
Толь быстро ниц, как мысль, летит
Или как с тверди луч зубчатый,
Крутяся в крутояр, шумит?
На крылиях его звенящих
В подобии кимвальных струн
Лежит устав судеб грозящих
И с ним засвеченный перун.

То ангел смерти — ангел грозный;
Он медлит — отвращает зрак,
Но тайны рока непреложны;
Цель метких молний кроет мрак;
Он паки взор свой отвращает
И совершает страшный долг...
Смотри, над кем перун сверкает?
Чей проникает мраки вздох?

Варяг, проснись! — теперь час лютый;
Ты спишь, а там... протяжный звон;
Не внемлешь ли в сии минуты
Ты колокола смертный стон?
Как здесь он воздух раздирает?
И ты не ведаешь сего!
Еще, еще он ударяет;
Проснешься ли? — Ах! нет его...

Его, кому в недавны леты
Вручило небо жребий твой,
И долю дольней полпланеты,
И миллионов жизнь, покой, —
Его уж нет; и смерть, толкаясь
То в терем, то в шалаш простой,
Хватает жертву, улыбаясь,
Железную своей рукой.

Таков, вселенна, век твой новый,
Несущий тайностей фиал!
Лишь век седой, умереть готовый,
В последни прошумел, упал
И лег с другими в ряд веками —
Он вдруг фиалом возгремел
И, скрипнув медными осями,
В тьму будущего полетел.

Миры горящи покатались
В гармоньи новой по зыбям;
Тут их влиянья ощутились;
Тут горы, высясь к облакам,
И односторонние пылинки,

Носимые в лучах дневных,
С одной внезапностью судьбины,
Дрогнувши, исчезают вмиг.

Се власть веков неодолимых,
Что кроют радугу иль гром!
Одни падут из тварей зримых,
Другие восстают потом.
Тогда и он с последним стоном,
В *Авзоньи*, в *Альпах* возгремев
И зиждя гром над *Албионом*,
Уснул, — уснул и грома гнев.

Так шар *в украине* с тьмою ночи
Топленой меди сыпля свет,
Выходит из-за дальней рощи
И, мнится, холм и дол сожжет;
Но дальних гор он не касаясь,
Летит, шумит, кипит в зыбях,
В дожде огнистом рассыпаясь,
Вдруг с треском гибнет в облаках.

Ах! нет его, — он познавает
В полудни ранний запад свой;
Звезду *Полярну* забывает
И закрывает взор земной.
Прости! — он рек из гроба, мнится, —
Прости, земля! — приспел конец! —
Я зрю, трон вышний тамо рдится!..
Зовет, зовет меня творец!..

К ПРАХУ РОССИЙСКОГО ГАННИБАЛА

Вот персть бессмертного в героях,
Пред кем, как серна, смерть шла в бóях,
За кем, как тень, шла слава вслед,
Родясь, мнится, с ним на свет!
Поправши *Альпов* страх громовый,
Он лег на отдых — в сноп лавровый.
И ангел чуть дерзал дохнуть,
Бессмертие его тронуть;
Тронул — час звукнул боевый!
И Ганнибала нет, увы!

При колыбели — слава трепетала,
Чтоб ране в дни его не онеметь
Или чтоб ране с ним не умереть;
При гробе же его — торжествовала,
Что в вечность купно с ним уже пойдет
И с *Росским Ганнибалом* — не умрет.

1800

ПОЛНОЩЬ

Открылось царство тьмы над дремлющей
вселенной,
Туман, что в море спал, луною осребренный,
Подъемлетя над сей ужасной глубиной
Иль пресмыкается над рощею густой,
Где тени прячутся и дремлют меж листьями,
Как разливается он всюду над полями!
О мрачна ночь! отколь начало ты влечешь?
От коего отца иль матери течешь?
Не ты ль, седая дочь тьмы оной первобытной,
Котора некогда взошла над бездной скрытной
Лелеить нежныя природы колыбель?
Так, черновласая Хаоса древня дочь,
Ты успши дня труды покоишь и теперь,
Ты дремлющий полкруг под тению качаешь,
Увы! ты также взор умершего смыкаешь.

О ночь! Лишь погрузишь в пучину мрака твердь,
Трепещет грудь моя — в тебе, мечтаю, смерть,
Там зрю узлы червей, где кудри завивались,
Там зрю в ланитах желчь, где розы усмехались.

Се в час полунощи грядет
Жених, одян в страшный свет!
Блажен тот раб, его же срящет
Готового в небесный брак;
Несчастен же, кого обрящет
Поверженна в унылый мрак!
Блюди, душе моя смущенна,
Да сном не будешь отягченна
И вечной смерти осужденна,
Но, воспряну́в от сна, гласи:
О трисвяты́й! воззри! спаси!

Еще ль, душа, в мечтах несвязных погруженна,
Еще ли в узах спишь стозвенных задушенна?
Встань! возжги елей и созерцай чертог,
Где ждет тебя жених, твой судия, твой бог!

О ты, надейся на будущи години,
Забывый строгое условие судьбины,
Сын неги, ищущий бессмертья в днях своих!
Вострепещи, когда познает сей жених,
Что масло во твоём скудельнике скудеет
И огонь живой небес внутри тебя мертвеет!
Ты буйствен, ты не мудр — проснись! ступай
со мной!

Открою, где чертог премудрость зиждет свой —
На мшистых сих гробах, где мир небесный веет!
Ступай! учись! гроза прешла, — луна багреет...

Г. И. КАМЕЧЕВ

Гаврила Петрович Каменев (1772—1803) родился в Казани, в богатой купеческой семье. Образование он получил в закрытом немецком пансионе Вольфинга. Литературные склонности Г. Каменева проявились рано. Еще в пансионе он, вероятно, ознакомился с немецкой предромантической литературой. В 90-е годы XVIII века Г. Каменев сблизился с С. А. Москотельниковым и вошел в руководимый последним дружеский литературный кружок. В 1799 году Каменев посетил Москву и завязал связи с ведущими литературными деятелями. Несколько позже он вступил в петербургское «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». К этому времени здоровье Каменева было уже подорвано, и вскоре он скончался.

В печати Г. Каменев выступил впервые в 1796 году, опубликовав ряд стихотворений в журнале «Муза». После поездки в Москву он напечатал ряд сочинений и переводов в журнале «Иппокрена». В 1802 году Каменев издал в Москве несколько переводов и завязал

связь с журналом «Новости русской литературы». Большинство сохранившихся стихотворений Каменева было опубликовано уже после его смерти.

Основное издание сочинений
Г. П. Каменева:

«Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». «Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1935.

КЛАДБИЩЕ

Птица ночная жалобным криком
Душу смущает, трогает сердце,
В робость приводит, мятет.

С свистом унылым быстро с могилы,
Мохом обросшей, любит спускаться
К куче согнивших костей.

Слух мой полету мрачной сей птицы
Вслед с ней стремится. Что ж я тут слышу?
Томный и тихий лишь стук.

Дух мой объемлет трепет и ужас!
Знатностью прежде, гордостью полна
С кучи катилась глава.

Где твоя пышность, дерзкий невежда?
Где твоя знатность? — Нет ее больше!
Слаб и порочен сей свет!

Страшная птица тотчас спустилась.
С кучи на камень, гордость где прежде
Твердо являла свой вид.

Гордость исчезла, — время сожрало
Надпись златую, знатные титла,
Камень остался один.

Высокомерный! зри те гробницы,
Сколь они пышны! — Верно, со треском
Скоро исчезнут, падут.

Честью и славой ныне украшен,
Скоро лишишься титл и богатства;
Так же ты точно падешь!

Счастлив стократно бедный, но честный.
В жизни он терпит; в смерти получит
Вечности счастье всё.

* * *

Вечер любезный! вечер багряный
В влажном наряде сизой росы!
Друг твой несчастный сердцем тоскует,
В тихой долине слезы лишь льет.
В тихой долине пусто, безмолвно!
Друг твой при речке там быстрой сидит.
Мысли он только к ней устремляет,
К деве любезной здешней страны.
Дева прелестна! где ты, где ныне?
Где воздух тонкий питает тебя?
Где ты, где зыблешь грудь лебедину?
Где изливаешь пламень очей?
Грудь твоя лучше розы цветущей,
К солнцу раскрывшей свежи листы!
Алые губы прелестны и милы!
Руки белее в поле лилей!
Где Эдальвина? где ты, где ныне?
Кто твоих видит прелесть ланит?
Кроткий румянец! нежным оттенком
Мило играешь в них для кого?

О Эдальвина! в горькой печали
Жизнь я несчастну здесь проведу!
Будьте во мраке вечно сокрыты,
Слезные вздохи песни ночной.

Бури свирепством роза погибла!
Нежно, душисто на стебле цвела.
Алые листья лишь распустила,
Буря свирепством сгубила ее.
Грозд винограда! милый, багряный!
Сорван ты жадной и хищной рукой!
Рано ты сорван с гибкого древа!
Сок твой любезный во прахе погиб!
Роза! почто ты рано завяла?
Грозд виноградный! почто не дозрел?
Девы, рыдайте! слезно, печально,
Юноши, плачьте, тоскуйте о том.
О Эдальвина! в тихом ты гробе,
Тихо, покойно, безмолвно лежишь;
Ветр на могиле воеет уныло,
Скоро снег зимний засыплет ее.
Горькой ты смерти юна невеста!
Брачные песни замолкли навек!
Страшен жених твой, страшен и бледен,
Хладно и пусто на брачном одре.
Нежной красою всех была лучше,
Юная дева, ты в жизни своей.
Грудь твоя ныне низко опала,
Очи померкли и мертвы уста.
О Эдальвина!.. здесь на могиле,
Густо обросшей травкою, сажу.

Ветер холодный мрачные ночи
Роется бурно в моих волосах.
О Эдальвина!.. в горести лютой
Всю здесь проплачу унылую жизнь!
Бледен, как солнце в осень печальну,
Тих и безмолвен, как темный твой гроб.

**НА НОВЫЙ, 1802-й ГОД
К ДРУЗЬЯМ**

Едва спеша вослед звездам,
Царь дня румяные смирил востока волны
И сыпал миллионы
Алмазов по снегам,
Как на луге сребросапфирном,
В ковчеге благодати держа дары судьбин,
Вторый столетья сын
С челом скатился мирным.
Предстал — надежд, желаний сонм
Во сретенье ему, как легкий пар, толпится,
И всякий суетится
О счастья своем.
Одни хотят чинов для чванства,
Другие ордена, титулов и честей
Для роскошных затей,
Любовницы, богатства.
А я без прихотей искусств
К любимцу времени иду с лицом смиренным,
Со взором, орошенным
Слезой душевных чувств;
Прошу — да круг друзей мне милый
Из чаши радостей нектар блаженства пьет,
Надежды кроткой свет

ГРОМВАЛ

Мысленным взором я быстро стремлюсь,
Быстро проникнул сквозь мрачность времен.
Поднимаю завесу седой старины —
И Громвала я вижу на бодром коне.

Зыблются перья на шлеме его,
Стрелы стальные в колчане звучат;
Он по чистому полю несется как вихрь,
В вороненых доспехах с булатным копьём.

Солнце склонялось к кремнистым горам,
Вечер спускался с воздушных высот.
Богатырь приезжает в глухие леса,
Сквозь вершины их видит лишь небо одно.

Буря, облекшись в угрюмую ночь,
Мчится с заката на черных крылах;
Заревела пучина, дуброва шумит,
И столетние дубы скрипят и трещат.

Негде укрыться от бури, дождя,
Нет ни пещеры, не видно жилья,
Лишь во мраке сгущенном сквозь ветви дерев
То блеснет, то померкнет вдали огонек.

В сердце с надеждой, с отвагой в душе,
Ехавши тихо сквозь лес на огонь,
Богатырь приезжает на берег ручья,
Древний замок он видит вблизи пред собой.

Синее пламя из замка блестит,
Свет отражая в струистом ручье,
Тени в окнах мелькают и взад и вперед,
Завывания, стоны в нем глухо звучат.

Витязь, сошедши поспешно с коня,
Идет к воротам, заросшим травой,
Ударяет в них сильно булатным копьем,
Но на стук отвечают лишь гулы в лесу.

Вмиг потухает внутрь замка огонь,
Свет умирает в объятиях тьмы,
Завывания, стоны утихли, молчат,
Усугубилась буря, удвоился дождь.

Сильным ударом могучей руки
Рушится твердость старинных ворот,
Отлетели запоры, скрипят верей,
И во внутренность входит бесстрашный
Громвал.

Меч обнаживши, готовый разить,
Ощупью тихо он замком идет.
Тишина распростерта, и мрачность везде,
Лишь сквозь окна и щели вихрь бурный
свистит.

Витязь в досаде и в грусти вскричал:
«Хищный волшебник, коварный Зломар!
Ты Громвала принудил скитаться как тень,
Ты похитил Рогнеду, столь милую мне!!

Многие царства и земли прошел,
Рыцарей сильных, чудовищ побил,
Великанов сразил я могучей рукой,
Но Рогнеды любезной еще не нашел!

Где обитаешь ты, лютый Зломар?
В делях ли диких, в пещерах, в лесах;
В подземельях ли мрачных, в пучине морской
Укрываешь ее ты от взоров моих?

Если найду я жилище твое,
Злобный волшебник, лихой чародей!
Извлеку из неволи Рогнеду мою,
Вырву черное сердце из груди твоей».

Витязь, умолкнув, почувствовал сон,
Одр ему стелют усталость и ночь.
Не снимая доспехов, в броне, в шишаке,
Прикорнув, засыпает глубоким он сном.

Тучи промчались, Борей замолчал,
Звезды потухли, сереет Восток,
Поборают свет мрака, Зимцерла сквозь флер
Заалелась как роза. — Громвал еще спит.

Катится солнце по своду небес,
Блещет с полудня каленым лучом,

И по соснам слезится смола сквозь кору,
Но Громвала всё держит в объятиях сон.

Ночи предтеча с смуглым челом
Смотрит с Востока на лес, на луга,
Усыпает из урны росой мураву;
Но Громвала всё держит в объятиях сон.

Ночь с кипарисным венком на главе,
В ризах, сотканных из мрака и звезд,
По ступеням, нахмурясь, на трон свой идет,
А Громвала всё держит в объятиях сон.

Тучи сомкнулись на своде небес,
Мрачность густеет, настала полночь;
Богатырь, воспрянувши от крепкого сна,
Изумился, не видя румяной зари.

Вдруг затрещало по замку, как гром,
Стены трясутся, окошки звенят,
И, как молния быстро блистает во тьме,
Освещается зала вмиг синим огнем.

Настежь все двери стучат отворясь.
В саванах белых, с свечами в руках,
Входят медленно тени; за ними несут
Гроб железный скелеты в руках костяных.

Залы в середине поставили гроб,
Крышка слетела мгновенно с него,
И волшебник Зломар, синевато-багров,
Бездыханен лежал в нем, открывши глаза.

Пол расступился, зеленый огонь
С вихрем трескучим оттоле летит,
Охватив гроб железный, как жар раскалил,
Застонал стоном тяжким геенны Зломар.

В дикоблудящих кровавых глазах
Ужас трепещет, отчаянье, скорбь;
Изо рта пена черная клубом кипит,
Но лежит неподвижно, как труп, чародей.

Духи, скелеты, руками схватясь,
Гаркают, воют, рыкают, свистят,
В иступленном восторге беснуясь, они
Пляшут адскую пляску вокруг гроба его.

В страшных забавах проходит полночь,
Вопль их, клики громчае звучат.
Но лишь утра предвестник три раз пропел —
Исчезают вмиг духи, скелеты и гроб.

Тьма, как в могиле, с глухой тишиной
Завес печальный спустила опять;
Удивляется чуду смущенный Громвал,
Изумившись, не верит себе самому.

Нежные тоны свирелей и струн
Эхо сквозь мраки на крыльях несет.
Растворился свод залы, и розовый луч
Разогнал тихим светом сгущенную ночь.

В облаке легком душистых паров,
Где волновался жемчужный отлив,

Как по воздуху пух лебединый плывет,
Опускается плавно волшебница в зал.

Чище лилеи одежда ее,
Пояс по чреслам — как яхонт небес;
Как игра златояркой восточной звезды,
Добродетель сияет у ней во очах.

Голосом стройным Добрада рекла:
«Рыцарь печальный, покорствуй судьбе,
Нет Зломара на свете, смерть острой косою
В Тартар душу низвергла злодея сего.

Зевом несатым в кипящую хлябь
Челюсть геенны его пожрала,
С клочкотанием лавы и с ревом огня
Вой и стон его бездна лишь будет внимать.

Смерть, преступивши природы закон,
Чувств не лишила волшебника труп,
Развращенных им тени погибших людей
Каждоночно здесь в замке терзают его.

Рыцарь, спеши ты к Рогнеде своей;
К югу за лесом, в песчаных степях,
Там Зломарова замка в темнице стальной
Два крылатых Зиланта¹ ее стерегут.

¹ Зилантом называли в старину змея, жившего, по баснословному преданию, в пещере одной горы, возвышающейся над Казанкою. И поднесь монастырь, тамо построенный, именуется Зилантовым. А в гербе Казани видно его изображение.

Рог сей волшебный прими от меня,
Грозную челюсть чудовищ сомкнуть,
Но внимай: ты не можешь Рогнеды спасти,
Не пролив ее крови: судьбы так велят».

Струны, свирели вторично звучат,
Облако кверху с Добрадой летит.
Пораженный сей речью, Громвал вне себя,
Истукану подобен, вслед смотрит за ней.

Рог изумрудный державши в руке,
С горькой досадой вскричал богатырь:
«Вероломной волшебницы пагубный дар,
Ты убийством Рогнеды мне счастье сулишь».

Нет! трепещу я от мысли одной, —
Сердце из груди ей в жертву летит.
Но, Громвал, повинуйся глаголу судьбы,
Чародейство Зломара спешి истребить.

Если не можешь Рогнеду спасти,
Замок разрушить, Зилантов сразить,
Богатырскую кровь ты пролей за нее
И геройскою смертью любовь увенчай».

Красное утро янтарным лучом
Сосен столетних верхи золотит;
Обращая на полдень коня своего,
Оставляет наш витязь и замок, и лес.

Дебри, вертепы, стремнины, хребты
Стонут от тяжких ударов копыт,

Пыль густая, как туча, крутившись столбом,
По поднёбесью вьется, где скачет Громвал.

Мрачным ущельем скалистой горы
Выехал рыцарь в обширную степь;
Открывается взорам песка океан,
И вдали будто с небом сливается он.

Ветр не волнует сыпучую зыбь,
Дышит тлетворным дыханием зной;
Ни кусты не шумят, ни журчат ручейки,
Как в полночь на кладбище, всё ноет, молчит.

В дикой пустыне, в сих страшных полях
Нет ни дороги, не видно следов,
Лишь к Востоку приметна крутая гора,
И на ней крепкий замок чернеет вдали.

С жаждой и зноем сражаясь три дни,
Смерти препоны расторг богатырь.
На коне утомленном, в кровавом поту,
Подъезжает он тихо к подошве горы.

В скользких стремнинах навислых камней,
Страшно грозящих низринуться в дол,
Обрываясь над бездной по узкой тропе,
Достигает вершины и замка Громвал.

Силой геенны и адских духóв
Мрачный сей замок построил Зломар.
Взгроможденные башни из черных камней
Предвешают погибель и лютую смерть.

В сердце с Рогнедой, с геройством в душе,
Буре свирепой подобный Громвал
Сокрушает чугунных ворот вереи,
В замок крови вступает с булатным мечом.

Грозно идет он, — под крепкой пятой
Мертвые кости, черепья хрустят,
Враны, птицы ночные и нетопыри
Пробуждаются в мшистых расселинах стен.

Облаком вьются над замком они,
Воздух колеблет ужасный их крик;
И Зиланты, услышав Громвалов приход,
Испускают вой, свисты и крыльями бьют.

Челюсть разинув, летят на него,
Копьями жалы торчат из пастей,
Чешуею брячат, извивая хвосты,
Выпускают мертвящие когти из лап.

В рог изумрудный трубит богатырь,
Звук оглушил их, — как камни падут,
Подсекаются крылья из кожи и жил,
Погрузившись в сон смертный, горами лежат.

Рыцарь в восторге к темнице летит
С пламенным сердцем Рогнеду обнять;
Но огромная дверь растворяется вдруг,
И навстречу выходит в броне Исполин.

Грозные взгляды — кометы во тьме,
Медь на нем — панцирь, свинец — булава,

Серый мох по болоту — брада у него,
Черный лес после бури — волосы на челе.

С силой ужасной взмахнув булаву,
С свистом в Громвала пустил Исполин;
Поражает его по буйной голове,
Содрогается эхо, по замку звуча.

Шлем, зазвеневши, дробится в куски,
Сыплются искры из темных очей,
Булава от удара согнулась дугой,
Но не двинулся с места Громвал, как скала;

Меч в богатырской руке заблистал,
Бурным перуном злодея разит.
Разлетелась бы в части и вдребезги медь,
Но скользит лезвие по волшебной броне.

В бешенстве лютым ревет великан,
Адом зияет, от злости дрожа,
Напрягает он мышцы укладистых плеч,
Угрожает Громвала в руках задушить.

Смерть неизбежна, погибель близка,
Страшные длани касаются лат;
Но Громвал, ухватя его ногу, как дуб,
Потряхнувши, поверг, опрокинул его.

Башне подобно громыхнул Гигант,
Звуком ужасным весь замок потряс,
Расседаются стены, валятся зубцы.
Он, упавши, в сырой земле яму вдавил.

Взявши за горло могучей рукой,
Меч ему в челюсть вонзает Громвал,
По булату зубами скрипит великан,
Зарыка́л, застонал он, подобно волу.

Желтая пена, багровая кровь
Хлещет, клубится из синего рта,
Стервенея от боли, со смертью борясь,
Роет землю ногами, трепещет, хрипит.

Вместе сливаясь журчащей струей,
Пучится, бродит гигантова кровь,
Облачком поднявшийсь, легкий пар от нее
Образует Рогнеды прекрасной черты.

Розы в ланитах, любезность в очах,
Алые губы манят поцелуй;
По плечам, отливаясь как бархат, волосы
Осеняют ее лебединую грудь.

Чуду такому дивится Громвал,
Призрак ли это или существо?
Приближаясь с надеждой и с робостью
к ней,
Не мечту, но Рогнеду он к персям прижал.

Радости пламень, перун быстротой,
Томную душу героя проник,
Восхищенное сердце под крепкой броней
Потрясает дебелую рыцаря грудь.

В страстном восторге целуя ее,
Голосом кротким Громвал говорит:

«Долго, долго тебя я, Рогнеда, искал
И по белому свету скитался, как тень».

Тяжко вздохнувши, вещает она:
«Лютый волшебник, коварный Зломар,
Раздраженный презренною страстью своей,
В чародейский сей замок меня перенес.

Здесь, прикоснувшись волшебным жезлом,
Памяти, чувства меня он лишил;
Погрузившись мгновенно в таинственный сон,
Я с тех пор в бездне мрака сокрыта была».

За руку взявши Рогнеду, Громвал
Тихо спустился к подошве горы,
Посадивши ее на коня за собой,
По дороге обратно стрелой полетел.

Замок объемлет глубокая тьма,
Громы во мраке свирепо звучат,
Аквилоны завыли, сорвавшись с цепей,
Затрещало кремнистое недро горы.

С ревом ужасным разверзлась земля,
Рухнули башни в бездонную пасть,
Ниспроверглись Зиланты, темница, Гигант,
Чародейство Зломара разрушил Громвал.

СОН

Рдяное солнце в облаке мрачном
Скоро сокрылось от глаз;
Всё приумолкло, всё приуныло,
Дремлют леса.

Ночь в колеснице, черной, печальной,
Тихо с Востока летит;
Влажные тени стелет на землю,
Тускнет река.

Скуки унылой тяжкое бремя
Душу мою тяготит;
Скорби жестоки, горести чует
Сердце мое.

Сердце тоскует, слезы лиются
Градом из томных очей!
Всё будто кажет, всё предвещает
Близку мне смерть.

В хижину мирну, к милой подруге
С смутной душою спешу,
В недрах покоя — кроткой дремоты
Горе забыть.

В длинной одежде, бледен, печален,
Перст приложивши к губам,
Сон опускает черную ризу
Мне на глаза.

С духом смущенным я засыпаю:
Сердце хладеет во мне.
Мрачные виды взору открылись:
Ужас и страх!

В пасмурный вечер, с трепетом в чувствах,
Я на кладбище сажу;
Камни надгробны, смерти жилища,
Окрест меня.

Заревным цветом небо покрыто,
Смотрит кровавым лицом;
В рдяном пространстве око не видит
Звезд и луны.

В воздухе душном всё увядает,
Блекнет, на что ни взгляну;
Древние сосны зноем томятся,
Ноют — молчат.

Воздух, сгущенный паром зловонным,
Грудь мою тяжело теснит;
В лютом мученьи чувствую близко
Горькую смерть.

Камни надгробны вдруг потряслися,
Скорбный услышал я вздох;

Глухо и томно он отозвался
В сердце моем.

В робости, в страхе, мог ли заметить,
Вздых сей отколь произошел?
Вижу: открылась хладна могила
Близко меня.

Вижу: выходит медленным шагом
Страшный мертвец из нее —
В гробной одежде, в саване белом
Мне предстает.

Я ужаснулся, волосы дыбом
Встали над бледным челом.
Тень, подождавши, гласом могильным
Мне прорекла:

«Вздых этот тяжкий, чадо печали,
В слух твой проник из земли.
Стонет природа, тленью предавшись:
Се твой удел!

Скоро и ты здесь, в недрах безмолвных
Матери нашей земли,
Скоро здесь будешь, в тесной могиле,
С нами лежать».

ВЕЧЕР 14 ИЮНЯ 1801 ГОДА

Вчера с друзьями я ходил
В тени сосновой темной рощи,
Прохладной ожидая ночи,
Там с ними время проводил.
Природа сумраком оделась —
Угрюмо на закате рделась
Тускло-червленная заря.

Туман спустился на луга,
Зефир заснул, древа молчали,
Нахмурилась, небо покрывали
Черно-густые облака,
Луна из-за горы лесистой
Явила нам сквозь воздух мгlistый
Бледно-багровое чело.

Явила — и печальный свет
По роще тихой разливался,
В тоску и мрачность облекался,
Казалось, каждый там предмет.
Уныние в признаках черных
На нас, безмолвных, утомленных,
Простерло свой свинцовый жезл.

Отрада удалилась прочь:
Мое тут сердце приуныло,
Забивши тише, говорило:
«В твоей душе темно, как ночь!
Надежды тусклый луч затмился,
Оставлен всем, всего лишился,
И цель твоя — одна лишь смерть».

В глазах, где жизни огонь погас,
Слезу мне горесть наворачула;
При сумраке она блеснула
Печально в сей прискорбный час.
«Друзья! — сказал я, — я несчастен,
Мой жребий беден и ужасен,
Страданье — жизнь, темница — свет.

На всё гляжу сквозь черный флер,
Нигде, ни в чем красот не вижу,
В веселых кликах стоны слышу,
При солнце мрачность кроет взор.
Вино мне в яд преобразилось, —
Восторгов сердце тех лишилось,
Что чувства нежат и томят.

Я вздохом начинаю день,
Смущенны взоры вокруг вращаю,
Ищу отрад — тоску встречаю.
Печаль следит за мной, как тень.
Исчезла радость, наслажденье,
Прошли забавы и мученье,
Рукой железной сердце жмет.

Влачится в скуке жизнь моя,
Лишась подруги кроткой, милой,
В сей жизни горестной, унылой
Томятся сердце и душа.
Но скоро я глаза закрою
И смерти хладною косою
В могилу темную сойду.

Тогда, как солнце, скрывшись в понт,
Оставит в тучах свод лазурный;
Померкнет свет серебристый, лунный.
Туман задернет горизонт,
Как ночь разверзет мрачны недры
И заревут, завоюют ветры,
Друзья! придите вы сюда.

Придите! древних сосн в тених
Надгробный камень там белеет,
Под ним — ваш друг несчастный тлеет,
Слезой его почтите прах.
Почувствуйте в душе унылой,
Как над безмолвною могилой,
Во мраке ночи воеет ветр».

1803(?)

И. И. СУМАРКОВ

Панкратий Платонович Сумароков (1765—1814) происходил из культурной и обеспеченной дворянской семьи. Он приходился родственником известному поэту XVIII века А. П. Сумарокову и, получив хорошее домашнее образование, рано оказался причастным литературным интересам. Опрометчивый поступок, истолкованный как попытка подделать ассигнацию, привел к трагическим событиям, круто нарушившим мирное течение его жизни. Девятнадцатилетний П. Сумароков был отдан под суд, лишен дворянства и сослан в Сибирь навечно. Пятнадцать лет (1786—1801) он находился в Тобольске. Здесь развернулась его литературная деятельность, начавшаяся еще до ссылки. Примкнув к группе радикально настроенных литераторов, П. Сумароков выступил как один из инициаторов издания первого в Сибири журнала — «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (1789—1790). В 1793—1794 годах он издавал «Библиотеку ученую, экономическую, правоучительную, историческую и увеселительную». Есть не поддающееся пока проверке предположение о том, что в 1790 году в Тобольске существовала связь

между П. Сумароковым и сосланным в Сибирь Радищевым. П. Сумароков сотрудничал в столичных изданиях, присылая стихи в «Приятное и полезное препровождение времени». Некоторые его стихи попали в издание «Аониды, или Собрание новых стихотворений». После смерти Павла I Сумароков получил возможность возвратиться в столицу. В начале XIX века он пробовал выступить в качестве редактора журнала («Журнал приятного, любопытного и забавного чтения», 1802; «Вестник Европы», 1804), однако вынужден был оставить эти попытки. Выпустил с коммерческой целью ряд хозяйственных руководств.

Основные издания сочинений
П. П. Сумарокова:

Сочинения и переводы П. Сумарокова. М., 1807.

Стихотворения П. Сумарокова. СПб., 1832.

Услышь же мой к тебе охрипый с стужи глас,
Пожалуй, сделай одолженье!
Просунь сквозь снежных туч
Хотя один свой луч
И мерзлое мое расярь воображенье.
Теперь, читатели, прошу мне сделать честь,
Прочеть,
Что об Эроте вам желаю я донести.

Оставя некогда небесные чертоги,
Задумали сойти на землю древни боги;
Омир-покойник был тогда еще в живых,
И он-то позвал их.

Зачем, вы спросите, — не знаю:
Откушать, может быть, или на чашку чаю;
Известно, что он был им закадычный друг:
Едал амброзию, тянул и нектар с ними;
Со спящих же богинь обмахивал он мух
И часто забавлял их сказками своими.
Но полно вам скучать подробностями сими.
Теперь поедем мы на час в небесный дом:
Мне хочется, чтоб вы со мною прокатились
И посмотрели б там, как боги в путь пустились.
Они отправились в порядке вот каком:
Зевес сел на орла с Юноною верхом,
На всякий случай взяв с собой в дорогу гром;
Потом за прочими начальными богами
Вулкан шел с молотом и с длинными рогами,
Которы приобрел своею он виной,
Ревниво поступав с женой.

Позвольте на часок мне здесь остановиться,
Хочу с ревнивыми немногo побраниться.

Послушайте, друзья,
Ревнивые мужья!
Советую вам я
Не слишком строгости к супругам предаваться,
Когда не любите бодаться.
Не стройте из домов своих монастырей,
Не запирайте жен, как стариц иль зверей;
А то, когда на час явится им свобода,
Тогда-то госпожа Природа
Свое возьмет,
И то, над чем с трудом вы много лет корпели,
В минуту пропадет;
А вы навек с рогами сели.
Совет полезный давши вам,
Я обращаю к богам.
Зефиры собрались на пир туда же с ними,
Так и начнем мы ими.
Надмеру нежные и малые божки,
Дабы не простудили ножки,
Обулись в теплые сапожки
И, чтоб от ветру им сберечь свои ушки,
Надели лисьи треушки,
И сели в дрожки,
В которых бабочек впряжен был целый цуг;
А на запятках вместо слуг
Стояла пара шпанских мух;
Да сверх того еще божков конвоевали
Шестнадцать бойких комаров,
Носами острыми и лиском погоняли
Крылатых, легких скакунов.
Но чья везется колесница
Четверкой сизых голубей?

Конечно, то любви царица
Желает прокатиться в ней?
Так точно. Вот она садится;
За нею вслед, резвясь, толпится
Рой целый Смехов, Игр, Амуров и Утех.
Но как их посадить с собой богине всех?
Нельзя; однако ж с ней иные заломались,
Другие в ноги побросались,
Иные, не успевши сесть,
Цепочкой свившись, за нею полетели,
Бросали к ней цветы и песни пели
Богине в честь;
Иные втерлись к ней за спинку,
Иные скрылись в волосах,
Иные в ямках на щеках,
Иные впутались в косынку,
Иные... Но оставим их;
Давно пора мне догадаться,
Что я болтать отменно лих;
Но впредь не буду я так много завираться
И в двух скажу стихах
О прочих всех богах:
Они туда ж помчались,
Иной на радуге верхом,
Иной на облаке, иной пошел пешком;
А дома лишь Эрот с Дурачеством остались,
Один затем, что мал, другой затем, что глуп.
Но что же делать им, оставшись на просторе?
Молчать? Эроту горе;
Калякать о любви? — Его товарищ туп:
Не знает и начал прекрасной сей науки.
Наскучив наконец сидеть, поджавши руки,

Эрот сказал ему вот так: «Дурак!
Теперь оди с тобой мы дома,
Так станем как-нибудь играть,
Хоть в жмурки, ведь игра тебе сия знакома, —
Всё лучше, нежели от скуки нам зевать».
— «Ох нет! — в ответ сказал глупец Эроту, —
Давно я потерял к играм таким охоту;

А дай мне свой колчан на час,
Хочу я испытать один хоть в жизни раз,
Умею ль действовать и я, как ты, стрелами;
Я сам тебе за то, голубчик, заплачу,
Пузырики пускать тебя я научу:
Клянуся в том тебе и Стиксом, и богами».
Эрот было сперва и слушать не хотел;
Но сладить с дураком, скажите, кто б умел?
И так он наконец был должен согласиться:
Дурачество ж к нему умело подлеститься,
Дав опыт, пузыри из мыла как пускать.
Эроту новость та чрезмерно понравилась,
Товарищ же его взял лук и стал стрелять;

Но вот беда какая вдруг случилась:
Дурачество, разинув рот,
В безмерной радости не видя, где Эрот,
Стрельнуло изо всей своей дурацкой мочи
И вышибло ребенку очи!

Какой нелепый поднял вой
Лишенный зрения крылатый мой герой!
Искусный же стрелок, от страха и печали
Разинувши свой зев,

Такой пустил ужасный рев,
Как будто бы с него живого кожу драли.
Выть его оттоль повсюду разнеслось,

Всё зданье от того небесное тряслось.
Но бросим мы на час сих двух глупцов
несчастных

И съездим в тленный мир.
Я чаю, кончился уже давно тот пир,
Который жителям небес давал Омир.
На лицах их, от спирта красных,
Сверкают радости следы.
Не ведая совсем ужасной той беды,
Которая без них на небесах стряслася,
Толпа божественна всяюся поднялася,
С хозяином простясь
И точно так же, как и прежде, поместясь.

Какая сделалась тревога,
Как мать слепого бога

Демой пришла!

Ах! что она нашла!

Богиня видит токи крови,

Зрит сына своего:

Прелестные ж глаза где были у него,
Там только ямочки остались да брови.
Тогда-то скорбь ее все меры превзошла:
Какое зрелище для матери столь нежной!
На место роз вступил в лице ее цвет

снежный,

Затмился ее небесные красы;
Терзает в горести она свои власы;
Колени слабые едва ее держали,
И если бы когда богини умирали,
То этой, верно б, умереть;
Но боги ведь не мы, так как же быть?

— Терпеть.

Но можно ль перенести столь бедствие
несносно?

Богине же не мстить и горько, и поносно:
Горя отмщением, вдруг силу ощутив
И взор с влачевого предмета совратив,
На крыльях бешенства летит она в чертоги,
Где был Зевес и прочи боги.

Киприда в ярости, в отчаяньи, в слезах,
Вбежав растрепана, во всех вселяет страх,
Бросается Зевесу в ноги.

И, вздохи тяжкие пуская без числа,
О бедствии своем, рыдая, донесла.
Зевес, услыша то, столь сильно огорчился,
Что чуть с престола не свалился.

О, лютая напасть!

Отец богов, разинув пасть,
Ревет быком и стонет,
Богов с Олимпа гонит;

Потом с отчаянья он на стену полез.
Не столько в бурный ветр шумит дремучий лес,
Не столько турок зол, соделавшись с рогами,
Как злился наш Зевес, кричал, стучал ногами,
Сбираясь пересечь богов всех батогами.

Он рвет

И мечет,

Попавшихся ему дерет,
Как перепелок кречет;

Шумит,

Гремит,

Своей заморской ищет трости
И хочет изломать Дурачеству все кости.
Уставши наконец, Зевес потише стал

И драться перестал;
Но вот что бедному Дурачеству сказал:
 «Скотина!
За то, что ослепил Кипридина ты сына,
 Который мой любимый внук,
Достоин ты ребром псвешен быть на крюк;
 Но я свой гнев смягчаю
И вот какую казнь тебе определяю:
С сего часа́ всегда с Эротом ты ходи;
Куда б он ни пошел, везде его води.
Вот что навеки я тебе повелеваю!»
Потом пощечины две-три ему вlepил
 Да тем и заключил.
С тех пор Дурачество всегда с Амуром ходит.
Но это бы еще не важная беда,
А вот лишь плохо что: Дурачество всегда,
Когда стреляет он, его руками водит;
 Какой же может быть тут лад?
Безмозгло божество стреляет невпопад;
Удар любви с тех пор нам в голову приходит
 Почти всегда
 И очень метко;
А в сердце никогда,
 Иль очень редко.

НОВИЗНА

В страну, дурачество в которой обитает,
Зашла однажды Новизна;
Народ навстречу ей бежит и восклицает:
«О! как же хороша она!»
«Младая Новизна! останься жить ты с нами! —
Кричали дети суеты, —
Ты будешь действовать над нашими душа́ми
Сильней ума и красоты».
— «Согласна с вами я, друзья мои, остаться, —
Рекла богиня дуракам, —
Вы завтра ж можете со мною повидаться,
Коль так мила я стала вам».
Лишь только день настал, богиня нарядилась
Так точно, как была вчера;
Но первый, коему она лишь появилась,
Вскричал: «Ах! как она стара!»

<1791>

Иль, дав в Кавказ толчок ногами
И вихро-бурными крылами
Рассекши воздух, прилети.
Хвостом серебро-злато-махровым
Иль радужно-гнедо-багровым
Следы пурпурны замети.

Жемчужно-клюковно-пожарна
Выходит из-за гор заря;
Из кубка пламенно-янтарна
Брусничный морс льет на моря.
Смарагдо-бисерно светило,
Подняв огнем дышаще рыло
Из сольно-герько-синих вод,
Усоподобными лучами
Златит, как будто бы руками,
На полимент небесный свод.

Сквозь бело-черно-пестро-красных
Булано-мрачных облаков
Луна, стыдясь гостей столь ясных,
Не кажет им своих рогов
И, мертво-бело-снежным цветом
Покрывшись перед солнца светом,
На небе места не найдет.
Ветр юго-западно-восточный
Иль северо-студено-мочный
Ерошит гладкий вод хребет.

Октябро-непогодно-бурна,
Дико-густейша темнота,
Сурово-приторно сумбурна,

Сбродо-порывна глухота
Мерцает в скорбно-желтом слухе,
Рисует в томно-алом духе
Туманно-светлый небосклон.
В уныло-мутно-кротки воды
Глядятся черны хороводы
Пунцово-розовых ворон.

Но вдруг картина пременялась;
Услышал стои я голубка,
У Клары слезка покатилась
Из левого ее глазка;
Кати́лась по лицу, кати́лась,
На щечке в ямке поселилась,
Как будто в лужице вода.
Не так-то были в прежни веки
На слезы скупы человеки;
Но люди были ли тогда?

Коль девушке тогда случалось
В разлуке с милым другом быть,
То должно, дуре, ей казалось,
О том реками слезы лить.
Но в наши веки просвещенны
Как могут люди огорченны
Так слезы проливать рекой?
Ведь ныне слезы дорогие,
Сравнятся ль древние простые
С алмазной нынешней слезой?

Теперь посмотрим мы, как вьется
Голубушка над голубком;

А сердце бьется, жметя, рвется
И в грудь стучит, как мслотком.
Голубчик выпустил, зная, душу,
Нет жизни в нем ни на полушку,
Уж носик съежился его.
Овсянки, ласточки, синички,
Варакушки и прочи птички
Роняют слезки на него.

От этой жалостной картины,
Читатель, если ты не взвыл,
А от начальной пиндарщины
В восторг когда не приходил,
То сердца твоего тон низок,
Умом ты к готтентотам близок
И так, как лютый тигр, жесток.
Ты б должен на стену бросаться
Или в лоскутья истерзаться
От сих громко-прискорбных строк.

<1802>

БЛАЖЕНСТВА

Блажен, кому всегда печаль и скука чужды;
Блажен, кто не имел в родных ни разу нужды;
Блажен, кто не роптал вовеки на судьбу;
Блажен, равняющий с Расином К<ощебу>.
·Стократ блаженна та судебная палата,
Котора трезвыми лодьячими богата:
Блажен, кто не имел, однако ж, с ними дел.
Блажен, кто от стихов своих разбогател;
Блажен, кто верную любовницу имеет;
Блажен, кто Кантовы писанья понимает;
Блажен ревнивый муж, проживший без рогов;
Блажен, кто, дослужась до старших генералов,
Ни разу не видал ни пушек, ни врагов;
Блажен, кто не бывал издателем журналов;
Но тот блаженнее едва ль не всех святых,
Кто не читал поэм и драм, Клеон, твоих!

<1804>

А. Н. НАХИМОВ

Аким Николаевич Нахимов (1782—1814) — литератор, чья недолгая жизнь и поэтическая деятельность протекала в провинции. Уроженец Слободско-Украинской, то есть Харьковской, губернии (отец его был помещиком среднего достатка), он провел несколько лет своей молодости в Москве и Петербурге, с тем чтобы в начале XIX века навсегда вернуться на родину. С 1805 по 1808 год он учился в Харьковском университете, который окончил со степенью кандидата. В дальнейшем он жил на хуторе под Харьковом, периодически приезжая в университет для чтения лекций. Прочно связав свою судьбу с недавно организованным Харьковским университетом, Нахимов стал одним из выразителей настроений того культурного кружка, который возник в этом молодом центре просвещения. Организация университета вызвала прилив в Харьков ученых, в том числе и словесников, среди которых были люди высокой культуры, как, например, И. С. Рижский или сменивший его в 1812 году И. Е. Срезневский.

Нахимов — поэт-сатирик, прославившийся едкими нападкамии на чиновников. При жизни поэ-

та стихи его почти не печатались, но вошли в рукописные сборники.

Основные издания сочинений
А. Нахимова:

Сочинения Акима Нахимова в стихах и прозе, напечатанные по смерти его в Харькове 1815 года.

Сочинения Акима Нахимова в стихах и прозе, напечатанные по смерти его, изд. 3-е, дополненное. М., 1822.

«Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в.».
«Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1959.

ЭЛЕГИЯ

Восплачь канцелярист, повытчик, секретарь,
Надсмотрщик возрыдай и вся приказна тварь!
Ланиты в горести чернилами натрите
И в перси перьями друг друга поразите:
О, сколь вы за грехи наказаны судьбой!
Зрят тучу страшную палаты над собой,
Которой молния грозит вам просвещеньем,
И акциденций всех, и ябед истребленьем.
Как древо сокрушен, падет подъячих род;
Увы! настал для вас теперь плачевный год!
Какие времена! должны вы слушать курсы,
Судебные места все превратятся в бурсы.
Ах! если бы воскрес один хоть думный дьяк
И, с челобитною явясь пред царский зрак,
Чем заслужили гнев мой, воскликнул, внуки,
Что посылаются к ним палачи науки?
Ты хочешь, чтоб от их немилосердных рук
Расправился или переломился крюк.
О солнце! не лишай ты филинов затмения!
Да крюк пребудет крюк по силе уложения!
Но что! где дьяк и где прошение к царю?
Беда коллежскому теперь секретарю.
О чин ассессорский, толико вождеденный!
Ты убегаешь днесь, когда я, восхищенный,

Мнил обнимать тебя, как друга, как алтын;
Быть может, навсегда прости, любезный чин!
Сколь тяжко для меня, степенна человека,
Учиться начинать, проживши уж полвека.
Какие каверзы, какое зло для нас
О просвещении гласящий нам указ!
Друзья! пока еще не светло в нашем мире,
На счет просителей пойдем гулять в трактире;
С отчаянья начнем как можно больше драть:
Свет близок — должно ли ворам теперь дремать?

ПЕСНЬ ЛУЖЕ

Пускай иной, потея годы,
С надсадой трубит страшны оды
Ручьям, озерам и морям!
Не море — лужу воспеваю:
Грязь в жемчуг я преобращаю,
Ударив лиры по струнам.

Судеб благоугодно воле,
Чтоб, лужа, ты, в несчастной доле
Была других всех ниже вод:
Ручьи нас веселят струями,
Моря приводят в страх волнами,
А лужей брезгует народ.

Но насекомы неисчетны,
Для гордых взоров неприметны,
Зрят в луже дивный океан
И в подлых жабах — страшных китов
Четвероногих сибаритов
Ты вместе ванна и диван.

Паши, украшенны щетиной,
Презренною твоею тиной
Не променяются на пух;

За бархат грязь они считают
И в роскоши такой не чают,
Что их готовят под обух.

Ни пред ручьем, ни пред рекою
Ты не похвалишься водою;
Но страннику в несносный жар
Вода твоя в степи Ливийской
Или в пустыне Аравийской
Небесный кажется нектар.

Пространством море пусть гордится,
Шумит волнами и стремится
Достигнуть грозной высоты.
В обширности неизмеримой,
Одним всеильным обозримой,
И море — лужа, как и ты.

Хотя б на дне его лежали
Блестящий бисер и кораллы,
Приманчивы для алчных глаз;
Но что ж! пред мудрыми очами
Столь почитаемые нами
Коралл и бисер — та же грязь.

Нет! лужи я не презираю;
Я в луже пользу обретаю —
Наставник лужа для меня:
Читает мне урок прекрасный,
С которым опыты согласны,
Сию нам истину глася:

Чей дух ленивый дремлет вечно,
В том мысль и чувство сердечно
Как в луже мутная вода;
И праздности его в награду
Пороки в нем, подобно гаду,
Плодятся, множатся всегда!

Б ЛЮДЯМ

Гордитесь, смертные, умом;
Но беспристрастно кто в деянья ваши вникнет,
С прискорбием воскликнет:
Ах, мир сей — сумасшедших дом!

**СТИХИ НА ПУТИ ИЗ ГОРОДА
В ДЕРЕВНЮ**

Уж за заставой я:
Какая мне отрада!
Передо мной — прелестные поля,
За мною — пыль и кирпичей громада!

ЗЕРКАЛО И УРОД

У р о д

Ты, грубое стекло, меня приводишь в стыд.
Так гнусно смеешь ты изображать мой вид?
Будь вежливо: польсти!

З е р к а л о

Льстить, право, не
умею:
Лесть свойственна лисе, собаке и лакею.

В. А. ОЗЕРОВ

Литературная деятельность поэта и драматурга Владислава Александровича Озерова (1769—1816) не была продолжительной. Первый его литературный опыт — перевод героиды Колардо «Элоиза к Абеяру» — был опубликован в 1794 году, а уже в конце первого десятилетия XIX века его поразила душевная болезнь, за которой вскоре последовала смерть. И несмотря на это, творчество Озерова сыграло определенную роль в развитии русской поэзии и стихотворной драмы.

Озеров происходил из культурной дворянской семьи, воспитывался в Сухопутном шляхетном корпусе, который окончил в 1787 году. Не будучи материально обеспеченным, он вынужден был быть «в службе более тридцати лет». Однако он тяготился чиновничьей деятельностью и после неприятностей по службе вышел в отставку. Первая пьеса Озерова — «Ярополк и Олег» (1798) — не принесла ему известности. Зато успехом пользовалась его вторая трагедия — «Эдип в Афинах» (1804). Через год был поставлен «Фингал» по сюжету, навеянному «Оссианом». Связанный творческими устремлениями с лаге-

рем карамзинистов, Озеров пользовался в первом десятилетии XIX века шумной славой реформатора русской сцены. Особенную популярность принесла ему трагедия «Дмитрий Донской» (1807) — попытка соединить карамзинский психологизм с национально-патриотическим сюжетом. Успех пьесы был в значительной степени определен общественным подъемом 1807 года. Пьеса воспринималась как отклик на угрозу наполеоновского вторжения. Стихи Озерова пользовались меньшей известностью. Однако даже сурово оценивавший творчество Озерова Белинский писал в 1834 году: «Теперь никто не будет отрицать поэтического таланта Озерова».

Основные издания стихотворений
В. А. Озерова:

Сочинения Озерова, т. 1—2. СПб., 1816—1817.

Сочинения Озерова, ч. 1—3. СПб., 1828.

В. А. Озеров. Трагедии и стихотворения. «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1960.

ГИМН БОГУ ЛЮБВИ

О бог любви, душа вселенной!
Ты огонь во льдах, ты в мраке свет;
И мир, тобою оживленный,
Течет в свой путь чрез волны бед.

Вотще, как берегу яры воды,
Так разрушенье нам грозит;
От истощения природы
Благий закон твой мир хранит.

Вотще дух алчности и злобы
Стремится в наши времена
Преобразить все царствы в гробы
И поглотить все племена.

По бороздам опустошенья,
Где дух вражды лил страх и кровь,
Ты разливаешь наслажденья
И населяешь землю вновь.

Вотще воитель ставит твердый
И пышный столп своих побед;
Рукою Хрон немилосердый
Сотрет столпа последний след.

Вотще и ты свои злодейства
Мечтаешь в тайне скрыть, тиран!
Хрон мрак сорвет и с тайн семейства,
Как ветры рвут с морей туман.

Без дел премудрых, благородных
Честь наша нас не преживет,
И лишь в проклятиях народных
Тиранов имя перейдет.

Не скроет имя и в гробнице, —
Неронов прах клянет весь свет.
И матери своей убийце
До наших дней покоя нет!

Блажен владыка, кто не страхом,
Любовью правит свой народ;
Благословение над прахом
Ему возшлет позднейший род.

О бог любви, душа вселенной!
Ты огонь во льдах, ты в мраке свет,
Тобою смертный оживленный
Течет в свой путь чрез волны бед.

Между 1799 и 1801

ПЕРЕВОД СТИХОВ РАСИНА

Из трагедии «Эсфирь»

Я нечестивца зрел землей боготворенным.
Как крепкий горный кедр, челом он дерзновенным
Надменность возносил до высоты небес,
Где громы содвигал безбожною рукою,
Давил своих врагов широкою пятою.
Я мимо лишь протек — и он с земли исчез.

1801(?)

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Басня

У племени Волков и племени Овец
Велась война чрез тысячные лета.
Соскучившись, они решились наконец
Мир вечный заключить, не собирав совета,
По обстоятельствам, чтоб время не терять.
Сошлись вожди, велели написать
На гербовых листах подробны договоры,
И приложить большую к ним печать,
И по обряду разменять.
Притом, чтобы вперед у них не вышло ссоры,
Они для верности в заклад
Волчонков отдали, своих любезных чад;
А Овцы, сущи простофили,
В залого отпустили
Собак, своих друзей
И старых сторожей,
Которые, как мир дела закончил ратны,
Остались праздны и заштатны.
Итак, во всем краю настала тишина,
Свобода резвая на пажитях видна,
Уж Волки на Овец вдали лишь скалят зубы
И пастухи Волков не ходят бить на шубы,

Казалось, что сошел на землю век златой.
Волчки между тем повыросли матери,
В уме у них один разбой,
И стали, как отцы, прямые живодеры.
Лишь только пастухов спустили со двора,
Сии залого клятв и договоров мирных
Как с словом: «Нам домой пора»,
Напали на ягнят: на лучшеньких, на жирных,
И пастюю их мчат под тень глухих лесов.
Там волчий весь народ принять их был готов.
Собаки лишь, о том не зная и без печали
Надеявшись на мир, спокойно почивали
(Где нет забот, там крепок сон),
И Волки их отнюдь не разбудили,
А, подведя сильнейшего закон,
Их просто сонных задавили.

Без устали, друзья, пойдем войной на злых!
Залого пагубны и ложны клятвы их.

Когда там мир бывает прочным,
Который заключен с бессовестно-порочным?

АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ

Андрей Иванович Тургенев (1784—1803) — старший из известных в литературе и общественной жизни начала XIX века братьев Тургеневых. Отец поэта — Иван Петрович Тургенев, известный масон, друг Н. И. Новикова и директор Московского университета. Андрей Тургенев провел детство в симбирской деревне отца, куда Иван Петрович Тургенев был выслан по делу Новикова.

В 1796 году А. Тургенев поступил в университет. В 1797—1800 годах образовался дружеский кружок, в который входили, кроме Андрея Тургенева, его брат Александр, Жуковский, Мерзляков, Воейков, Андрей и Михаил Кайсаровы, С. Родзянко. В начале 1801 года кружок организационно определился в «Дружеское литературное общество». В ноябре 1801 года Андрей Тургенев переехал в Петербург, где поступил на службу и был причислен к канцелярии Новосильцева. Затем он был отправлен дипломатическим курьером в Вену; в феврале 1803 года возвратился в Петербург, а 8 июля того же года неожиданно скоропостижно скончался от «горячки с пятнами».

Вся короткая жизнь Андрея Ивановича Тургенева была заполнена непрерывным литературным трудом: с детских лет он неустанно упражняется в переводах, переводит десятки сочинений, в том числе пьесы Шиллера, «Вертера» Гете, сочинения Руссо, дважды (с немецкого и с английского) переводит «Макбета» Шекспира. Почти все эти труды до нас не дошли; лишь некоторые сохранились в отрывках. Речи Тургенева в «Дружеском литературном обществе» свидетельствуют о том, что он обладал незаурядным дарованием критика. Поэтическое наследие Андрея Тургенева никогда не было собрано воедино и издано. Стихотворения «Элегия» и «К отечеству» появились при жизни автора в «Вестнике Европы» и потом неоднократно перепечатывались. «К ветхому поддевическому дому А. Ф. В—ва» было опубликовано в 1830 году в «Славянине». Остальные стихотворения публикуются впервые по рукописям, хранящимся в ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР и ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

А. С. К<АЙСАРО>ВУ

Когда весенняя улыбка
Чело природы озарит,
Когда в дыхании зефира
Прольется сладость и восторг,
Сильней сердца в груди забьются
И кровь любовью закипит,
Когда в врагах мы ўзрим братьев
И в их объятиях прольем
Слезу прощенья, примиренья, —
Тогда, тогда, мой милый друг,
Узрев, как после бурь ужасных,
Как после мрачных зимы
Природа снова зеленеет
И снова добрые сердца
Зовет к святому наслажденью, —
Стремись в объятия ее,
Впивай в себя весны дыханье
И томну грудь им оживи.
Ее влиянье благодатно
Унылость в сердце истребит;
Надежда кроткая, благая
Рассеет мрак души твоей,
И светлые лучи блаженства
Возблещут в радостных слезах.

<1797>

ЭПИГРАММЫ

Т. К. Ф.

* * *

За что ты на меня сердита, я то знаю, —
За то, что для тебя стихов не сочиняю?
Прости ты в том меня, ведь это оттого,
Что не желаю я злословить никого.

1797

* * *

О, как священная религия страдает!
Вольтер ее бранит, Кутузов защищает.

1797

* * *

Он сроду не краснел, краснеть и не умеет,
Он врет, он лжет — и не краснеет.
Но может в краску он всегда других вводить,
Лишь только их начнет хвалить.

1797

С. И. ПЛЕЩЕЕВЪУ

25-го сентября 1799 года

В чьем сердце добродетель
Свой трон соорудила,
Кто ею согреваем,
Как братьев любит ближних,
Им предан всей душою
И счастлив их блаженством;
Чей путь в сей жизни краткой
Любовь друзей нежнейших,
Любовь супруги милой,
Взор ангельский младенца
(Залога нежной страсти)
Цветами устилают;
Кто в горестны минуты,
В минуты испытаний
Находит утешенье
В святом благотвореньи, —
Тот счастлив, счастлив прямо!
Хоть проливает слезы,
В слезах его играет
Луч кроткия отрады,
В душе его источник
Блаженства, наслаждений!

П<лещеев>, здесь узнай себя!
И, зря святых небес к тебе благоволенье,
Благословляй творца в сердечном умиленьи! ..
Чего желать еще осталось для тебя?

1799

* * *

О ты! которую несчастье угнетает,
Чье сердце горестью питается одной,
Нигде, ни в чем себе отрад не обретает,
Покрыта чья душа отчаяния тьмой, —
Воззри на небеса с сердечным умилением,
К небесному отцу простри свой томный глас
И с пламенной слезой моли об утешеньи.
Но счастья не ищи — его здесь нет для нас,
В сем мире, где злодей, страх божий забывая,
Во злодеяниях найти блаженство мнит,
Рукою дерзкою сирот и вдов теснит,
Слезам, отчаянью, проклятьям не внимая.

1799

К ПОРТРЕТУ ГЕТЕ

Свободным гением природы вдохновленный,
Он в пламенных чертах ее изображал,
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный.

10 августа 1800

К ВЕТХОМУ ПОДДЕВИЧЕСКОМУ ДОМУ
А. Ф. В<ОЕЙКО>ВА

Сей ветхий дом, сей сад глухой —
Убежище друзей, соединенных Фебом,
Где в радости сердец клялися перед небом,
 Клялись своей душой,
 Запечатлев обет слезами,
Любить Отечество и вечно быть друзьями.

1801

* * *

Ума ты светом озарен
И видишь бездны пред собою;
Но к ним стремишься, увлечен
Слепою, пламенной душою.
На небо скорбный вздох летит,
Ты слаб — оно тебя терзает,
В тебя отчаянье вливает
И твердым быть тебе велит.
Свободы ты постиг блаженство,
Но цепи на тебе гремят;
Любви постигнул совершенства —
И пьешь с любовью вместе яд.
И ты терзаешься тоскою,
Когда другого в гроб кладешь!
Лей слезы над самим собою,
Рыдай, рыдай, что ты живешь!

2 января 1802

* * *

И в двадцать лет уж я довольно испытал!
Быть прямо счастливым надежду потерял,
Простился навсегда с любезнейшей мечтою

И должен лишь в прошедшем жить,

В прошедшем радость находить;

И только иногда отрадною слезою

Увядше сердце оживлять.

Невинность сердца! Утро ясно

Блаженных детских дней! Зачем ты так прекрасно,

Зачем так быстро ты? Лишь по тебе вздыхать

Осталось бедному, ты всё мое богатство!

Живи хоть в памяти моей

И каплю бальзама в стесненну душу влей!

21 марта 1802

* * *

Пусть ей несчастлив я один,
Но миллионы ей блаженны;
Отечества усердный сын,
Я прославлял ее; но, сердцем восхищенный,
Не милости искал, святую милость пев.
Не нужно правому прощенье:
Он видит в милости другое оскорбленье,
Тому ль, кто чист в душе, ужасен царский гнев?

1802

* * *

Ты добр! Но пред тобой несчастный, угнетенный,
Невинный к небесам возносит тяжкий стон,
Злодей, и в почести, и в знатность облеченный,
Сияющий в крестах, и веру, и закон
В орудие злодейств своих преобращает.
Нет правосудия, защиты нет нигде,
Земные боги спят в беспечности...
И самый гром небес на время умолкает.
Ищи же счастья здесь, о добрый друг людей,
Ищи его себе.

1802

* * *

Забудем здесь искать блаженства
В юдоли горести и слез, —
Там, там, на высотах небес
Жилище блага, совершенства.
Пусть бедный труженик земной,
Достигнув вечного покою,
Узнает, что есть бог благой;
Но здесь, тягчим его рукою,
В нем видя грозного судью,
Как тень от горя исчезая,
Напрасно слезы проливая,
Клянет он молча жизнь свою.

1802

ЭЛЕГИЯ

Угрюмой осени мертвящая рука
Уныние и мрак повсюду разливает;
Холодный, бурный ветер поля опустошает,
И грозно пенится ревушая река.
Где тени мирные доселе простирались,
Беспечной радости где песни раздавались, —
Поблекшие леса в безмолвии стоят,
Туманы стелются над долом, над холмами.
Где сосны древние задумчиво шумят
Усопших поселян над мирными гробами,
Где всё вокруг меня глубокий сон тягчит,
Лишь колокол ночной один вдали звучит,
И медленных часов при томном удареньи
В пустых развалинах я слышу стон глухой, —
На камне гробовом печальный, тихий гений
Сидит в молчании, с поникшею главой;
Его прискорбная улыбка мне вешает:
«Смотри, как сохнет всё, хладеет, истлевет;
Смотри, как грозная, безжалостная смерть
Все ваши радости навек уничтожает!
Всё жило, всё цвело, чтоб после умереть!»

О ты, кого еще надежда обольщает,
Беги, беги сих мест, счастливый человек!
Но вы, несчастные, гонимые судьбою,

Вы, кои в мире сем простилися навек
Блаженства с милою, прелестною мечтою,
В чьих горестных сердцах умолк веселья глас!
Придите — здесь еще блаженство есть для вас!
С любезною навек иль с другом разлученный!
Приди сюда о них в свободе размышлять.
И в самых горестях нас может утешать
Воспоминание минувших дней блаженных!
Ах! только им одним страдалец и живет!
Пускай счастливца мир к веселию зовет,
Но ты, во цвете лет сраженная судьбою,
Приди, приди сюда беседовать с тоскою!
Ни юность, для других заря прекрасных дней,
Ни прелести ума, ни рай души твоей,
Которой всё вокруг тебя счастливо было,
Ничто, ничто судьбы жестокой не смягчило!
Как будто в сладком сне, узнала счастье ты,
Проснулась — и уж нет пленительной мечты!
Напрасно вслед за ней душа твоя стремится,
Напрасно хочешь ты опять заснуть, мечтать:
Ах! тот, кого б еще хотела ты прижать
К иссохшей груди — плачь! — уж он

не возвратится

Вовек! . . . Здесь будешь ты оплакивать его,
Всех в жизни радостей навеки с ним лишена:
Здесь бурной осенью природа обнажена
Разделит с нежностью грусть сердца твоего;
Печальный мрак ее с душой твоей сходнее,
Тебе ли радости в мирском шуму найти?
Один увядший лист несчастному милее,
Чем все блестящие весенние цветы.
И горесть сноснее в объятиях свободы!

Напрасно хочешь ты, о добрый друг людей,
Найти спокойствие внутри души твоей;
Напрасно будешь ты сей мыслью веселиться,
Что с мирной совестью твой дух не возмутится!
Пусть с доброю душой для счастья ты рожден;
Но, быв несчастными отвсюду окружен,
Но бедствий ближнего со всех сторон свидетель,
Не будет для тебя блаженством добродетель!
Как часто доброму отрада лишь в слезах,
Спокойствие в земле, а счастье в небесах!

Не вечно и тебе, не вечно здесь томиться!
Утешься; и туда твой взор да устремится,
Где твой смущенный дух найдет себе покой;
Где позабудешь всё, чем он терзался прежде;
Где вера не нужна, где места нет надежде;
Где царство вечное одной любви святой!

К ОТЕЧЕСТВУ

Сыны отечества клянутся,
И небо слышит клятву их!
О, как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, отечество святое,
Тебя любить, тебе служить —
Вот наше звание прямое!
Мы жизнь свою купим
Твое готовы благоденство.
Погибель за тебя — блаженство,
И смерть — бессмертие для нас!
Не содрогнемся в страшный час
Среди мечей на ратном поле,
Тебя, как бога, призовем,
И враг не узрит солнца боле,
Иль мы, сраженные, падем —
И наша смерть благословится!
Сон вечности покроет нас;
Когда вздохнем в последний раз,
Сей вздох тебе же посвятится.

1802

<В. А. ЖУКОВСКОМУ>

Смиранный жизни путь цветами устилая,
Живи, мой милый друг, судьбу благословляя,
И ввек любимцем будь ее.
Блаженство вольности, любви, уединенья
И муз святые вдохновенья
Проникнут сладостью всё бытие твое.
А мне судьба велит за счастьем гоняться,
Искать его, не находить,
Но я не буду с ней считаться,
Коль будешь ты меня любить.

1 января 1803

<М. М. ХЕРАСКОВУ>

Забавный старичок, прославленный пиита,
Кому дорога к нам давно уже открыта,
Не знаю, до тебя дойдет ли речь моя,
Жаль, если не дойдет, но в том невинен я.
Смиренья должного границы преступая,
В смирении своем тебя с собой равняя,
Что «Кадма» ты сложил, прощает Фенелон, —
Но если сведает о «Полидоре» он?

11 февраля 1803

* * *

Мой друг! Коль мог ты заблуждаться
И с чистой, пламенной душой
Блаженством на земли ласкаться, —
Скорей простишься с твоей мечтой.
С твоей сердечной простотою
Обманов жертвой будешь ты;
Узнаешь опытною злою,
Сколь едко жало клеветы;
Всех добрых дел твоих в заплату
Злодеи очернят тебя.
Врагу ты вверишься, как брату,
И в пропасть ввергнешь сам себя.
Восстанешь, роком пораженный,
Но слез не будешь проливать,
Безмолвной скорбью отягченный,
Судьбы ты будешь проклинять.
Потухнет в сердце чувства пламень,
Погаснет жизни луч в очах,
В груди носить ты будешь камень,
И взор твой будет на гробах.

31 марта 1803

* * *

Уже ничем не утешает
Себя смущенный скорбью дух;
Весна природу воскрешает,
Но твой осиротелый друг
Среди смеющейся природы
Один скитается в тоске,
Напрасно ждет, лишен свободы,
Счастливой части и себе!
Не верит, кто благополучен,
Мой друг, несчастного слезам.
Но кто страдал в сей жизни сам,
Кто сам тоскою был размучен
И, миг себя счастливым зрев,
Навеки счастья лишенный,
Судьбы жестокой терпит гнев,
И, ей на муку осужденный,
Не зрит, не зрит бедám конца, —
Тому все бедства вероятны,
Тому везде, везде понятны
В печали ноющи сердца.

25 июня 1803

А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ

Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) происходил из семьи мелкого провинциального купца. Он был отдан учиться в Пермское народное училище, где тринадцати лет написал оду на мир со Швецией, которая обратила на себя внимание в Петербурге. Мерзляков был переведен в Московскую университетскую гимназию. Дальнейшая его жизнь оказалась тесно связанной с Московским университетом. Здесь он проходит все ступени научной карьеры от бакалавра (в 1803 году) до декана (в 1817 году). Должность эта сохраняется за Мерзляковым до самой смерти в 1830 году.

Уже в середине 1800-х годов Мерзляков — популярный преподаватель, гордость Московского университета. Он постоянно сотрудничает в «Вестнике Европы» и «Трудах общества любителей российской словесности при Московском университете», в 1815 году, совместно с С. Смирновым, издает журнал «Амфион». Мерзляков был не только поэтом: Грибоедов, Лермонтов, Полежаев, Белинский получили на его лекциях первое знакомство с теорией поэзии и историей русской литературы.

Для Лермонтова и Полежаева Мерзляков также был и практическим наставником в ранних поэтических опытах. В последние годы жизни Мерзляков стоял в стороне от литературы. Умер он, преследуемый материальной нуждой.

Основные издания стихотворений Мерзлякова:

А. Ф. Мерзляков. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев, ч. 1—2. 1825—1826.

А. Ф. Мерзляков. Песни и романсы. 1830.

А. Ф. Мерзляков. Стихотворения, ч. 1—2. М., 1867.

А. Ф. Мерзляков. Стихотворения. «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1958.

СЛАВА

Х о р

Славу, мать лир священных,
Душу подвигов бессмертных,
Славу, россы, призовем!
Песнь всемошной воспоем!

Под ее благой звездою
Росс родился, возрастал;
Росс-младенец царств судьбою
У груди ее играл;
Росс-герой ее знамена
Через темно поле бед
Перенес, восстал из плена
И потряс надменный свет;
Росс благий, великосердый,
Заклучив уста громов,
Простирает щит свой твердый
На друзей и на врагов.

Х о р

Слава, божество вселенной,
Гений россов неизменный,
Слава, с нами ввек живи!
Славы огонь, теки в крови!

Слава с вечностью родилась,
В ней носился божий дух!
Славой временность раскрылась,
Как цветок прозябший вдруг!
Первый глас творца: «Да будет!»
Отголосок славы: «Бысть!»

Чувство чувства спящи будит,
И хвалебный мир гремит;
Жизни первое движенье —
Славословие творца!
Первое души стремленье —
Славословие отца.

Х о р

Дивен бог, творец вселенной,
Силой, мудростью священной,
Дивен благостью даров,
Дивен славой в век веков!

Ею блещут и живятся
Все творенья на земли,
Горы всходят и дымятся,
Превращаясь в алтари.
Как кадиланицы природы,
Холмы дышат перед ней,
В лоно бисерное воды
Ловят блеск ее лучей;
Древний бор в благоговеньи
Движет старческой главой
И в священном исступленьи
Говорит с самим собой...

Х о р

Горы, холмы и дубравы,
Повторяйте имя славы!
Слава светит в тьме пустынь,
Дышит в недрах скал, стремнин!

В радостном весны сияньи
Мир улыбку славы зрит;
Лета в пламенном дыханьи
Слава блещет и гремит.
В бурях осени смущенной
Ниспускается она
И в снегах зимы надменной
Льет на тварь утехи сна;
Царство светлое пернатых
В славе чтит царицу-мать;
Слон и червь, от глаз изъятый, —
Носит всё ее печать.

Х о р

Славьте славу, тварей хоры,
Мир стихий, стихий раздоры;
День и ночь ее красой
Обновляйте образ свой.

Не она ль душа движенья
В чудной машине миров?
Ею бьется пульс творенья
И текут ряды веков.
В безднах света неизмерных
Веет сильный славы дух,

Солнца, им одушевленны,
Составляют братский круг.
В мир из мира льется, блещет
Чувство в пламенных лучах,
И вселенная трепещет
В гармонии и хвалах.

Х о р

Сад созданий бесконечный,
Процветай любовью вечной!
Боже дивный твари всей,
Царствуй славою своей!

Но — увь! — восторг напрасный!
Что здесь вечно? Всё пройдет!
Час ударил! Солнце красно,
Как увядший цвет, падет!
Глас творений умирает
В разрушительных громах.
Смерть триумф уготовляет.
Стой, исчезни, ада страх!
Ободритесь, славы чада!
Благость! Доблесть! Правота!
Не умрет для вас награда,
Слава с вами навсегда!

Х о р

Кто имеет сердца силы,
Презри ложный страх могилы.
Нет ни в чем преграды нам!
Мы решились! Слава там!

Там, где гений испытаний
Младость робкую ведет
По стези скорбей, страданий;
Фемистокл где, в цвете лет,
Узы страсти и покоя,
Окропленны током слез,
Тени мудрого героя
В жертву славную принес;
Там, где рок, скупой и злобный,
Побежденный наконец,
Отдает на дске пригробной
Нам победу и венец.

Х о р

Прочь, призраки горды мира!
Онемей, сирены лира,
Злато, в прахе истлевай,
Нам бессмертья светит рай!

Посмотрите. . . Злоба блещет
Над жилищем тишины!
Мир вздремавший встал, трепещет;
Видит зарево войны!
Молний яркими цепями
Скован, стонет неба свод!
Провождается смертями,
В бурных вихрях брань течет;
С нею ужасы дрожащи,
Самолюбие, месть, разврат
Сыплют факелы палящи
В зрелый мира вертоград.

Х о р

Дети славы, пробудитесь,
Встаньте, встаньте, ополчитесь,
К вам отечество гласит,
Брань вокруг вас, брань горит!

Грады мирные пылают,
Страждет дружба и любовь;
Цепи доблесть отягчают,
И течет по нивам кровь!
«Кровь сожжет железо плена,
Кровь да смоев рабства стыд!»
Старость ищет, оживленна,
Обгорелый шлем и щит,
Храбрость мирты разрывает
Ржавым, радуясь, мечом,
Праздность праздный оставляет,
Слабый стал богатырем!

Х о р

Дети славы, ополчитесь,
В крепость, в силу облекитесь.
Честь, блаженство — ваш венец,
Истребись раздор вконец.

Да погибнут брани бранью,
Марс гремит стальным мечом;
Рдяно-огненною дланью
Ярость кроет буйный сонм.
Брат не видит в брате брата,
И отец забыл детей;

Треск оружий, гром — отрада
Кровожаждущих зверей.
Им предходит мщенья пламень,
Славы знамя впереди;
Огнь во взорах, в сердце камень, —
Человечество прости!

Х о р

Мщенье, мщенье! гром за громом!
Буря с бурей! сонм за сонмом!
Лавр! — победа! — цвет побед
Вырвем мы из адских недр!

«Стойте, пламенны герои,
С вами бог! средь вас любовь!» —
Ангел рек; умолкли бои,
На мече застыла кровь!
Чада брани исступленны
Гнев и милость кажут вдруг;
Брань бежит со страхом в бездны;
Озарился неба круг;
Тихих зэфиров в дыханьи,
В благодатном громе лир,
Золотых зарей в сияньи
К нам нисходит горний мир!

Х о р

Мир прелестный, мир, друг неба,
В ад низвергни дочь Эреба,
Укротися сонм зверей,
С нами мир! здесь хор друзей!

Обручен с святой победой,
Как с невестою жених,
Мир идет, герои следом
И гремящий бардов лик.
Старец поднял слабы руки
Милых чад благословить;
Там объемятся супруги
И не могут говорить;
Отрок отчий меч лобзает;
Дева робкая, стыдясь,
Лавр героя прижимает
К сердцу, кроющему страсть.

Х о р

Шествуй к нам, триумф священный,
От небес благословенный,
Царствуй, мир, во всех странах,
Царствуй славы ты в лучах!

Он идет, и всё играет,
Рай цветет вокруг него;
Радость, счастье осеняет
Светлым облаком его.
Правда вечная клянется
Украшать его алтарь,
Океан богатством льется,
Принося ему свой дар;
Изобилие благое
Ниспустилось на поля;
И в веселии, в покое
Обновилась вся земля.

Х о р

Дети славы, веселитесь,
Здесь, на лаврах, преклонитесь
У любви на руках,
Громы, спите на цветах!

Нет! Мы славы недостойны;
Не горит ли кровь на нас?
Не бегут ли вслед нам стоны,
Побежденных жалкий глас?
Не на трупах лавры зреют;
Клятвы в гробе загремят,
И триумфы помертвеют;
Слава горький, смертный яд
Грозной, мстительной рукою
Подает врагам людей.
Чада славы! слез рекою
Смоем кровь с своих мечей!

Х о р

К нам в объятия летите,
Всё забыто! нас простите;
Не враги вы нам — друзья!
Будьте счастливы всегда!

Мы одно составим племя
Всем нам общего отца!
Райского блаженства семья,
Нам любовь влита в сердца.
Нас любовь да прославляет,
Нас любовь да просветит;

Из лучей любви сплетает
Нам бессмертье новый шит.
Музы, жертвы принесите
Доброй славы на алтарь!
Небеса, благословите
В нас любви священный жар!

Х о р

Процветайте, дни любезны,
Дети Фебовы прелестны,
Возвышайся, мирный край,
Рай в сердцах, в природе рай!

Правда, будь всегда началом
Всякой мысленной черте!
Будь пылающим зеркалом
Лести, злобе, клевете!
Твердость, в муках возрождайся,
Доблесть, в бедствах созревай,
Благость, благом увенчайся,
Верность, в гробе не сгнивай,
Мечь, прощеньем усладися,
Руку, падший друг, прими,
Человечество, проснися
И права свои возьми.

Х о р

Слава, гений добрый, сильный,
Сохрани союз наш мирный,
Трудный путь нам освещай
И бессмертьем нас венчай.

Озаряй благим воззреньем
И шалаш, и храм златой,
Улыбайся при рожденье
И вдыхай в нас пламень твой.
Близ невинности несчастной
Ты невидимо пари;
Над заслугою изгнанной
Луч отрадный распростири!
В недрах дружбы благотворной
Ты любимцев утешай
И в темнице нас позорной,
И в час казни укрепляй.

Х о р

Сильный, светлый гений смертных,
Спутник доблестей священных,
В самом образе смертей
Буди нашей ты душой!

Каждо сердца в нас биенье
Славе бога посвятим,
Наша жизнь ему — хваленье,
Наша смерть ему есть гимн.
На одре скорбей, болезни
В сердце мы найдем бальзам,
И во взорах смерти слезных
Улыбайся, вечность, нам.
Цвет веселья, терн печали —
На алтарь любви отцу.
Мы добро, мы зло видали:
Слава богу и творцу!

Х о р

Славьте бога все языки!
Милость вышнего владыки
На земле и в небесах
Славься в праведных душа́х!

Ободришь, гнетомый злобой,
Слава смертным суд дает,
Сеет клятвы злых над гробом,
Язвой память их гниет!
Но в алтарь преобращает
Аристидов гроб простой;
Цвет бессмертья развивает
Под гробовою доской;
Жизнь возбудит в прахе, в тленье,
Обескрылит времена;
Возгремит мирам: «Паденье!»
И речет им: «Вечность я!..»

Х о р

Ободришь, несчастный смертный,
Странник слабый, утомленный!
Там отец!.. там лучший мир...
Слышишь глас зовущих лир?..

Стройтесь в хор, друзья любезны,
Дайте руки в час благой,
Славы в храм пойдем чудесный,
Смерть и ад попрём ногой.
Насладимся нашим маем,
Слава нас к себе зовет,
Посмотрите! светлым раем

Там отечество цветет.
Дети славы, обнимитесь,
Мы краса его и щит,
Фридрихи, Петры, проснитесь,
И вселенна рай узрит!

Х о р

Славься, росс непобедимый,
Славы сын, герой любимый,
Славься, друг прямых доброт;
Славься, росс, из рода в род.

1801

ОДА НА РАЗРУШЕНИЕ ВАВИЛОНА

Свершилось! Нет его! Сей град,
Гроза и трепет для вселенной,
Величья памятник надменный,
Упал! . . . Еще вдали горят
Остатки роскоши полмертвой.
Тиран погиб тиранства жертвой,
Замолк торжеств и славы клич,
Ярем позорный прекратился,
Железный скиптр переломился,
И сокрушен народов бич!

Таков Егова, царь побед!
Таков предвечный правды мститель!
Скончался в муках наш мучитель,
Иссякло море наших бед.
Воскресла радость, мир блаженный,
Подвигнулся Ливан священный,
Главу подымлет к небесам;
В восторге кедры встрепетали,
«Ты умер наконец, — вешали, —
Теперь чего страшиться нам?»

Трясется ад, сомненья полн,
Тебя сретая в мрачны сени,
Бегут испуганные тени,

Как в бурю сонмы белых волн.
Цари, герои царств прешедших
Встают с престолов потемневших
Чудовище земли узреть.
«Как, ты, равнявшийся с богами,
И ты теперь сравнился с нами,
Не думав вечно умереть?»

Почто теперь тебе вослед
Величье, пышность не дерзает?
Почто теперь не услаждает
Твою надменность звук побед?
Ты не взял ничего с собою,
Как тень, исчезло пред тобою
Волшебство льстивых, светлых днй.
Ты в жизнь копил себе мученье,
Твой дом есть ночь, твой одр — гниенье,
Покров — кипящий рой червей!

Высоко на горах небес
Светило гордое блистало,
Вчера всех взоры ослепляло,
Сегодня смотрят — блеск исчез.
Вчера смирял народы в страхе,
Смирен, сегодня тлеет в прахе!
Вчера мечтал с собою ты:
«Взнесусь, пойду над облаками,
Поставлю трон между звездами,
Попру Сиона высоты,

Простру повсюду гнев и страх,
Устрою небеса чертогом

И буду в нем всеильным богом!»
Изрек — и превратился в прах!
Идет сегодня путник бедный
И зрит в пустыне труп твой бледный,
На пищу брошенный зверям!
Стоит, не верит в изумленьи;
Потом в сердечном сокрушеньи
Возводит взор свой к небесам:

«Не се ли ужас наших дней?
Не сей ли варварской десницей
Соделал целый мир темницей,
Жилищем глада, бед, скорбей?
Никто пред смертью не встанет!
Но память добрых не увянет!
Их прах святится от сынов.
Благою славой огражденный,
Слезами бедных оживленный,
Он спит в обители отцов!

Един твой труп в позор и срам
Лежит на грозном поле брани;
Земля последней бедной дани
Не хочет дать твоим костям.
Своей земли опустошитель,
Народа своего гонитель,
Лежишь меж трупами врагов,
Лишенный чести погребенья;
А там — свистит дух бурный мщенья
Против сынов твоих сынов.

Рази, губи, карай злой род,
Прокляты ветви корня злого;

В них скрыта язва, гибель нова,
В них новый плен для нас растет!»
Всесильный рек: «Я сам восстану,
Приду, оденусь в бури, гряну
И истреблю всё племя злых.
В градах их звери поселятся,
Их земли морем поглотятся,
Погибнет с шумом память их».

Изрек! — и свят его обет,
И вечно нерушимо слово!
Изрек! — событие готово!
Израиль! — лести в боге нет! .
Егова сломит рог тиранства
И узы тягостные рабства
Огнем и кровию сожжет;
Поднимет руку над вселенной,
И — кто удержит гром разжженный,
Кто с богом брани в брань пойдет?

Март или апрель 1801



Чернобровый, черноглазый,
Молодец удалый
Вложил мысли в мое сердце,
Зажег ретивое!
Нельзя солнцу быть холодным,
Светлому погаснуть;
Нельзя сердцу жить на свете
И не жить любовью!
Для того ли солнце греет,
Чтобы травке вянуть?
Для того ли сердце любит,
Чтобы горё мыкать?
Нет, не дам злодейке-скуке
Ретивого сердца,
Полечу к любезну другу
Осеннюю пташкой.
Покажу ему платочек,
Его же подарок, —
Сосчитаю горючи слезы
На алом платочке,
Иссуши горючи слезы
На белой ты груди,
Или сладкими их сделай,
Смешав со своими...

Воеет сыр-бор за горою,
Метелица в поле;
Встала вьюга-непогода,
Запала дорога.
Оставайся, бедна птичка,
Запертая в клетке!
Не отворишь ты слезами
Отеческий терем;
Не увидишь дорогого,
Ни прежнего счастья!
Не ходить бы красной девке
Вдоль по лугу-лугу;
Не искать было глазами
Пригожих, удалых!
Не любить бы красной девке
Молодого парня;
Поберечь бы красной девке
Свое нежно сердце!

ОДЫ

Из Тиртея

I

Не тот достоин вечной славы,
Не тот наследник громких хвал,
Кто первым был в кругу забавы,
В потешных играх побеждал.

Пусть силой, крепостью телесной
Он диво-богатырь в рядах;
Пусть быстротою стоп чудесной
Он ветры упреждал в полях;

Пусть прелестью лица и станом
В Титоне зависть возродил;
Пелопса превышая саном,
Мидаса златом удивил;

Пусть он, вития средь совета,
В речах Адраста посрамлял:
Владелец всех сокровищ света
Велик — но пред героем мал!..

Он мал, когда не пламенеет
Завидной страстью встретить смерть,

В глаза врагу смотреть не смеет
И не спешит злодея стерты!

Он мал!.. Ты, доблесть, к вышним вера,
К отчизне пламенна любовь —
Едина ты величий мера!
Ты кровь Алкида — наша кровь!

Герой в ряду дружины ратной,
Трясущий грозно копие, —
Се дар от неба благодатный!
Се, Спарта, счастье твое!

Стоит! Он бегство презирает,
Забыв о жизни, помнит честь;
В кипящем сердце вопрошает:
«Где страх? Куда погибель несть?»

«Сюда! — зовет друзей-героев, —
Сюда! нам стыдно ран не знать!
Пойдем!» Врубились в недра строев —
И всколебалась смутна рать!

Бегут враги, — он вслед, как пламень;
Он правит вихрем битв, как бог;
На замысл — быстр, а в буре — камень,
Равно в удаче, трате строг;

Он кончит жизнь в пылу сраженья,
Среди смятенных страхом сил!..
Погиб — и над страной рожденья
Блеск новой славы воспалил!

Доспехи, кровию покрыты,
Меча останок сжавша длань,
Копье без древа, щит избитый,
Грудь в ранах — вот отчизне дань!

Повсюду слезы, стон, смущенье;
Собор старейшин и мужей
Его свершают погребенье;
Повсюду вопль: пал друг людей!

Вовек свята его могила,
И род его цветет в честях;
Героя имя — рати сила!
Героя память — чуждых страх!

Он умер. Нет! — всяк видит, слышит
Его, как бога, пред собой;
Всё вокруг него бессмертьем дышит;
Всё полно дел его хвалой!

Но если, покровен богами,
Не пораженный, брани сын
Ее кровавыми стезями
Пройдет, победы властелин,

И лавры со цветами мира
Рассыплет на родимый град, —
О, где его достойна лира?
Где мера почестей, наград?

Совета муж среди собраний,
Вождь, судия, супруг, отец,

Душа благих предначинаний,
Любовь признательных сердец;

Грядет — все старца окружают;
Всяк ищет взорами его,
Ему все место уступают;
Он радость пиршества всего!

Кто здесь, кто доблести ревнует?
Кто хочет славы и венцов?
На брань! туда, где смерть бушует,
Спеши, лети, рази врагов!..

II

Отколе нега, сон? — Когда
Явим лице врагам?..
Бегите, скройтесь от стыда:
Смеется ближний вам!

Вы миром льстились на земли!..
О братья! зрите вокруг:
Война! война! — шумит вдали
Опустошенья дух!

К мечам, друзья! — щиты вперед
Против свистящих стрел!
Без мести храбрый не умрет!
Смерть храбрым не предел!

Какая слава, радость, честь
За жен, за милых чад

На брань кипяще сердце несть
И погибать стократ!

Коль парки осудили нас,
Падем в кровавый прах! . .
Возвысим меч в последний раз:
То будет мести взмах!

Да воспыхает под щитом
Отвагой ратна грудь;
Упейтесь пылкости вином,
Означьте карой путь!

Что в страхе? — Данной мне судьбой
Черты не перейду!
От племени богов герой
Падет в свою чреду!

Как часто робкий, битв боясь,
Не слышав свиста стрел,
На миртах встретил грозный час,
Когда забавы пел!

Он умер! — не понес к отцам
Любви и слез людей;
Чем был он *здесь*, не скажет *там!*
Там нет ему друзей!

Великий пал! — о, благ залог!
О смерть, отдай его!
Он слава наша! он наш бог
В дни века своего!

Героев многих многий труд
Один он совершил;
В час бури дал совет и суд,
Вождем и кровом был!

III

Не вы ль, потомки Геркулеса,
Побед любимые сыны?
Над вами взор и длань Зевеса;
Вам отдан жребий злой войны!

Что вас, герои, устрашает?
Презренны скопища врагов?
К щитам! — туда, где брань пылает,
Стремитесь в славный путь отцов!

Иль мир приятней вам постыдный,
Милее рабство в лоне нег?
Нет! — воин знает дальновидный,
Что смерть надежней, чем побег!

Вспомним, что мы потеряли
Тогда, как грудью одной
Пошли, сразились, бой венчали
И славу принесли домой?

Так! робкий лишь при первом шаге
Теряет силы, крепость вдруг,
Вредит соратника отваге,
Смущает храбрых тесный круг!

О, срам! — вид жалкий и презренный!
Влачась во прахе и стена,
Он кажет меч, в хребет вонзенный,
И молит смерть: «Убей меня! . . .»

Он поражен в бегу обратном. . .
Ах! так ли действует герой?
Не быстр, не хладен в деле ратном,
Живущий славою одной,

Идет бесстрашною стопою!
Покрыты грудь и рамена
Щитом огромным, как стеною;
Душа отечеством полна.

Идет, противных соглядаст,
И верен стрел его полет;
Пернатый шлем его сияет,
Как знамя гордое побед!

Учитель ваш на бурном поле,
Он водит за собою рать;
И где опасность битвы боле,
Его не нужно там искать.

Не ждет врагов, он их сретает,
Не спросит тайно, сколько сил;
Когда отечество призывает —
Пришел, увидел, победил!

Смешались строи — первый в сече,
Рука с рукой — со грудью грудь;

Могущ, бесстрашен, быстротечен,
Творит себе из трупов путь!

То стрелы от него стремятся,
То поражает он мечом;
Враги и там, и здесь толпятся;
Он к ним, как смерть, всегда лицом.

И ты, дружина легких воев,
Наш подвиг славный разделяй;
Несись, как вихрь, пред рядом строев
И камни градом рассевай!

Герои! Марса сонм крылатый!
Се! время копья испытать!
О крепкие лишь токмо латы
Копья не жалко изломать!

IV

Почтим великого в мужах,
Кто, меч подъяв, идет
На брань за братий, — злобных страх
Друзьям отчизны — свет!

Он подал глас, но трус бежит
Родительских полей,
Увы! — для хлеба жизнь влачит
У чуждых он дверей!

Отец и мать влекутся вслед,
И дряхлость, и недуг;
Жена, невинна жертва бед,
И малы чада вокруг!

Презреньем встретит каждый взгляд
Его в пути скорбей;
Всяк молча оттолкнет назад
Просящего снедей!

До времени и слаб, и стар,
Живой в семье мертвец,
Что детям он готовит в дар?
Отчаянный конец!

Так в мрачных бедствия путях,
От всех людей забыт,
Он всё погубит, всё и — ах! —
Погубит самый стыд!..

Друзья! страстям, порокам — браны!
Гоните праздность, лесть!
Вся храбрых жизнь — отчизне даны!
Им пища — благо, честь!

Труды, походы, мраз и глад —
То ратника врачи!
Терпенье крепче медных врат,
Острее, чем мечи!

Коль виден страх — не верь глазам,
Коснись его копьём!..

Но час настал, желанный нам!
Бесстрашные, пойдем!

Как! старцам ли седым
На трепетных жезлах
Прилично биться здесь одним,
А нам сидеть в стенах?

О, стыд! — старик, лишенный сил,
Досель гроза врагов,
Рукой иссохшей меч схватил
В очах своих сынов, —

Разит, падет!.. Когда в пыли
Героя кровь кипит,
Тогда младый, дрожа вдали,
Окаменел стоит!

Герой, кончая смертью брань,
Детей напрасно ждет;
Вздыхнув, оледеневшу длань
К священной ране жмет.

Какое зрелище! — о, срам!
Я отвращаю взор.
О юноши! спешите, вам
Наука — сей позор!

Коснитесь старца льняных влас!
Обеты правоте!
Греми, святые клятвы глас:
«Иль щит, иль на щите!..»

Вперед железною стеной!
Вперед, друзья побед!..
Отчизне — слава и покой!
Отчизне — вечность лет!

<1805>

* * *

Я не думала ни о чем в свете тужить,
Пришло время — началó сердце крушить;
С воздыханья белой груди тяжело!
То ли в свете здесь любовью прослыло:
Полюбя дружка, от горести изныть,
Кто по сердцу мне, не сметь того любить?
Злые люди все украдкой глядят,
Меня, девушку, заочно все бранят.
Как же слушать пересудов мне людских?
Сердце любит, не спросясь людей чужих,
Сердце любит, не спросясь меня самой!
Вы уймись, злые люди, говорить!
Не уймется — научите не любить!
Потужите лучше в горести со мной:
Было время — и на вас была беда,
Чье сердечко не болело никогда?
Всяк изведал грусть-злодейку по себе,
А не всякий погорюет обо мне!
Что же делать с горемычной головой?
Куда спрятать сердце бедное с тоской?
Друг не знает, что я плачусь на него;
Людям нужды нет до сердца моего!
Вы, забавушки при радости моей,
Цветы алые, поблекните скорей!

Вас горячими слезами оболью,
Вам одним скажу про горечь я свою.
Как без солнышка не можно вам пробыть,
Мне без милого не можно больше жить.

<1806>

* * *

Ах дэвица-красавица!
Тебя любил — я счастлив был!
Забыт тобой — умру с тоской!
Печальная, победная
Головушка молодецкая!
Не знала ль ты, что рвут цветы
Не круглый год, — мороз придет...
Не знала ль ты, что счастья цвет
Сегодня есть, а завтра нет!
Любовь — роса на полчаса.
Ах, век живут, а в миг умрут!
Любовь, как пух, взовьется вдруг;
Тоска — свинец внутри сердец.
Ахти, печаль великая!
Тоска моя несносная!
Куда бежать, тоску девать?
Пойду к лесам тоску губить,
Пойду к рекам печаль топить,
Пойду в поля тоску терять,
В долинушке печаль скончать.
В густых лесах — она со мной!
В струях реки — течет слезой!
В чистом поле — траву сушит!
В долинушках — цветы морит!

От бабушки, от матушки
Скрываюся, шатаюся.
Ахти, печаль великая!
Тоска моя несносная!
Куда бежать, тоску девать?

<1806>

* * *

«Ах что ж ты, голубчик,
Невесел сидишь
И нерадостен?»
— «Ах! как мне, голубчику,
Веселому быть
И радостному!
Вчера вечером я
С голубкой сидел,
На голубку глядел,
Играл, целовался,
Пшеничку клевал.
Поутру голубка
Убита лежит,
Застреленная,
Потерянная!
Голубка убита
Боярским слугой!
Ах! кстати бы было
Меня с ней убить:
Кому из вас мило
Без милья жить?»
— «Голубчик печальный,
Не плачь, не тужи!
Ты можешь в отраду

Хотя умереть, —
Мне должно для горя
И жить, и терпеть!
Голубка до смерти
Твоею была;
Мою же голубку
Живую берут,
Замуж отдают,
Просватывают».

< 1806 >

* * *

Не липочка кудрявая
Колышется ветром,
Не реченька глубокая
Кипит в непогоде,
Не белая ковыль-трава
Волнуется в поле —
Волнуется ретивое,
Кипит, кипит сердце;
У красной у девицы
Колышутся груди;
Перекатным бисером
Текут горьки слезы;
Текут с лица на белу грудь
И грудь не покоят!
Ах, прежде красавица
Всех нас веселила,
А ныне красавица
Вдруг стала уныла.
Развейтесь, развейтесь вы,
Девически кудри!
Поблекни, поблекни ты,
Девическа прелесть!
К чему вы мне надобны,
Коль вы не для друга?

К чему мне наряды все,
Коль он не со мною?
С кем сладко порадуюсь,
С кем сладко поплачу?
Ты, милый друг, радостью,
Ты был мне красою!
Тебя только слышала,
Тобою дышала,
В тебе свет я видела,
В тебе веселилась! . .
С собою ты сердце взял —
Чем жить, веселиться?
Родные вокруг сердятся,
Что я изменилась;
Другие притворствуют,
А я не умею! . .
Ах, с дальней сторонушки
Пришли ко мне весточку,
Что здоров ты и радостен
И что меня помнишь!
Тогда улыбнуся я
На белый свет снова;
Тогда и в разлуке злой
Сольемся сердцами!
Тогда оживу опять
Для вас, добры люди!

Между 1806 и 1810

* * *

Мой безмолвный друг, опять к тебе иду,
Мой зеленый сад, к тебе тоску несу!
Ровно три весны встречал ее с тобой,
Не пленяй меня и нынешней весной.
Без любезной, без жестокой мне не жить!
Я иду к тебе с могилой говорить!
Неужели и она мне жестока?
Здесь дрожащая отшельника рука
Близ беседки пусть посадит на гряде
Лишь подсолнечник, пример моей беде!
Пусть в глазах моих подсолнечник растет:
Для любви своей, для солнца он цветет.
Целый день кружится, бедненький, за ним;
Он и зреет, он и сохнет только им.
Ах! какого же дождешься ты конца?
Без отрады гаснет ясный цвет лица,
Птицы выключают все зернышки долой,
Ты приклонишься один к земле сырой,
Ветер бурный сломит нежный стебелек,
И не спросят: что твой друг к тебе жесток?
Солнце красное высоко, далеко,
А подсолнечник в долине глубоко!

Между 1806 и 1810

* * *

Среди долины ровная
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжка,
Как рекрут на часах!
Взойдет ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?
Ни сосенки кудрявая,
Ни ивки близ него,
Ни кустики зеленые
Не вьются вокруг него.
Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!
Есть много серебра, золота —
Кого им подарить?
Есть много славы, почестей —
Но с кем их разделить?

Встречаюсь ли с знакомыми —
Поклон, да был таков;
Встречаюсь ли с пригожими —
Поклон да пара слов.
Одних я сам пугаюсь,
Другой бежит меня.
Все друзья, все приятели
До черного лишь дня!
Где ж сердцем отдохнуть могу,
Когда гроза взойдет?
Друг нежный спит в сырой земле,
На помощь не придет!
Ни роду нет, ни племени
В чужой мне стороне;
Не ластится любезная
Подруженька ко мне!
Не плачется от радости
Старик, глядя на нас;
Не вьются вокруг малюточки,
Тихохонько резвясь!
Возьмите же всё золото,
Все почести назад;
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

< 1810 >

* * *

Вылетала бедна пташка на долину,
Выроняла сизы перья на долине.
Быстрый ветер их разносит по дуброве;
Слабый голос раздается по пустыне! . .
Не скликай, уныла птичка, бедных пташек,
Не скликай ты родных деток понапрасну —
Злой стрелок убил малюток для забавы,
И гнездо твое развеяно под дубом.
В бурю ноченьки осенняя, дождливой
Бродит по полю несчастна горемыка,
Одинехонька с печалью, со кручиной;
Черны волосы бедняжка вырывает,
Белу грудь свою лебедушка терзает.
Пропадай ты, красота моя, злодейка!
Онемей ты, сердце нежное, как камень!
Растворися, мать сыра земля, могилой!
Не расти в пустыне хмелю без опоры,
Не цвести цветам под солнышком осенним, —
Мне не можно жить без милого тирана.
Не браните, не судите меня, люди:
Я пропала не виной, а простотою,
Я не думала, что есть в любви измена,
Я не знала, что притворно можно плакать.
Я в слезах его читала клятву сердца,

Для него с отцом я, с матерью рассталась.
За бедой своей летела на чужбину,
За позором пробежала доли, степи,
Будто дома женихов бы не сыскалось,
Будто в городе любовь совсем другая,
Будто радости живут лишь за горами...
Иль чужа земля теплее для могилы?
Ты скажи, злодей, к кому я покажуся?
Кто со мною слово ласково промолвит?
О безродной, о презренной кто потужит?
Кто из милости бедняжку похоронит?

<1810>

ВЕЛИЗАРИЙ

Малютка, шлем нося, просил,
Для бога, пищи лишь дневная
Слепцу, которого водил,
Кем славны Рим и Византия.
«Тронитесь жертвою судеб!
(Он так прохожих умоляет)
Подайте мальчику на хлеб:
Он Велизария питает.

Вот шлем того, который был
Для готфов, вандалов грозою;
Врагов отечества сразил,
Но сам сражен был клеветою.
Тиран лишил его очей,
И мир хранителя лишился.
Увы! свет солнечных лучей
Для Велизария закрылся!

Несчастный, за кого в слезах
Один вознес я глас смиренный,
Водил царей земных в цепях,
Законы подавал вселенной;
Но в счастья своем равно
Он не был гордым, лютым, диким;

И ныне мне твердит одно:
«Не называй меня великим!»

Не видя света и людей,
Парит он мыслью в царстве славы
И видит в памяти своей
Народы, веки и державы.
Вот постоянство здешних благ!
Сколь чуден промысл твой, содетель!
И я, сиротка, в юных днях
Стал Велизарью благодетель!»

<1814>

ГИМН ВЕНЕРЕ

ОТ САФЫ

Цветоносная, вечно юная,
Афродита, дочь Зевса вышнего,
Милых хитростей мать грозная!
Не круши мой дух ни печальями,
Ни презрением!

Но приди ко мне, умоляющей, —
Как и прежде ты страсти робкия
Голос слышала, часто слышала,
И неслась ко мне из блестящего
Дома отчего.

В колеснице (что легче воздуха,
Кою быстрые, красовитые
Мчат воробушки, часто крылами
Ударяючи по золотым зыбям
Неба дальнего)

Низлетала ты, многодарная,
И, склоня ко мне свой бессмертный взор,
Вопрошала так с нежной ласкою:
«Что с тобою, друг? что сгрустилася?
Что звала меня?»

Что желалось бы сильно, пламенно
Сердцу страстному? — На кого бы я
Излила свой огонь, изловила бы
В сети вечные? — Сафо, кто тебя
Оскорбить дерзнул?

Кто бежал тебя — скоро вслед пойдет,
Кто даров не брал — принесет свои;
Кто любовных мук не испытывал,
Тот узнает их, хоть бы этого
Не искала ты!»

Ах! — И ныне так прииди ко мне.
Отыми, отвеи тягость страшную;
В чем надежды цвет, сладость радостей,
Чем могу я жить, то исполни ты,
Будь помощница! ..

ГИМН ПАНУ

О сыне Меркурия милом поведай мне, Муза,
О том козлоногом, двурогом любителе песней,
Который с лесистого Пинда, дев пляшущих хору
Послушный, нисходит, когда от утесов

кремнистых
Его призывают, мохнатого пастбищей бога,
Веселого, коему милы и хólмы дубравны,
И горные дебри, и хладные кáмней вертепы.
Беспечный, он бродит туда и сюда в крутоярах;
То нежится сладко в прохладе реки

среброструйной,
То, с скалы на скалу шагая над пропастьми,
странник
Блуждает, любуясь рассеянным стадом в долине;
Нередко преследует ланей по мшистым

вершинам,
Нередко он рыщет по хólмам, убийца животных,
Ловец дальновидный. Тогда, усладившись охотой,
При праге пещеры сидя, на свирели играет
Он томные песни... Ах, птица весны

многоцветной,
Горюя с любовью, так не поет заунывно!
Ему припевая любезноречивые нимфы
И мило резвяся на бреге муравчатом пляшут,
И горное эхо на глас их отвечает звучно!

Богам и богиням его показал; восхитились
Бессмертные; более ж всех любовался им Бахус.
Тут *Паном* его нарекли, ибо *всем* был приятен.¹
Красуйся, царь-пастырь, и к песням склонись
безыскусным.

<1826>

¹ Пан от греческого слова *παν*, что значит «всё».

Ф. Ф. ИВАНОВ

Федор Федорович Иванов (1777—1816) родился в семье генерал-майора, бывшего приближенного Елизаветы, в дальнейшем обедневшего. Обучался Ф. Иванов в гимназии при Московском университете. В 1794 году он был выпущен во второй морской полк капитаном и принял участие в морской кампании против Швеции. В 1797 году вышел в отставку, однако материальные трудности заставили его через два года снова вступить в службу в Комиссию московского комиссариатского дела. К середине 1800-х годов относится сближение Иванова с Мерзляковым, З. Буринским, Н. Сандуновым. В это же время начинается и его литературная деятельность. В 1808 году появляется драма «Семейство Старичковых». В 1809 году Иванов переводит пьесу Ламартельера «Роберт, атаман разбойников», переработку драмы Шиллера (русское название «Разбойники») и пишет трагедию в стихах «Марфа-Посадница». В 1815 году принимает участие в журнале Мерзлякова «Амфион».

Основное издание сочинений
Ф. Иванова:

Собрание сочинений и переводов Ф. Ф. Иванова, ч. 1—4. М., 1824.

ПЛАЧ МИНВАНЫ

(Из *Оссиана*)

С сердцем, грустию исполненным,
И с лицом, от слез зардевшимся,
Ждет Минвана белогрудая
Мила друга с поля ратного,
С поля ратного, кровавого;
Поминутно обращает взор
К морю синему, туманному;
Там лишь волны с тихим ропотом
Плещут в дикий камень берега
И уныние родят в душе. . .

Вдалеке знамена взвевяли;
Сердце дрогнуло, забилося,
Слезы вдруг остановилися;
Взор вперился, неподвижен стал,
И дыханье притаилося.
Приближались тихо ратники,
Рино верные товарищи,
Стройно все текли в безмолвии;
Долу очи их потуплены —
В них печаль изображалася.
У Минваны сердце сжалосся,

Закипело и вдруг замерло.
Ах! неужли то предчувствие
Бед, мучений, злополучия? —
Тут герои прослезились,
И один из них, вздохнув, сказал:
«О Минвана белогрудая!
Не ходи ты в ночь туманную
На крутой брег моря синего;
Не склоняй ты уха чуткого
Ко зыбучим, ко немым волнам:
Не промолвят речи сладостной,
Страстна сердца не обрадуют!
О Минвана! не сиди одна
У покрыта камня мхом седым.
Ах! не жди ты друга милого;
Красны дни твои промчались:
Рино храброго не зреть тебе!
Тень его взнеслась на облако;
Голос тихий там с зефирами
У потока мы уж слышали
И на холме во траве густой;
Будто громы из багровых туч
На младое пали дерево,
И сребристый лист посыпался
С ветвей, только распутившихся»,
Так Минвану поразила весть, —
Подкосились ноги быстрые,
Пот холодный, будто град, с лица
Покатился на высокоу грудь.

«Так не стало сына юного,
Сына храброго Фингалова? . .

Половина сердца убыло
У Минваны злополучная!
Да рука, его сразившая,
Не обнимет вечно милья!
Пусть рукою той кровавою
Очи всех родных закроются! —
Но отрада ль то для бедная?
Ах! теперь я, как пустынный холм,
На котором век туман лежит.
Ах! одна я на сырой земле!
Дни постылы, жизнь несносная! —
Нет, не долго мне здесь мучиться.
Ветры буйные, пустынные!
Я недолго буду смешивать
В дебрях стон мой с вашим посвистом!
Побегу на поле ратное,
Где лежит мой друг поверженный.
Хоть в слезах пути не взвижу я,
Сердце к другу доведет меня.
Припаду там к телу хладному,
Я прижмусь к устам запекшимся
И слезами смою кровь с лица.

Что я вижу? ах! оружия!
Их несут твои товарищи;
Щит, на полы пересеченный,
Меч булатный переломленный,
Остра сталь копья притуплена,
Каленых стрел во колчане нет,
Лук упругий твой распущен зрю;
Ветр играет тетивой его!

На заре уж не воспрянешь ты
От глубока сна, мой милый друг!
Легкие твои псы верные
Не услышат сладка голоса,
На ловитву их зовущего!
Серна будет спать в беспечности
На покате холма ближнего.

Все тропинки зарастут травой
К дому друга опустелому,
И на ложе лишь совет гнездо
Птица вещь полунощная;
Крик ее встревожит путника
Средь осенней ночи темная.

О мой Рино, друг возлюбленный!
Льзя ль Минване пережить тебя?
Нет! — иду, бегу, лечу к тебе,
И, повергнувшись на грудь твою,
Я вздохну — вздохну в последний раз!

О мои подруги юные!
Не ходите по следам моим,
При согласном сладком пении
Не ищите вы несчастных;
Ваших песней не услышу я:
Я умру подле любезного».

НА ОТЪЕЗД К. Н. БАТЮШКОВА В АРМИЮ

Питомец юный муз,
Сын неги и прохлады!
Ты с Аполлоном рвешь союз
И отвращаешься от плачущей наяды.
За что? куда спешишь?
Иль гром прельстил тебя Беллоны?
Иль ищешь лавровой, кровавой ты короны?
На розы, мирты не глядишь!
Увы! зрю, шлем пером и сталью твой блистает,
Звучит булатный меч;
Мысль не в жилище валк витает,
Живет в боях среди кровавых сеч;
Пуста и кверху дном, зрю, чаша круговая,
И пиршествен разбит фиал,
И лира на стене забыта золотая,
И пальмовый венок завял.

Кто ж в дружеских пирах
К веселью первый даст *сигналы*?
И с ясной радостью в очах
С кем грянем мы и в арфы, и в кимвалы?

Ступай, жестокий друг!
Украсься лавром и честями;
Отечество зовет, простись с друзьями.
Пусть над тобой витает добрый дух,
Хранит тебя в боях кровавых
И шепчет на ухо об нас;
Не забудь друзей средь бранной славы.
Прости! ступай и — в добрый час!

НОЧЬ НА МОГИЛЕ

Арфа, расстроясь,
Звук издает
Скорбный, унылый,
Сходный с душой;
Сердцу не внятен
Радости звук!

Грустно без милой!
Жизнь мне — печаль!
Смолкни ж, презренна,
Смолкни, любовь!
Мне ли блаженство
В жизни вкушать?

Снидем к могилам.
Здесь тишина,
Жребий усопших
В душу прольет
Сладость надежды
В гробе заснуть.

Ночь на вселенну
Бросила тень;
Бледный в тумане

Месяц взошел;
Ветер осенний
Свищет в полях.

Воеет дубрава,
Ели скрипят;
Птица ночная
Стонет в дупле;
Колокол глухо
Полночь пробил.

Я лишь с природой
Бури делю.
Тучи багровы
Небо мрачат;
Тяжкая горесть
В сердце моем.

С нею, как с другом,
Дни я делю;
С ней, как с подругой,
Ночи не сплю;
С ней и в беседах,
С ней и один!

Ты, кто спознала
С грустью меня!
Взор твой сулил мне
Радостны дни, —
Льстивы обеты!
Счастья мечты!

Ты не увидишь
Мрачна лица,
Ты не услышишь
Стонov моих;
Я не встревожу
Сча́стных дней.

Будь ты покойна
С другом иным;
Пусть он владеет
Благом моим;
Пусть им хранится
Счастье твое!

Грусть истошила
Сердце мое;
Мало осталось
Дней мне считать;
Взором померкшим
В землю гляжу.

Слезы, остатки
Скорбной души!
Лейтесь на гробы!
Скоро засну
В тихой могиле
Сладостным сном!

РОГНЕДА НА МОГИЛЕ ЯРОПОЛКОВОЙ

Перестаньте, ветры бурные,
Перестаньте бушевать в полях;
Тучи грозные, багровые,
Перестаньте крыть лазурь небес!
Месяц бледный, друг задумчивый
Душ, томящихся печалию,
Осребри лучом трепещущим
Холмы, дремлющи во тьме ночной;
Освети тропу, проложенну
Не стопами путешественных,
Не походом храбра воинства,
Не копытами коней его;
Освети тропу, проложенну
Девой страстной, злополучною
Не ко граду, не ко терему,
Но к могиле, к гробу мрачному.

Наступил уже полночный час —
Утихают ветры бурные!

Месяц ясный, как серебрян щит
Друга, милого душе моей,
На лазури стал и смотрится
В зыбки волны тиха озера.
Луч ударил в берег каменный;
Преломился и, рассыпавшись
По долине и крутым холмам,
Осветил тропу любимую.
Сердце скорбное! пойдем скорей
Ко холму, куда сокрылися
Ясны дни твои и радости,
Все надежды, все желания.

Вот те холмы величавые,
Прахи храбрых опочинут где;
Вот и камни те безмолвные,
Мхом седым вокруг поросшие.
Вижу сосны те печальные,
Что склоняют ветви мрачные
Над могилой друга милого;
Черны тени их, угрюмые,
Разостлались в душе моей.
Вот цветы полупоблекшие;
Их в слезах вчера рассыпала
Одинокая на всей земле.
О любезный друг души моей,
Из пригожих всех прелестнейший,
Глас чей слаще соловьиного,
В рощах он когда любовь поет;
Разговор был чей приятнее
Звуков арфы златострунная;

Чей в боях меч, будто молния,
Белый огонь струит по ребрам гор,
Рассекая так щиты врагов,
Сыпал искры ты вокруг себя!

Сколько сильных от руки твоей
Пало ниц! — И стоны скорбные,
Стоны томные, последние,
Донеслись в их дома ветрами;
Раздались в сердце матери
Или в сердце девы нежные!
О любезный друг души моей!
Я узнала по самой себе,
Как ужасна роковая весть,
Что осудит жить одной душой!
Ах! я знаю, каково, вздохнув,
Не слышать, чтоб повторил кто вздох!
Но, к свершенью муки лютыя,
Пред глазами поминутно зреть
Бед виновника безжалостна,
Люта брата Ярополкова! ..
Ах! рукою он кровавою
Жмет Рогнеды руку хладную!
Смолкнут сердца тут биения,
И душа, полна отчаянья,
Вырывается из тела вон.
Он вдову твою, печальную,
В брачный храм зовет с собой. . .
Нет, убийца друга милого!
Не клади змию на одр к себе,
Яд волью в уста злодейские

И мучения неслыханны
Принесу тебе в приданое...
Ах, друг милый сердца страстного!
Сколько слез горючих пролито!..

Лишь придут на думу горькую
Спознаванья речи сладостны,
Клятвы век хранить любовь в душе
И золотые дни протекшие;
Дух взиграет, сердце пламенно
Оживится жизнью новою.
Но, ах! кратки те мгновения;
Вмиг представится прощание,
Как сбирался ты в кроваву брань.
Вижу друга я в стальной броне
И чело высоко, гордое,
Тяжким шлемом осененное;
Щит серебряный с насечкою,
В нем играет луч полуденный;
Острый меч звучит в золотых ножнах,
А ужасное копьё твоё
Страх родит в сердцах бестрепетных;
Смертью лук самой натянутый,
За плечами колчан каленых стрел.
Как меж прочих древ высокий дуб,
Так меж храбрых отличался ты
Величавой сановитостью;
Как между цветов в моем саду
Всех фиалка заунивнее,
Так между подруг печальных я
Всех грустнее, всех несчастнее.

Нет часа́ мне в долгий летний день,
Нет минуты в длинну зимню ночь,
Чтобы сердце страстно, скорбное,
Чтоб душа осиротевшая
Отдохнули б от тоски своей;
Чтоб уста мои поблекшие
Оживилися улыбкою.
Речь разумная отцовская
И беседа милой матери
Мне невнятны; я ответствую
Их ласканьям только стопами...
Затворилось сердце грустное
Ко упрекам тихим родственным,
К утешеньям дружбы сладкия.
Слезы матери, как град, текут
На засохшу грудь дочернюю.
Слезы милые, бесценные!
Не согреть вам груди хладныя,
В ней тоска, как будто лютый мраз,
Зазнобила чувства, радости.
Сердце пламенно, обыкшее
Цвеств ласканьем друга милого,
Жить единым с ним дыханием,
Всё иссохло и трепещет лишь
При названьи имя сладкого,
Друга милого погибшего!..

Здесь с могилою безмолвною,
С безответным белым камнем сим,
Как с друзьями, я беседую;
Вопрошаю — но ответа нет.

Ах, ответствуйте, друзья мои,
Долго ль, долго ль мне скитаться
В белом свете, как среди пустынь?
Долго ль литься горючим слезам
На сыпучие желты́ пески?
Скоро ль смерть рукой холодною
Разорвет дней цепь тяжелую
И душою с нареченным мне
Обвенчает в хладном гробе нас?
Ах! ответствуйте, ответствуйте! . .
Вы молчите. . . всё безмолвствует;
Лишь тоска, как птица вещая,
В сердце крикнула, сказала мне,
Что заря потухла утрення,
Пали росы на зеленый лес:
Да падет слеза последняя
На могилу, скрывшу радости;
Да прерву беседу сладкую
Со друзьями безответными!
До полуночи, друзья мои,
До свиданья, сердцу милого.
Ах! когда бы солнце красное,
Холм теперь сей осветив лучом,
Осветило бы мой гроб на нем!

«ИЗ ТРАГЕДИИ «МАРФА-ПОСАДНИЦА»»

Хор и народ

(Слышен звон вечернего колокола.)

Глас, любезнейший народу,
Гнусна рабства грозный враг!
Глас, вещающий свободу
И тиранам гордым страх!
Век по стогнам раздавайся
И свободу здесь тверди,
В сердце вольном отзывайся,
И блаженство нам блюди!

Мы, славянские потомки,
Славу предков сохраним;
Их деянья чудны, громки
И уставы свято чтим.
Пусть в ужасной злобной доле
Вечно стонет тот из нас,
Кто неволю сладкой воле
Предпочтет хотя на час.

Хор народа

Пойдем, друзья! знамена веют
Врага свободы за стеной;

Венки лавровые вам зреют
Над Иоанновой главой.

Он ваших жен и чад любезных
Цепями хочет отягчить;
Да гибнет враг в мечтаньях вредных
И гибель всех подвластных зрит.

Помощник правде бог, — дерзайте!
Милее жизни вольность вам;
Урок ужасный, славный дайте
Неправым, хищным, злым царям!

< 1809 >

И дурака богатого и плута
В места почетны не сажал;
Когда был гордости и мести не причастен, —
Он року не подвластен;
В нем совесть чистая; он неба доблей сын;
Печаль его тиха, душа его спокойна:
Он в счастии мудрец, в несчастьи исполин,
И в бедствах зависти судьба его достойна!
А лъзя ль величию завидовать того,
Великим может ли тот даже и назваться,
Кого на высоте несчастные боятся,
Когда льстецы, как псы, облегли вокруг него,
На ждущих помощи и правосудья лают
И лаем шумным стон несчастных заглушают?
Увы! восстонет так несчастный перед ним,
Как пред кремнистою скалою волна стенает!
И как волна, в скалу ударясь, исчезает,
Погибнет бедный так, — но Крез неумолим!
Страданья чуждые ему ль считать бедою?
Прикрыта грудь его алмазною звездою,
И сердце сквозь нее не тронется тоскою!
Имущество сирот разделит он льстецам
И беззащитного осудит на мученье,
И дни, назначенны отчизне на служенье,
Размычет по пирам.
Страшись, Сарданапал! судьбина строго учит.
Царь гибкостью твоей наскучит
И взглянет на дела...
Тогда при праге бед тебя я ожидаю;
Тогда узреть желаю,
Тверда ль твоя душа, как в счастии была?
Без власти, равен став с гражданскими правами,

Иль, Александра ты восхитяся делами,
 Его высокою душой,
 Поклонник доблести одной,
 Звучи громовыми струнами
 И к подданным любовь, и милость ко врагам;
 Иль, обратясь к лужайкам и полям,
 Пой резвы шалости пастушек с пастухами,
 С обычною беспечностью твоей.
 Пускай прошли и нет уж тех счастливых дней,
 Когда поэты вдохновенны,
 Уважены, почтенны
 Любимцами богов, красавиц и царей,
 На лирах золотых бряцали
 И в гимнах доблесть чествовали;
 Порок их песней трепетал;
 Ни временщик, сын лести и
 коварства,
 Ни откупщик, ограбивший
 полцарства,
 Из уст их никогда привета
 не слышал;
 Как Энний, подвиги воспевавший
 Сципиона,
 Под мрамором одним с героем
 положен,
 И бард великий Албиона
 В ряду с царями погребен.
 Пусть в наш премудрый век не славы
 за могилой
 Певец за песни ждет:
 Пусть въявь или тайком Фортуне прихотливой
 Челом на рифмах бьет

И языком богов, как смиренную, торгует:
Памфил предателя Колбертом именует,
Водяный рядит Клит невежду в мудреца
Или в любимца муз бессмысленна писца;
Он, древних и назвать не зная именами,
Бессовестно зовет своими их друзьями,
И хвалит коль кого сей ложный Златоуст —¹
«Тот пишет, как Проперс, а этот, как Саллюст!»
Балобонов в своих посланьях всех ругает;
Все мелют только вздор, один лишь он поэт,

И ум его не постигает,
Как не кадит ему согласно целый свет;
И, в ожидании всеместна воскуренья,
Бред порет на стихах к себе от удивленья;
Ермил в журнале врак, судья всего и всех,

Он мерит ум своим аршином
И не поставит в смертный грех
Хвалить вздор, писанный поэтом-господином.
Увы! мой друг! всё это так!

В поэзию прокрались *отношенья*;
И зависть, и корысть таланты гонят в мрак!
Кто не страдал от их змиина уязвленья?

И ты, питомец муз, краса протекших дней
Тоскующей российской Мельпомены,
О Озеров! и ты в душе твоей,

Жестоко пораженный,
Стал жертвой и умолк для сырых росских муз!
Незаменим с тобой их рушенный союз!
Ах! долго им скорбеть, скорбеть без утешенья
И безотрадны слезы лить.

¹ Так мнимые наши ученые искажают имена древних.

Напрасны дерзких покушенья
Певца Донского нам на сцене заменить!
Увы! не знав страстей, сердец обуреванья,
Знав только меру дать стихам,
И Мельпомене в зло, и вкусу для страданья,
И в казнь чувствительным душам —
Прадоны новые друг друга лишь сменяют!
Их мета — *бенефис*, не лавровый веноч.
Зато рожденья в день они и умирают,
И провождает их в забвение свисток.
Мир вракам их — и мир ненарушимый!
Но отвратим наш взор от шалостей людских,
Уйдем хотя на час от козней городских
На брег Москвы-реки, под клен густой, любимый;
Там на лугу раскинем скатерть мы,
Поставим масло, сыр и полные фиалы,
Из коих, прыгая как звезды, брызги алы
Наш успокоят дух, развеселят умы.
В седьмой фиал в фиал мы, стукнув, обоймемся,
И солнце тихо сядет за горой!
Мы, проводив его, в десятый поклянемся
Пред мощной не роптать судьбой.

1811 (?)

ПОСЛАНИЕ КАТОНА К ЮЛИЮ КЕСАРЮ

Пусть рок благоволит измене дерзновенной,
Есть право для души, невинно угнетенной.
Нельзя его, нельзя со дски свободы стерть,
Непобедимое, святое право — смерть!
Надежда праведных! в нем бед моих отрада! —
Мне чуждо всё твое: и мщенье, и пощада.
Я жизнь свою могу располагать;
Катона ль Кесарю прощеньем унижать?
Нет! — дух незыблем мой, спокойством
огражденный;
В руках моих *Платон* и — меч
непритупленный:
Один бессмертие души моей гласит,
Другой свободу мне до смерти сохранит.
Увы! уж Рима нет; почто же жить Катону?
Он зрел во мне против тиранства оборону;
Я римлянам казал тобой изрытый ров,
Я тяжесть предвещал позорных сих оков;
Против тебя я шел с Помпеем в поле брани;
В крови рабов твоих мои дымятся длани,
Так, Кесарь, чьи сердца тирану преданы,
Те Кесарю рабы, но Риму — не сыны!

Знай: если пред тобой всё пало с униженьем,
Катон еще не пал Фарсальским пораженьем!
На бреге Африки, собрав остатки сил,
Против злодейства я свободу ополчил;
Мне изменил там рок, но дух мой тверд остался.
Хотя бы звук оков по всей земле раздался,
Хоть небо, возведя на трон тебя, злодей,
Предаст тебе во власть и Рим, и всех царей,
Хотя бы целый мир дрожал перед тобою, —
Перед изменником я не склонюсь главою.
Та сила, кою меч и лесть тебе дает,
Вселенную объяв, меня не достигнет!

Ступай и посрамляй Рим гордой колесницей,
Свободу скованну влечи твоей десницей!
Не мни, чтоб стон ее для римлян новым был:
Ты токмо то свершишь, чем Силла им грозил.
Яви им торжество счастливого злодея —
Вели перед собой нести главу Помпея
И в Капитолии, повергнув пред алтарь,
Воскликни: «Рим в цепях! и Юлий — мира
царь».

Там лики праотцев в пример сынам блистают,
Смотри: и в мраморе, тиран, они рыдают!
Их слышу, мнится, стон! — и стены потряслись,
Из камня хладного слез токи полились!
О мужи славные! скорбь вашу измеряю;
Колико гнусен взор изменника, я знаю:
Когда и вы уже страдаете в сей час,
Возможно ль превзойти мне твердость вас?
Блажен, когда сравнюсь!.. Катон изнемогает,
И, тверд в своих бедах, о Риме он рыдает.

Судьба таинственна! се царствиям урок!
Здесь в узах Рим — а там Катон льет слезный
ток!

Воззри, тиран, воззри, успехами хвалися!
Азийские брега от крови упилися.
Там пали троны вокруг, там пали тьмы людей,
Там всё тебе гласит: «О Кесарь! ты злодей!»
Воззри ты на народ, красу и честь вселенны,
Владыку зрели в ком цари поработенны;
Тобой он посрамлен, повержен и в цепях;
Зри, падая, как Рим влечет вселенну в прах,
И в будущем познай отечество злославно,
Тиранам, извергам покорное, безгласно,
Гордыни произвол приемлюще в закон!
Вот все дела твои — вот страждет чем Катон!
Стыдись, тиран, стыдись в кровавой сей короне!
Не римлянин уж ты вселенныя на троне.
Сколь выше я тебя! — за Рим мой век угас;
Катон в лучах, а ты — в бесчестье ты погряз!
И можно ль чью судьбу с твоей сравнить
судьбою?

Раскаянье, как тень, отныне за тобою;
За слезы римские оно тебе отмстит,
Фарсальски ужасы везде тебе явит.
Чьи тени воют там?.. О страшный вид измены!
Се трупы сограждан, растерзанны их члены!
Се падший здесь Помпей к отчизне за любовь,
И римска вокруг тебя дымится морем кровь!

Но мнишь ли, что твой век спокойно закатится?
Злодей! меч мщения в безмолвии острится;

Поверь, готова мзда злодействам твоим!
И издыхающий — еще ужасен Рим!

Но, ах! вотще герой, ко мести устремленный,
Восстанет, кровию тиранской обогранный!
Сим подвигом беды умножатся стократ.
Увы! злодеями стал ныне Рим богат!

Итак, свершилось всё! отечество погибнет!
Но не узрит Катон, как римлян стыд постигнет,
Как славу и богов граждáне предадут
И милостей искать к тирану потекут!
Так, Кесарь! Рим уж раб: мир выю преклоняет;
Катон — не раб: тебя и мир твой презирает!

О вы, умевшие в себе соединять
Доброты мирные с искусством побеждать,
Герои славные, чьи подвиги высоки
К величью римлянам открыли путь широкий:
Бестрепетный Камилл, кем в прах низринут
галл;

Торкват, и ты, кем пал ужасный Ганнибал,
Презревшие врагов, гоненья рока люты!
Примите днесь в ваш лик, герои пресловуты,
Примите, отвратя от мира взор и слух,
Остатки римские — Катона скорбный дух!

Другой, чтобы не пасть в томленьи нищеты,
Злой хищник, мчится вслед обманчивой мечты
И чаёт золотом ограбленной вселенной
Увращать беды, плод жизни развращенной.
Кому в борьбе властей, и бедствий, и сует
Здесь нечего терять, тот всё приобретет.
Ужели и Катон для брани брань возлюбит?
К чему ж тогда, увы! к чему ему послужит
Тот доблестный дух, в волнении умов
Непотрясаемый, как камень средь валов?

В тот стан или в другой сын Ромула строптивый,
Ворвавшись яростно с победой злочестивой,
Явит свое чело, покрытое стыдом,
И, кровью сограждан омыт, в свой внидет дом, —
Когда Катон был с ним, Катону осужденье!
О боги! — нет! .. да прочь отыдет преступленье
От доблести сея, не знающей укор!
Не дайте, чтоб в веках покрыл ее позор,
Чтоб неповинные, доселе чисты длани
С отцеубийственным мечом явились в брани!
Так, будь участник ты — и над твоей главой
Все бедствия падут, рожденны сей войной.
Кто не похвалится, изъязвленный средь бою,
Что смерть ему дана Катоновой рукою!
И всяк за смерть свою уже сторицей мстит,
Коль смертью своей Катона он винит.

Спокойство среди зол — отличие душ высоких!
Так, в безднах воздуха небесного далеких
Течет светил собор в предписанный им путь;
Раздор стихий до них не смеет достигнуть.

Трясется дольний мир, колеблемый громами,
Олимп покоится и светл за облаками —
Непременяемый таков природы чин.
Но сколько Кесарю для торжества причин,
Как сердце Юлия от радости взиграет,
Когда во стане он, неистовый, узнает,
Что добродетельный и твердый сей Катон
Междоусобия стремленьем увлечен!
И за него ли ты или за виды чужды,
Ему в том вовсе нет иль очень мало нужды.
Уж Кесарю Катон желанну платит дань,
Когда в мятежных прях простер с мечом
он длань.

Сенат, патриции и консулы смятенны
Текут под знамена, Помпеем водруженны.
Катон! склонися к ним сей добльственной гла-
вой —

И Кесарь лишь один свободен под луной.
Но если ты за Рим, за отчески законы,
Но если станешь в бой граждан для обороны,
Тогда, Катон, я твой, во власти я твоей;
Тогда располагай ты жизнью моей!
Быть может, всё теперь усилие напрасно.
Отечество, увы, отечество злосчастно!
Но знай, не Кесарь мне и не Помпей мне враг;
Брут будет враг тому, победа в чьих руках!»

Изрек, — Катон подъял взор, мглою покровенный,
И потекли из уст слова сии священны:
«Ты право мыслишь, Брут! междоусобна брань —
Зло тяжко, коим нас казнит всевышних длань;

Но я последую нетрепетной стопою
В путь, мне назначенный таинственной судьбою.
Преступником меня коль боги учинят,
Пусть в преступлении себя и обвинят!
Но кто, о пылкий Брут, с душой несокрушенной
Спокойно может ждать падения вселенной?
Народы дикие, сыны чужих морей,
Участие берут в ужасной битве сей;
Цари, рожденные под дальными звездами,
Делимые от нас законом и страстями,
Вкруг римских днесь орлов стеснились, как рой;
А я, я, римлянин, — могу ль вкушать покой?
О всемогущие, о боги всеблагие!
Да падающий Рим, тряся концы земные
(Коль так положено), пусть суд ваш совершит,
Но пусть в падении Катона раздробит!
О Рим, отечество, любовь и жизнь Катона!
Погибнем вместе мы, не зная царя и трона!
И не расторгнуть нас, доколе не приму
Я вздох последний твой и пепл не обниму!
О небеса! итак, весь Рим, обитель славы,
Всё жертвой должно быть: свобода, честь
и нравы!
Не скроем ничего из жертвы роковой
И склонимся во прах под тайную рукой!

О если б мог собрать все римлян преступленья
На собственну. главу, и — жертва очищенья —
Возмог бы я предстать пред яростных богов!..
Как славно Деций пал средь вражеских рядов!
Пусть оба воинства, свирепствующие ныне,
Катона одного увидят посредине!

На стрелы я пойду, пойду против мечей:
Открыты взор и грудь, — стремися, сонм
смертей!

Излейтесь на меня, и язвы, и мученье!
Блажен, коль кровь пролью отчизне искупленьем,
Коль гибелью моей престанет гнев богов!
Но для чего губить сии толпы рабов,
Покорный сей народ, к ярму уже готовый,
Способный лобызать тирана скиптр свинцовый?
Меня единого потребно истребить,
Меня, стремящегося законы оградить!
Пролита мною кровь, и смерть моя блаженна —
Свободы торжество, печать ее священна!
Кто без меня возмнит раздоры воспалить,
Не узрит нужды тот к оружию прибегать.
Но до сего, о Брут! в бездействии ль томиться?
Рим, Рим зовет сынов, и должно ополчиться!
Коль победит Помпей, кто может ожидать,
Чтобы он возмечтал вселенной обладать?
Пойдем, и под его мы станем знаменами.
Да знает он, что брань не за него с врагами!
Коль ратником Катон в рядах Помпея стал,
Когда сразим врагов — победу Рим стяжал».

МЕЛАНХОЛИЯ

Вот здесь, где черный бор шумит,
Густые ветвия тень мрачную раслали,
Где воды сонные едва ручей катит,
Здесь Меланхолия, сестра Печали,
На локоть опершись, сидит,
В глубоку думу погруженна.
Тоска ее души известна только ей;
Таит ее от всех, и даже от друзей.
Бежит свидетелей, — уединенна,
Сокрыто слезы льет!
И слезы сладки ей! — как ландыш росу пьет
И ею оживает,
Так Меланхолия слезами грусть питает,
Предметом лишь одним вся мысль ее полна,
Едино имя повторяет.
Мечтой обольщена,
В восторге назовет и тусклыми очами
Блуждает вокруг и ждет — и тщетно ждет она;
То взоры томные наполнятся слезами
И, неотертые, засохнут слезы сами,
То посреди подруг случится вздохнуть —
Заведает сей вздох одна стесненна грудь.
Иль робко иногда произнесет желанье,
А сердце в тот же миг: «Напрасно упованье!..»

Напрасно! строгий рок! — и упования нет,
Сего последнего несчастных обольщенья,
Сего мгновенного в страданиях усыпленья!
О Нина! для тебя печален, мрачен свет.
Денница для тебя как будто не всходила;
Ты на заре еще твоих весенних дней
 Рассталась с счастьем души твоей
И радости твои все в землю положила.
Вотще в осеню ночь, как облака грядой
 Над *Бородинскою* плывут равниной,
Кресты могильные осветятся луной,
И закачает бор печальною вершиной.
Вотще, водимая сердечною тоской,
Подобно призраку или унылой тени,
 Блуждаешь ты среди могил!
Вотще, перед крестом ты ставши на колени,
Стеная, ждешь, чтоб стон твой повторил
Из-под сырой земли глас сладкий, незабвенный!
Увы! твой друг почил глубоким, вечным сном.
Колышется ковыль над гробовым холмом —
И нет отзыва, нет! — твой стон неповторенный,
 Пустынным ветром разнесенный,
 Отдастся в сердце лишь твоим.
Вотще зовешь, вотще ты в думе исчисляешь
 Надежды всех протекших дней
 И час ужасный вспоминаешь,
Когда в последний *он*, душа души твоей,
 Прижав тебя к груди своей
И показав на Бородинско поле,
 Сказал: «Не жди меня, доколе
Не встанут здесь холмы из вражеских костей,
Доколе на Руси, на родине моей,

Врага останется хоть след незаметный!..»
Сказал — и панцирь закаленный
Вздыхался на груди стесненной,
И тяжкий, тяжкий вздох речь друга перервал..
— «И Нина за тобой! нет, нет! я не отстану!
Где ты падешь, я там увяну!»
— «Нет, Нина! — он сказал, —
Коль любишь ты меня, коль я того достоин,
Не множь опасностей присутствием своим.
Один иду на брань надежен и покоен;
Покоен о тебе — и я непобедим!
Но коль паду, врагом глубоко изъязвленный,
Ты врачевание на язвы мне пролей.
Я, к жизни возвращенный
Любовию твоей,
Ужасней, гибельней явлюсь перед врагами!..
Иди ко терему и горькими слезами,
О Нина, милый друг!
Не ослабляй мой дух». Сказал — и трубы загремели!
И от мечей отпрыгнул луч,
Как молния из грозных туч.
У Нины чувства онемели.
В последний он вздохнул,
На полумертвую взглянул
И к небесам возведши руки:
«О боже! коль сей миг — миг вечных разлуки,
Спаси Отечество и Нину сохрани!..
Я дорого продам мои злодею дни!»
Опомнилась — но друг уж за стенами.
Не слышит труб и — ах! — не зрит
И праха, ратными взметаема стопами.

Напрасно вслед его свой взор стремится;
Не видит глаз, и слух не чувствует!
Утихло всё... лишь дух тоскует!..
 Проходит день,
И ночь расслала мрачну тень.
Вокруг Москвы всё небо запылало;
Кроваво зарево сияло
 Над станом от огней,
И сон не досягал до Нининых очей;
И в тереме своем, как призрак бледный, бродит;
Тут грустно! тут тоска! — и места не находит.
Пошла погоревать на каменно крыльцо,
И слезы каплют на кольцо.
 Но глядь — и сердце сжалось!
Кольцо венчально распаялось,
И пес любимый друга взвыл, —
 Хлад душу обложил...
«О милый друг! — она взывает, —
Иль всё в природе предвещает,
Что мне тебя уж не видать
И сиротою жизнь унылу коротать!»
Ты, сердце, угадало
Несчастье свое!
Любезного не стало,
Он встретил грудию копые.

ГИМН,

**ПЕТЫЙ В КОНЦЕРТЕ, ДАННОМ РОССИЙСКИМИ
МУЗЫКАНТАМИ В ДОМЕ ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ С. С. АПРАКСИНА, В ПОЛЬЗУ РОЖДЕННОГО
И ВОСПИТАННОГО В МОСКВЕ МУЗЫКАНТА
Г. РЕЙНГАРДА, ЯНВАРЯ 7 ДНЯ 1814 ГОДА**

О Кутузов, истребитель
Человечества врагов!
Ты отечества спаситель!
Богатырь ты всех веков!

Хвала, хвала тебе, герой!
Попран, растерзан галл тобой.

Слава вечно не затмится,
Не увянет твой венок;
Гул чрез веки так промчится,
Как чрез горы чистый ток.

Хвала, герой, тебе, хвала!
Россию длань твоя спасла.

Тень священная! прострися
К нам из облачных долин!

Кликом нашим взвеселися;
Память мы твою блажим.

Из века в век тебе хвала!
Россию длань твоя спасла.

1814

А. Ф. ВОЕЙКОВ

Александр Федорович Воейков (1779—1839) провел детство в Москве. В 1791—1796 годах он учился в Благородном пансионе при Московском университете. В 1796 году вступил в конную гвардию. В дальнейшем он подвергся правительственным гонениям, был исключен из службы. Видимо, это определило его резкую антиправительственную настроенность в годы царствования Павла I. В 1801 году Воейков вошел в «Дружеское литературное общество», собрания которого обычно происходили в его доме в Москве, у Девичьего монастыря. В 1812—1813 годах Воейков находился в действующей армии, в 1814—1820 годах занимал кафедру русского языка и словесности в Дерптском (Тартуском) университете. После 1820 года он переехал в Петербург и сделался профессиональным журналистом. Печататься Воейков начал рано. Уже в конце XVIII века появляются его стихотворения в изданиях, связанных с Московским университетом. Первое стихотворение — «К живописцу» — в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (1797, ч. 16). В 1816 году отдельным изданием вышел его вольный перевод поэмы Делиля «Сады». В начале

XIX века Воейков сотрудничает в «Вестнике Европы», «Трудах общества любителей российской словесности при Московском университете», «Русском музее», «Сыне отечества», «Соревнователе просвещения и благотворения», «Полярной звезде». Кроме того, он был издателем ряда журналов и газет: «Русского инвалида» (1822—1839), «Новостей литературы» (1822—1826), «Славянина» (1827—1830) и «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» (1831—1836).

В молодости Воейков пользовался репутацией вольнодумца и либерала. Однако все более резко проявлявшаяся с 1820 года литературная и политическая беспринципность Воейкова привела его во вторую половину жизни в лагерь реакции.

Стихотворения Воейкова, рассеянные по разным изданиям, никогда не были собраны воедино.

Издание стихотворений А. Ф. Воейкова:

«Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в.». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1959.

САТИРА К С<ПЕРАНСКОМУ> ОБ ИСТИННОМ БЛАГОРОДСТВЕ

С<перанский>, друг людей, полезный
гражданин,
Великий человек, хотя не дворянин!
Ты славно победил людей несправедливость,
Собою посрамил и барство, и кичливость.
Ты свой возвысил род; твой герб, твои чины
И слава — собственно тобой сотворены;
Твои после тебя наследуют потомки
Любовь к отечеству — не титулы только громки.
Однако же нельзя дворянство вздором счесть,
Когда, с заслугами соединяя честь,
Почтенный дворянин, блистая орденами,
Быть хочет так, как ты, полезен нам делами.
Дворянство помнит он лишь только для того,
Чтобы достойным быть отличия сего;
Заслуги праотцев своими умножает —
И честь их имени еще светлей сияет!

Напротив, не могу я вытерпеть никак,
Чтобы воспитанный французами дурак
Чужим достоинством бесстыдно украшался
И предков титулами пред светом величался.
Пусть праотцев его сияет похвала,
Пускай в истории бессмертны их дела,

Пускай монархи им, за верное служенье,
Пожаловали герб, дипломы в награжденье, —
Гербы и грамоты в глазах честных людей
Гнилой пергамент, пыль, объедки от червей,
Коль, предков славные являя нам деянья,
В их внуке не возжгут к честям порезнованья.
Когда без славных дел, тщеславием набит,
Потомок глупый их в презренной неге спит,
А между тем сей князь, боярин этот гордый,
Надутый древнею высокою породой,
Глядит, как будто он нас царством подарил
И бог не из одной нас глины сотворил;
Как будто с Минихом делил труды и славу
Или с Суворовым взял гордую Варшаву.
Неужли вечно мне глупца сего щадить?
Однажды навсегда хочу его спросить:
Скажи, о дивный муж, отличное творенье!
Какие у людей животные в почтенье?
Мы дорого ценим ретивого коня
За то, что статен он, горяч, как пыл огня;
За то, что никогда в бегу не утомлялся
И на ристалище стократно отличался;
Но будь Алфанов он или Баярдов внук,
Да кляча по себе, — тотчас сбывают с рук;
Прощай почтение и к племени, и к роду!
На нем тащат дрова или привозят воду.
Зачем же хочешь ты слепить нас мишурой?
Родня великим ты — примеры пред тобой:
Румянцев и Орлов — среди громовых звуков;
В посольстве — князь Репнин, в сенате —
Долгоруков;
Спаситель Ёропкин от язвы, от врагов;

Любители наук — Шувалов, Муравьев;
Херасков — наш Гомер, воспевший древни брани,
России торжество, падение Казани;
Поэтов красота, вельможей образец,
Державин — славных битв, любви, богов певец:
Он движет в нас сердца, златые движа струны;
Он нежен, как любовь, и звучен, как перуны.

К заслугам и честям премножество дорог!
Наследник бабушкин и маменькин сынок,
Не на одних словах — будь барин самым делом;
Великих сих мужей поставь себе примером:
Будь честен, как они, — и княжеством хвались;
Полезен обществу — и предками гордись;
Пусть бабушка твоя от крови будет царской,
А прародителем князь Курбский иль Пожарский.
Хоть ты не внучек их, но можешь внучком слыть, —
Кто смеет Минина породой укорить?
Но знай, что кто в дедах считает Геркулеса,
Не должен быть ни трус, ни глупая повеса.
Но ты не внемлешь мне! — ты вечное пятно,
Бесчестье праотцев. Я вижу то одно,
Что ты дурак, подлец, бездельник благородный,
От корня доброго гнилой сучок, негодный...

Остановись, мой дух, в досаде на бояр,
Ты слишком далеко простер усердья жар!
Со знатным будь всегда учтивее, скромнее.
Суровость усмирив, спроси его нежнее:
«Как древность рода вы изволите считать?»
— «О! я за триста лет могу вам доказать,
И доказательство так ясно и бесспорно:

Дипломы, грамоты!..» — «Помилуйте, довольно!»
А кто поручится, когда вас смель спросить,
Что не изволили прабабушки шутить
Над знаменитыми своих супругов лбами,
Простонародными украся их рогами?
И не было ли встарь проворных молодцов,
Которые у сих почтенных старичков
Чистейшей крови ток в теченьи возмутили?
Иль ваши праотцы других счастливей были
И в длинный ряд веков, на грешной сей земли,
В родство с Лаисами ни разу не вошли?..
Притом, как русскому, вам должно быть известно,
Что местничество здесь нимало не совместно;
Под скиптром благости для всех права даны:
Полезные сыны отечеству равны,
И самый древний род, богатое наследство
Не есть отличное для службы царской средство.
Но если как-нибудь, ошибкой или так,
И выйдет в знатный чин ленивец и дурак,
Почтения к нему нимало не прибует —
Он из простых глупцов глупцом чиновным будет.

Отечество мое! ты будешь ввек цвести;
Для всех сынов твоих отверстые пути
К победе на бою, к триумфу после боя!
Из бедного слуги соделал Петр героя,
Который не родством, а сам собой блистал —
И выбор мудрого заслугой оправдал.

Пускай же мальчишки болтают и танцуют,
Потомки воинов всю жизнь провальсируют;
Пусть эти гордецы, без чести, без заслуг,

Стараются набрать толпу большую слуг,
Лакеев отличать ливрейными цветами
И с ног до головы обшить их галунами.
Невежде нужно быть отличну от людей
Кафтанов пестротой и статью лошадей;
Но горькие плоды их старость ожидают,
Презрение и смех на бал сопровождают.
Меж тем, С<перанский>, ты, трудясь, как
муравей,
Чин знатный заслужил прилежностью своей;
Твоею доблестью отечество гордится:
Осмелится ль с тобой дворянский сын сравниться,
Который газы лишь и фейерверки жжет
Или на псарне жизнь прекрасную ведет?
С<перанский>, ты наук, словесности любитель,
От сильных слабому покров и защититель;
Ты духом дворянин! трудися, продолжай,
Вослед за Сюллием, за Кольбертом ступай;
Не орденской звездой — сияй ты нам делами;
Превосходи других душою — не чинами;
Монарху славному со славою служи;
Добром и пользою вселенной докажи,
Что Александр к делам людей избрать умеет
И ревностных сынов отечество имеет.

К МОЕМУ СТАРОСТЕ

Отечества, семьи и барина кормилец,
Брадатый староста, безграмотный мудрец,
В повиновении, в убожестве счастливец,
С тобой поговорить мне должно наконец!
Дивишься ты, что я, и праздный, и богатый,
И независимый, ропщу на жребий свой,
Тогда как ты, блажен средь дымной, низкой хаты,
Не ропщешь на судьбу и весел над сохой.
Ты веруешь в душе, что стужа, зной, работы
Здоровей праздности; что барин должен знать
Одних лишь рысаков да псов своей охоты
И, как придверный пес, жиреть, лениться, спать.

Мой друг! ты белый свет и город знаешь худо!
Одним покроем ввек шьешь длинный свой сермяк!
Когда б хоть на два дни с тобой рок сделал
чудо,

Обривши бороду, надев короткий фрак,
В один карман вложил предлинные экстракты
Из крючкотворных дел, в другой карман часы,
Грусть, скуку поверять; дал в руки мел
и карты

И два хохла на лбу поставил для красы;

Когда бы Кривотолк по силе уложенья,
По силе грамоты о вольности дворян
Хватайке отсудил часть твоего имения
В противность истине, в противность всем
правам;
Когда бы родственник к тебе из сожаленья
Проворно схоронил в свой родственный карман,
В сей ненасытный гроб монет, твои алтыны;
Когда бы друг тебя наверну обыграл, —
Скажи, увидевши столь нежные картины,
Как ты о счастья моем бы думать стал?
Прибавь же к этому всех большее несчастье —
Зреть торжествующим неистовый разврат,
В судьбе обманутых живое брать участие
И видеть совести с фортуною разлад;
С грабителем казны избличенным вместе
Быть в лучшем обществе, в почетнейших домах,
С злодеем, коего давно на лобном месте
Нам видеть надо бы у палача в руках;
Смотреть, как делатель фальшивыя монеты
Для света целого дает богатый пир;
Педанта Кольбертом зовут в стихах поэты
И как разбойника признал владыкой мир. —
Тогда бы ты сказал, спеша под кров домашний:
«Я лучше соглашусь взрыть целый огород,
Простую воду пить, вкушать простые брашны
И в хижине своей укрыться от хлопот!
Ах! я не ведал бы в объятиях семейства,
Кому судьба людей в градáх поручена,
Где всё на откупу, и самые злодейства,
Где всё продажное: и совесть, и жена!
Там не видал бы я людей в крестах без веры,

Без чести в почестях, в почтеньи без заслуг,
За деньги вышедших в дворяне, в офицеры
Из целовальников, из самых подлых слуг!
В селе не знал бы я, что даже в храмах веры
С смиренной харею, с двуличною душой,
Во всеуслышанье вздыхая, лицемеры
Смышляют обмануть и бога, и людей!»
Но если б сверх того ты, сделавшись поэтом
За тяжкие своих родителей грехи,
Любил читать, читать, читать пред целым светом
Послання, басенки, водяные стихи,
Где и без «абие» слов много бестолковых,
Любил и трепетал, чтоб ваксы и сельдей
Купец не обернул сатирою твоей;
Чтобы поэма в честь, во славу дел Петровых
На полке не сгнила — кус лакомый червей!
Чтобы мессии в честь, настроя громку лиру,
С Сурминым Клопштоку дерзнул идти вослед,
Не написать, как он, на здравый смысл сатиру
И в сумасшедших дом в жару не залететь, —
Тогда бы ты узнал, что тяжело поэту
И русские стихи порядочно писать,
Что надо быть, как я, бессовестну, чтоб свету
Свой жалкий бред в стихах французских
предлагать.

О ты! который жил всегда со всеми в мире,
Который никого в свой век не проклинал,
Ты проклял бы и жизнь, и страсть играть на лире
И Феба с музами в ад к дьяволу послал!

Теперь, мой друг! сравни,образи прилежно
Быт барский хлопотный и тихий свой удел.

Ты жизнь ведешь умно, спокойно, безмятежно,
В крёстьянстве быть всегда свободным ты умел;
А я!.. о верная примета сумасбродства!
Свободный званием, но в самом деле раб,
Раб честолюбия, раб страсти стихотворства,
Я жадности писать сопротивляться слаб!
Свобода не одно с испорченною волей —
Поверь: бедняк, как ты, стократно веселей,
Стократ довольнее своей смиренной долей,
Чем сонм философов, вельможей, богачей.
Поверь... и Греция, и Рим тебе порукой,
Сии невольники — Езоп и Эпиктет...
Ах! я забыл, что ты не просвещен наукой,
Что незнаком тебе республик древних свет...
Но ты и в этом прав: с простым и добрым
сердцем
И с маленьким умом, довольным про себя,
Как я желал бы быть таким, как ты, младенцем!
Как рад бы я прийти учиться у тебя!
Не зная римских праз, живешь в ладу
с соседом;
Без математики ты знаешь свой рубеж
И, веры праотцев не искажая бредом,
Постишься, молишься и тихо крест несешь.
Не спрашиваешь ты Жан-Жака и Платона,
Как целомудренно жену свою лобзать;
Умешь выполнить свой долг без Цицерона;
Готов последний грош убогому отдать.
Ты трезв, трудолюбив, спишь на пуку соломы,
Работе, отдыху — всему урочный час;
С французской кухнею, с шампанским
незнакомый,

Чертогов, алтарей, престолов сокрушитель,
Не уважающий законов естества,
Враг человечества, враг дерзкий божества,
Которого рука полмира оковала
И угрожать тебе неволею дерзала,
Которого алчбе подлунный тесен круг! —
Твой росс есть ада враг, твой росс есть
неба друг!

Великосердая решительница споров
Меж царствами земли! тобой рожден Суворов,
Петр — диво, Александр — краса земных владык,
И Задунайский вождь, и Крымский, и Чесменский,
И громом свергший в ад Денницу
князь Смоленский.

О, да прильпнет навек к гортани мой язык,
Десная пусть рука моя меня забудет,
Когда не ты, не честь твоя и слава будет
Восторгов, хвал моих единственный предмет!
О русская земля, отечество героев!
С благоговением тебе дивится свет.
Не драгоценностей ты ищешь среди боёв,
Не царства, не града прияла мздой побед,
Но благодарность лишь единую стяжала
И, лавроносная! едино удержала
Из прав, присвоенных над слабыми мечом,
Лишь право быть царям и царствам образцом
Великодушия; народам показала,
Как независимость и веру защищать,
Как жизни не щадить, как смерть предпочитать
Ярму железному, цепям позорным рабства.
В сердцах сынов твоих пылает бранный жар,

И пусть пылает он! еще один удар —
И идол сокрушен, наказано коварство,
И в преисподняя низвергнуто тиранство!

О росс! вся кровь твоя отчизне — довершай!
Не Риму — праотцам великим подражай.
Смотри, перед тобой деяний их зеркало;
Издравле мужество славян одушевляло;
Царица скифская, рассеяв персиян,
Несытного кровей главу отъемлет Кира;
Опустошителю Персэполя и Тира
Вещают их послы: «Богами скифам дан
Плуг — чтоб орать поля, меч — биться

за свободу;

Будь другом, не врагом ты храброму народу.
Женоподобных нет меж нами индиян;
Нет тканей пурпурных, смарагдов, перл и злата,
Стрелами, копьями и бронями богата
Лишь Скифская земля. Мужей увидишь здесь --
За независимость все, все мы ополчимся,
Или смирим твою неистовую спесь,
Иль ляжем все костями; тебе ж не покоримся!»
Мамай с ордой татар, как волк на верный лов,
Зубами скрежеща, бежит из нырищ, голодный;
Но, развернув хоругвь свободы, на врагов
Димитрий с громами — и варвар кровожадный
Нашел не добычу, а вечный срам и смерть.
Лев скандинавский, Карл, грозит Россию

стерть,

Мечтает увенчать себя бессмертной славой,
Но погребает честь и гордость под Полтавой.
Стремится Фридерик Европу возмутить,

По воле править мнит вселенная судьбою;
Но равновесие меж царств восстановить
С полками Салтыков едва выходит к бою —
И низложен других народов покоритель,
Непобедимости исчезнула мечта.
И се восстал еще ужаснейший губитель!
И вновь обеты всех к тебе: «Гряди, спаситель!
Гряди, о росс! вина такой войны свята;
Но, возвратив покой отчизне, миру кровью,
Над миром царствуй ты не ужасом — любовью».

КНЯЗЮ ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ СМОЛЕНСКОМУ ¹

Князь славы! именем народов и царей,
Иноплеменничья избавившихся плена,
Объемлю я твои священные колена —
О, будь благословен, верховный вождь вождей,
Завоевавший гроб священных свободы,
Расторгший рабства цепь и сокрушивший бич!
Тебе со плесками воскликнули народы;
Тебе звук арф, глас труб, торжеств и славы клич:
Ты не отечества — вселенная спаситель!

Уже, господствуя, Европу зря в цепях,
В царубийственных вращая скиптр руках,
Играл судьбою царств коварный похититель;
Уже, пронырствами и дерзостью велик,
На троны возводил и низводил владык;
Безверный потоптал законы и святыню,
Мнил мир весь положить в безлюдную пустыню,
Мнил видеть славы храм вдали уже отверст,
Мнил свой поставить трон высоко, выше звезд.

¹ Написано до получения плачевного известия о кончине великого нашего полководца.

И тьмы тем, всадники, кони и колесницы,
Тристаты и пешцы по манию десницы
Готовы ринуться. Как сонмы вешних вод,
Свирепые, сломив спасительный оплот,
Уносят жижины и затопляют нивы,
Пастух, оцепенев, зрит прежде край счастливый
И плод рачения лет многих и трудов
Добычей жалкою свирепости валов, —
Так галлов полчища несметны, нечестивы,
В Россию хлынули и полились в Москву.
Успехом упоен, враг верит горделивый:
«Росс склонит под ярмо позорное главу!»
Но гибельны пути лукавы и строптивы;
И справедливый бог не тако совещал;
Он перстом на тебя монарху указал.
О, вид торжественный! о, зрелище прекрасно!
Доверенностию полсвета окружен,
Поник седым челом, коленопреклонен,
Не в лыстех мужеских, не в силе войск ужасной,
Не в конской крепости — слезящий взор простер,
Ты в боге положил сердечно упованье
И молишь, в бой идя за веру, за царя,
Благословить твое святое начинанье.
И не умедлил бог! кто сильный постоит?
Ты стал в лице врагам, как ангел-истребитель:
Все вспять! полки, вожди, сам мира
победитель. . .

Вослед им мразы, глад, отчаяние, стыд
И твой губящий гром — посол твоей десницы,
Как вышнего глагол, несущий казнь для злых,
От коего дрожит в основах мир своих;
И где Сеннахериб? где кони, колесницы?

Проклятый господом, исторгнут корень злых;
И на распутиях их трупы воссмердели,
Как жабы мерзкие, излезшие из блат.
И россы цепи рвать германцев полетели:
Ликуют небеса, и стонет мрачный ад.
Теки, о исполин! рази, карай злодейство;
Мир миру славными победами даруй
И раны сограждан спокойствием уврачуй.
Да будет целый мир — единое семейство!
Да обнимаются, как братья, цари!
Да встанут новые для Феба алтари!
Под Александровой счастливою державой
Дадут науки плод, искусства процветут;
Тебе обязаны спокойствием и славой,
Отчизне и тебе дань сердца принесут.
Уже бессмертие от муз тебе готово:
Векам провозгласит дела твои Платон,
Хвалами возгремит об оных Цицерон,
Созвездье в небесах откроет Гершель ново
И именем твоим великим наречет;
Рафаэль оживит твой образ на холстине,
В медь и мраморе твой вид — гроза гордыне.
Я зрю: твой обелиск до облак восстает,
И восседит орел полночный на вершине.
Я слышу гласы лир: славнейшие певцы,
Державин, Дмитриев, плетут тебе венцы;
Коломбы росские вокруг света обтекают,
Дела твои в концах вселенной возвещают,
И имя славное твое из рода в род
В благословениях к потомству перейдет.

К ЖУКОВСКОМУ

Ты, который с равной легкостью,
С равным даром пишешь сказочки,
Оды, песни и элегии;
Муз любимец и учитель мой
В описательной поэзии!
Добрый друг, открой мне таинства!
Где ты взял талант божественный
Восхищать, обворожать умы,
Нежить сердце, воображение?
Не Зевес ли положил печать
На челе твоём возвышенном?
Не Минерва ль обрекла тебя
При рождении чистым музам в дар?
Нам талантов приобрести нельзя,
Мы с талантами рождаемся.
Все пиитики, риторики,
Все Лагарпы, Аристотели
Не соделают поэтами.
Что наука? Кормчий смысленный,
Искушенный и воспитанный
В школе времени и опытов;
Но без ветра морем плыть нельзя
И писать без дарования.
Ты поэтом родился на свет,

В колыбели по́вит лаврами.
Родился — и улыбнулась
Мать-природа сыну милому,
И все виды для очей твоих
В красоту преобразились,
И все звуки для ушей твоих —
В сладкогласие небесное.
Представляешь ли фантазию,
Как она по свету рыскает,
Подославши самолет-ковер,
Алый мак держа в одной руке,
А в другой ширинку белую, —
Претворяешь в пурпур рубище,
В пышный храм шалаш соломенный,
Узы тяжкие железные
В вязь легчайшую, цветочную.
Все блестящи краски радуги
На палитру натираешь ты,
Все цветы, в полях растущие,
Разноцветны, разнообразные,
Рвешь, плетешь из всех один венок
И венчаешь им прелестную
Дщерь Зевесову — фантазию.

Со друзьями ли беседуешь
Под покровом кленов сетчатым,
На ковре лугов узорчатом,
Где ручей журчит по камышкам,
Где шум сладкий бродит по лесу, —
Ты, сливая голос с лирою.
Поощряешь к наслаждениям,
К сладострастию изящному.

«О друзья мои! — вещаешь ты, —
Жизнь есть миг, она пройдет, как сон,
Как улыбки след прелестных,
Как минутный филомелы глас
Умолкает за долиною.
Посмотрите, как за часом час
Оставляет нас украдкою.
И как знать? Быть может, завтра же
Мы уснем в могиле праотцев;
Так почто же дни столь краткие
Отравлять еще заботами,
Подлой страстью сребролюбия,
Домогаться пресмыканием
Мзды за низкость жалких почестей?
Насладимся днем сегодняшним!
В чаше радости потопим грусть
И, стаканом об стакан стуча,
Смерть попросим, чтоб нечаянно
Посетила среди пиршества,
Так, как добрый, но неожиданный друг».
Иль с Людмилою тоску делишь
О потере друга милого.
Иль с Светланою прелестною
Вечерком крещенским резвишься,
Топишь в чашу белый ярый воск
И, бросая свой золот перстень,
Ты поешь подблюдны песенки.

О соперник Гете, Бюргера!
Этой сладкою поэзией,
Этой милой философией
Ты пленяешь, восхищаешь нас;

Превосходен и в безделицах,
Кисть Альбана в самых мелочах.
Но почто же, мой почтенный друг,
Ты с цветка лишь на цветок летишь
Так, как пчелка златокрылая,
Так, как резвый мотылек весной?
Ты умеешь соколóm парить
И конем лететь чрез поприще.
Состязайся ж с исполинами,
С увенчанными поэтами;
Соверши двенадцать подвигов:
Напиши четыре части дня,
Напиши четыре времени,
Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю:
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!
Мы имели славных витязей,
Святослава со Добрынею;
А Владимир — русско солнышко,
Наш Готфред или Великий Карл;
А Димитрий — басурманов бич;
Петр — Сампсон, раздравший челюсть
льва,

Великан между великими;
А Суворов — меч отечества,
Затемнивший славой подвигов
Александра, Карла, Цесаря;
А Кутузов — щит отечества,
Мышцей крепкою, высокою
Сокрушивший тьмы и тысячи
Колесниц, коней и всадников
Так, как ветер великий севера

Истребляет пруги алчные,
Губит жабы ядовитые,
Из гнилых болот излезшие
И на нивах воссмердевшие;
А Платóв, который так, как волхв,
Серым волком рыщет по лесу,
Сизым орлом по поднебесью,
Щукой зоркой по реке плывет
И в единый миг и там, и здесь
Колет, гонит и в полон берет!
Выбирай, соображай, твори!
Много славы, много трудностей.
Слава ценится опасностью,
Одоленными препятствиями.
В колыбели сын Юпитеров
Задушил змей черных зависти;
Но зато Иракл на небо взят;
И тебе, орел поэзии,
Подле Грея, подле Томсона
Место на небе готовится!

<1813>

К. Е. А. ПРОТАСОВОЙ

Итак, оставить сей гостеприимный кров,
Где снова с тишиной и радостью дружил
И с каждым днем добрей и лучше становился!
Нося из края в край отеческих богов,
Скитался долго я, как странник бесприютный,
Далеко от родных, от милых, от друзей,
Встречал холодный взгляд, холодных лишь людей
И, перестав уже погоды ждать попутной,
Вздремал под бурей бед унывшею душой.
Когда, насытая разлукою одной,
Судьба из малого любезного мне круга
В бою похитила еще героя-друга,
Незалеченные открылись раны вновь,
И друга прежнего жестокая утрата,
И смерть во цвете лет любезнейшего брата,
И в гробе матери нежнейшая любовь!..
Вотще мой кликал глас, мои искали взоры
Необходимыя утѣхи и подпоры!
Но сердце привело к обители твоей...
В *Жуковском* обнял я утраченных друзей
И спутников живых, рассеянных судьбою, —
В *нем* был соединен весь мир мой предо мною.
Пространство, время, смерть исчезли в сладкий
час!

Мы испытания минувшие забыли,
Биение сердец приветствовало нас,
И слезы лишь одни в восторге говорили!

О радость полная превыше бед моих!
Я поспешал сюда в объятья только брата,
И что же? — Я нашел твой дом семьей родных!
И месяц радостей за год скорбей заплатал!
И быстро по цветам сей месяц пробежал
В неизмеримую пучину лет и веков!
И своенравный рок стезю мне указал
Из мира ангелов в мир низкий человеков...
Удел мой — находить в сем мире и терять,
И чаще грустью смех, чем смехом грусть
сменять.

Простите, милые! В какой бы край судьбами
Отброшен ни был я — всё буду сердцем с вами!
К вам, к вам, под тихий кров, растерзанной
душой!..
Рассеешься ли ты, тумана мрак ужасный?
Приветный солнца луч блеснет ли надо мной?
Дождуся ли тебя, возврата день прекрасный?
И скоро ль положу дорожный посох свой?..

〈ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ〉

...во многих городах полицмейстеры

Нередко для страстей своих
К слезам и стонам ближних мертвы,
Любуются, смотря на судороги их,
И режут хладнокровно жертвы.

Очень знаю, что нередко

Исправник здесь и там,
С ворами пополам
Начальник области беспощлинно, безданно,
Ее сочтя деревнею своей,
Как хан татарский, ею правит;
Берет оброк, запас, жнет, косит, старост
ставит,
И рубит, и сечет, и давит
По милости своей.

*Благодаря рабству в Белеве, например, видел я
барина,*

Который целый век свой прожил с лошадьми,
Который лошадей не разнил с сыновьями,
Который ангела-супруги был палач,
В дому которого рабынь биемых плач

И стон терзаемых кровавыми бичами
Рабов, мешаяся со скрежетом зубов,
С отчаяньем детей, со звоном кандалов,
Образчик на земле являли мне геенны.

В Рязани

...Буянов развращенный,
Обогащающий прелестниц записных,
Баркова ценящий всех выше в свете книг,
Собачий меценат, изящных вин любитель —
И, ко стыду дворян, губернский предводитель.
Везде, я не могу без горьких вспомнить слез,
В гостиницах у иностранок
В рабынях купленных я видел россиянок,
Россиян, проданных на своз,
Томящихся у них в работе беспрестанной:
Герой, героев племя — росс,
Мой брат, с невольником алжирским в доле
равный.

8 октября 1818

ДОМ СУМАСШЕДШИХ

1

Други милые, терпенье!
Расскажу вам чудный сон;
Не игра воображенья,
Не случайный призрак он.
Нет, но мшенью предыдущий
И грозящий неба глас,
К покаянию зовущий
И пророческий для нас.

2

Ввечеру, простившись с вами,
В уголку сидел один,
И Кутузова стихами
Я растапливал камин.
Подбавлял из Глинки сору
И твоих, о Мерзляков,
Из «Амура» по сю пору
Не дочитанных стихов!

8

Дым от смеси этой едкой
 Нос мне сажей закоптил
 И в награду крепко-крепко
 И приятно усыпил.
 Снилось мне, что в Петрограде,
 Чрез Обухов мост пешком
 Перешел, спешу к ограде —
 И вступаю в Желтый Дом.

4

От любви сумасшедших
 В список бегло я взглянул
 И твоих проказ прошедших
 Длинный ряд вспомянул,
 Карамзин, Тит Ливий русский!
 Ты, как Шаликов, стонал,
 Щеголял, как шут французский...
 Ах, кто молод не бывал?

5

Я и сам... но сновиденье
 Прежде, други, расскажу.
 На второе отделение
 Бешеных глупцов вхожу.
 «Берегитесь, здесь Наглицкой! —
 Нас вожатый упредил. —
 Он укусит вас, не близко!..»
 Я с боязнью отступил.

6

Пред безумцем, на амвоне —
 Кавалерских связка лент,
 Просьбица о пенсионе,
 Святцы, список всех аренд,
 Дач, лесов, земель казенных
 И записка о долгах.
 В размышленьях столь духовных
 Изливал он яд в словах.

7

«Горе! Добрый царь на троне.
 Вер терпимость, пыток нет!..
 Ах, зачем не при Нероне
 Я рожден на белый свет!
 Благотворный бы представил
 Инквизиции проект;
 При себе бы сечь заставил
 Философов разных сект.

8

Я, как дьявол, ненавижу
 Бога, ближних и царя;
 Зло им сделать — сплю и вижу
 В честь Христова алтаря!
 Я за деньги — христианин,
 Я за орден — мартинист,
 Я за землю — мусульманин,
 За аренду — атеист!»

Други, признаюсь, из кельи,
 Уши я зажав, бежал...
 Рядом с ней на новосельи
 Злунич бегло бормотал:
 «Вижу бесов пред собою,
 От ученья спибнул свет,
 Этой тьме Невтон виною
 И безбожник Боссюэт».

Полный бешеной отваги,
 Доморощенный Омар
 Книги драл, бросал бумаги
 В печку на пылавший жар.
 Но кто сей скелет исчахший
 Из чулана кажет нос?
 То за глупость пострадавший
 Ханжецов... Чу, вздор понес!

«Хочешь мельницу построить,
 Пушку слить, палаты скласть,
 Силу пороха удвоить,
 От громов храм божий спасть;
 Справить сломанную ногу,
 С глаз слепого бельмы снять,
 Не учась, молися богу, —
 И пошлет он благодаты!

12

К смиреннойкой своей овечке
 Принесет чертеж, размер,
 Пробу пороху в мешечке.
 Благодати я пример!
 Хоть без книжного ученья
 И псалтырь один читал,
 А директор просвещенья
 И с звездой генерал!»

13

Слыша речь сию невежды,
 Сумасброда я жалел
 И малейшия надежды
 К излеченью не имел.
 Наш Пустелин недалеко
 Там, в чулане, заседал
 И, горé возведши око,
 Исповедь свою читал:

14

«Как, меня лишать свободы
 И сажать в безумный дом?
 Я подлец уже с природы,
 Сорок лет хожу глупцом,
 И Наглицкий вечно мною,
 Как тряпицей черной, трет;
 Как кривою кочергою,
 Загребает или бьет!»

«Ба! Зачем здесь князь Пытнирский?
 Крокодил, а с виду тих!
 Это что?» — «Устав алжирский
 О печатании книг!»
 Вкруг него кнуты, батоги
 И Трусовский — ноздри рвать...
 Я — скорей давай бог ноги!
 Здесь не место рассуждать.

«Что за страшных двух соседев
 У стены ты приковал?»
 — «Это пара людоедов! —
 Надзиратель отвечал, —
 Вельзевуловы обноски,
 Их давно бы истребить,
 Да они как черви — плоски:
 Трудно их и раздавить!»

Я дрожащими шагами
 Через залу перешел
 И увидел над дверями
 Очень четко: «Сей отдел
 Прозаистам и поэтам,
 Журналистам, авторам;
 Не по чину, не по летам
 Здесь места — по нумерам».

Двери настежь надзиратель
 Отворя, мне говорит:
 «Нумер первый, ваш приятель
 К<аченовск>ий здесь сидит.
 Букву Э на эшафоте
 С торжеством и лики жжет;
 Ум его всегда в работе:
 По крюкам стихи поет;

То кавыки созерцает,
 То, обнюхивая, гниль
 Духу роз предпочитает;
 То сметает с книжек пыль
 И, в восторге восклицая,
 Набивает ею рот:
 «Сор славянский! пыль родная!
 Слаще ты, чем мед из сот!»

Вот на розовой цепочке
 Спичка Ш<алик>ов, в слезах,
 Разрумяненный, в веночке,
 В ярко-планшевых чулках.
 Прижимает веник страстно,
 Ищет граций здешних мест
 И, мяуча сладострастно,
 Размазню без масла ест.

Номер третий: на лежанке
 Истый Г<линк>а восседит;
 Перед ним дух русский в склянке
 Неоткупорен стоит.
 «Книга Кормчая» отверста,
 А уста отворены,
 Сложены десной два пёрста,
 Очи вверх устремлены.

«О Расин! откуда слава?
 Я тебя, дружка, поймал:
 Из русского «Стоглава»
 «Федру» ты свою украл.
 Чувств возвышенных сиянье,
 Выражений красота,
 В «Андромахе» — подражанье
 „Погребению кота“».

«Ты ль, Хлыстов? — к нему вошедши,
 Вскрикнул я. — Тебе ль здесь быть?
 Ты дурак, не сумасшедший,
 Не с чего тебе сходить!»
 — «В Буало я смысл добавил,
 Лафонтена я убил,
 А Расина переправил!» —
 Быстро он проговорил.

И читать мне начал оду...
 Я искусно ускользнул
 От мучителя; но в воду
 Прямо из огня юркнул.
 Здесь старик, с лицом печальным,
 Букв славянских красоту —
 Мажет золотом сусальным
 Пресловутую Фиту.

И на мебели повсюду
 Коронованное кси,
 Староверских книжек груды
 И в окладе ик и пси;
 Том, в сафьян переплетенный,
 Тредьяковского стихов
 Я увидел, изумленный —
 И узнал, что то Ш<ишк>ов.

Вот Сладковский. Воскликает:
 «Се, се россы! Се сам Петр!
 Се со всех сторон зияет
 Молния из тучных недр!
 И чрез Ворсклу, при преправе,
 Градов на́ суше творец
 С драгостью пошел ко славе,
 А поэме сей — конец!»

Вот Ж<уковск>ий! В саван длинный
 Скутан, лапочки крестом,
 Ноги вытянувши чинно,
 Черта дразнит языком.
 Видеть ведьму воображает:
 То глазком ей подмигнет,
 То кадит и отпевает,
 И трезвонит, и ревт.

Вот Картузов! — Он зубами
 Бюст грызет Карамзина;
 Пена с уст течет ручьями,
 Кровью грудь обагрена!
 И напрасно мрамор гложет,
 Только время тратит в том,
 Он вредить ему не может
 Ни зубами, ни пером!

Но С<таневи>ч, в отдаленьи
 Усмотрев, что это я,
 Возопил в остервененьи:
 «Мир! Потомство! за меня
 Злому критику отмстите,
 Мой из бронзы вылив лик,
 Монумент соорудите:
 Я велик, велик, велик!»

Чудо! — Под окном на ветке
 Крошка Батюшков висит
 В светлой проволочной клетке;
 В баночку с водой глядит,
 И поет он сладкогласно:
 «Тих, спокоен сверху вид,
 Но спустись на дно — ужасный
 Крокодил на нем лежит».

Вот И<змайл>ов! — Автор басен,
 Рассуждений, эпиграмм,
 Он пищит мне: «Я согласен,
 Я писатель не для дам.
 Мой предмет — носы с прыщами,
 Ходим с музою в трактир
 Водку пить, есть лук с сельдями —
 Мир квартальных есть мой мир».

Вот Плутóв — нахал в натуре,
 Из чужих лоскутьев сшит.
 Он — цыган в литературе,
 А в торговле книжной — жид.
 Вспоминая о прошедшем,
 Я дивился лишь тому,
 Что за чем он в сумасшедшем,
 Не в смирительном дому?

Тут кто? — «Плутова собака
 Забежала вместе с ним».
 Так, Флюгарин-забияка
 С рыльцем мосичьим своим,
 С саблей в петле... «А французской»
 Крест ужель надеть забыл?
 Ведь его ты кровью русской
 И предательством купил!»

«Что ж он делает здесь?» — «Лает,
 Брызжет пеною с брылей,
 Мечется, рычит, кусает
 И домашних, и друзей».
 — «Да на чем он стал помешан?»
 — «Совесьть ум свихнула в нем:
 Всё боится быть повешен
 Или высечен кнутом!»

Вот в передней раб-писатель,
 К<аразі>н хамелеон!
 Филантроп, законодатель.
 Взглянем: что марает он?
 Песнь свободе, деспотизму,
 Брань и лесть властям земным,
 Гимн хвалебный атеизму
 И акафист всем святым.

Вот Грузинцев! Он в короне
 И в сандалиях, как царь;
 Горд в мишурном он хитоне,
 Держит греческий букварь.
 «Верно, ваши сочиненья?» —
 Скромно сделал я вопрос.
 «Нет, Софокловы творенья!» —
 Отвечал он, вздернув нос.

Я бегом без дальних сборов...
 «Вот еще!» — сказали мне.
 Я взглянул. Максим Невзоров
 Углем пишет на стене:
 «Если б, как стихи Вольтера,
 Христианский мой журнал
 Расходился. Горе! вера,
 Я тебя бы доконал!»

От досады и от смеху
 Утомлен, я вон спешил
 Горькую прервать утеху;
 Но смотритель доложил:
 «Ради вы или не ради,
 Но указ уж получён;
 Вам нельзя отсель ни пяди!»
 И указ тотчас прочтен:

«Тот Воейков, что бранился,
 С Гречем в подлый бой вступал.
 Что с Булгариным возился
 И себя тем замарал, —
 Должен быть как сумасбродный
 Сам посажен в Желтый Дом.
 Голову обрить сегодня
 И тереть почаще льдом!»

Выслушав, я ужаснулся,
 Хлад по жилам пробежал,
 И, проснувшись, не очнулся,
 И не верил сам, что спал.
 Други, вашего совету!
 Без него я не решусь;
 Не писать — не жить поэту,
 А писать начать — боюсь!

Н. Ф. ОСТОЛОПОВ

Николай Федорович Остолопов (1782—1833) — плодовитый писатель и журналист, занимавший заметное место в литературе начала XIX века. Он был участником писательских обществ, поэтом, прозаиком, переводчиком, составителем учебных пособий и критиком, оставившим после себя весьма обширное литературное наследие. В начале XIX века он сотрудничал почти во всех периодических изданиях. Он был членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», примыкал к кружку А. Е. Измайлова и входил в державинское окружение 1800-х годов. (В 1822 г. он напечатал «Ключ к сочинениям Державина с кратким описанием жизни сего знаменитого поэта»).

В 1806 году Остолопов начал издание журнала «Любитель словесности». В 1821 г. он выпустил «Словарь древней и новой поэзии» (т. I—3). Остолопов был широко образованным литератором, знал несколько западноевропейских языков и хорошо владел техникой стиха, однако не обладал оригинальностью литературных суждений. Во втором десятилетии XIX века его твор-

чество и взгляды воспринимались уже как архаические.

Издания стихотворений Н. Остолопова:

Н. Остолопов. Прежние досуги и опыты в некоторых родах стихотворства. СПб., 1816.

Н. Остолопов. Апологические стихотворения с присовокуплением поэмы «Привидение». СПб., 1827.

«Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1935.

БЕДНАЯ ДУНЯ

Ах! не лебедь ходит белая
По зеленой травке шелковой!
Ходит Дуня, ходит бедная
С томным сердцем, в мыслях горестных!

Не любит цветочками,
Красным утром не пленяется,
И певуньи малы пташечки
Уж не могут веселить ее!

Снегобелым рукавом своим
Закрывая очи ясные,
Только слезы льет красавица,
Только думу крепку думает:

«На кого меня покинул ты,
На кого, сердечный милый друг?
Не клялся ли ты любить меня?
Не клялась ли я тебя любить?»

Я отстала от подружек всех,
И от батюшки, от матушки;
Я покинула сестер моих
И сторонушку родимую;

Убежала и поверилась
Другу милому, сердечному;
Расплела я косу русую
И с весельем отдалась тебе.

Мне светлей казалось солнышко
И цветочки все душистее,
Как в твоих объятьях сладостных
Забывалась я, несчастная!

Ах! раскройся, мать сыра земля!
Поглоти меня, преступницу!
Для кого ж мне жить осталось,
Если милый мне неверен стал?..»

Тут пошла она по берегу,
По крутому, по высокому,
И, всплеснув руками белыми,
Погрузилась в волны быстрые!

НА КОНЦИНУ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНА
17 СЕНТЯБРЯ 1805

Дивиться ль, смерть, твоей нам злобе?
Ты не жалела никого;
Ты вздумала — и Пнин во гробе,
И мы не зрим уже его!

Но тщетно ты его сразила:
Он будет жить в сердцах друзей!
Ничто твоя над теми сила,
Любим кто в жизни был своей.

В сем мире всё превратно, тленно,
И всё к ничтожеству идет;
Лишь имя добрых незабвенно:
Оно из века в век пройдет!

Друзья! мы друга не забудем
В отмщение тиранке злой,
Мы помнить вечно, вечно будем,
Как Пнин пленял своей душой!

Как он приятной остротою
Любезен в обществе бывал
И как с сердечной простотою
Свои нам мысли открывал

Мы будем помнить, что старался
Он просвещение ускорить¹
И что нimalo не боялся
В твореньях правду говорить.

Мы будем помнить — и слезами
Его могилу окропим,
И истинными похвалами
В потомство память предадим...

Блажен, кто в жизни сей умеет
Привлечь к себе любовь сердец!
Блажен! — надежду он имеет
Обрести бессмертия венец!

1805

¹ Его сочинения: «Вопль невинности, отвергаемой законом», «Опыт о просвещении, относительно до России» и неоконченное «О возбуждении патриотизма». «С.-Петербургский вестник», изданный им в 1798 году, и многие стихотворения заслуживают уважения как любителей словесности, так и любителей философии. См. изданный в 1805 году г. Брусиловым «Журнал российской словесности» № 10.

ПЕСНЯ

(На голос простонародной песни:
«Скучно, грустно мне в деревне жить одной...»)

Солнце красное! оставь ты небеса,
Ты скорей катись за темные леса!
Ясный месяц! ты останься за горой!
Вы оденьте всё ночьюю темнотой!
Дайте времечко укрыться от людей
И наплакаться об участи моей!
Люди бегают от горестей чужих;
Людям нужно ль знать причину слез моих?

Ах! где милый мой, где ангел дорогой?
Не навеки ли простился ты со мной?
Нет ни грамотки, ни вести от тебя!
Напиши хоть, что забыл уж ты меня,
Дай отраду мне скорее умереть! —
Мне на белый свет постыло уж смотреть!
В нем не видят ничего мои глаза,
Покрывает их горячая слеза.

Вы, подруженьки, вы сжальтесь надо мной,
Не шутите вы над лютою тоской!
Уделите часть вы горя моего!

Придет время, вы узнаете его;
Страсть-злодейка не минует никого!
Ах! зачем нельзя без горести любить?
Ах! зачем нельзя неверного забыть?

<1806>

А. П. БЕНИЦКИЙ

Биографические сведения, которыми мы располагаем относительно Александра Петровича Бенитцкого (1780—1809), чрезвычайно скудны. Дворянин по происхождению, Бенитцкий не обладал ни состоянием, ни поместьями, был бедняком и всю жизнь вынужден был служить. Он получил хорошее, по нормам конца XVIII века, воспитание в пансионе Шадена. Из пансиона он определился в военную службу, но в 1803 году вынужден был выйти по состоянию здоровья в отставку. В 1804 году Бенитцкий вступил в гражданскую службу в качестве переводчика в Комиссии составления законов, где и служил до самой смерти.

Писать Бенитцкий начал рано, однако литературная известность его связана со второй половиной 1800-х годов. Он сотрудничает в «Северном вестнике», вступает в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» (1806). В 1807 году Бенитцкий издает альманах «Талия, или Собрание разных новых сочинений в стихах и прозе», в значительной степени заполненный его сочинениями. Вторая часть этого альманаха была отпечатана, но (возможно, по цензурным

обстоятельствам) не смогла появиться в свет. В 1809 году Бенитцкий организовал издание журнала «Цветник», ставшего одним из центральных русских периодических изданий тех лет. Произведения Бенитцкого при жизни писателя не были собраны в отдельном издании. Некоторые остаются в рукописях по настоящее время.

Наиболее полное издание стихотворений А. Бенитцкого:

«Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1935.

СЕНТЯБРЬ

А м и н т

Воздух колеблют бури ревуши,
Небо покрылось вмиг темнотой;
Быстро несутся влажные тучи,
Дождь на долины льется волной.
Всё возвещает осень печальну:
Хмурясь, нисходит мрачный сентябрь.

Х л о я

Ветр, воздымая волны седые,
Гонит с стремлением тихи ручьи,
Гонит — трепещут рощи густые,
Сыплются кучей листья в струи;
Мрак и безмолвье лес окружают,
Громкопоющий смолк соловей!

Д о р и т

Войте, бури раздраженны,
По долинам и лугам;
Разносите вопль смятенный,
Войте! — я смеюся вам!
Пусть лилеи, розы вянут —
Можно собною заменить;
Пусть и птички петь престанут —
Будем без музы́ки пить.

Прéзрим осени оковы;
Вакх нисходит с сентябрем!
С ним забавы — вина новы;
Ободритесь, и — нальем!

А м и н т

Пажити тучны пусты, унылы;
Пестрых не видно стад на полях,
Только зловещий вран чернокрылый.
Пищи алкая, бродит в браздах;
Голосом хриплым кличет ненастье,
Хладные вьюги, спутниц зимы.

Х л о я

Светлое солнце бег сокращает,
Ноши угрюмой стелется тень;
В сумраке черном жить начинает,
В сумраке меркнет пасмурный день.
Бледное утро чуть лишь покажет
Томные взоры — вечер спешит.

Д о р и т

Мраки, тучи — всё пустое!
Свет бутылки светит в тьме.
Стужа грóзит — выпьем вдвое!
Не бывать у нас зиме.
Пусть наденет шлем алмазный,
В руки примет снежный щит,
Облечется в льды ужасны
И на мразах к нам слетит —
Вмиг зардятся щеки белы
(И зима, я чаю, пьет!),

Если милый сын Семелы
Хоть полчаши ей нальет.

А м и н т

Скоро засыплют инеи мшисты
Желтые стебли мертвых цветов;
Скоро иссякнут реки серебристы,
Скроются в сводах зёркальных льдов:
Скоро... но мне ли сетовать с Хлоей?
С нежной подругой радость одна.

Х л о я

Пусть извергают хляби небесны
Ярые бури, ветры и хлад, —
Хлоя с тобою, друг мой любезный!
Найдет несчетны сонмы отрад...
Молнии блещут... громы катятся...
К сердцу Аминта!.. стихла гроза!

Д о р и т

К сердцу?.. что вы! всё напрасно,
Там вина ни капли нет;
А без вин везде ненастно:
Скучен-темен белый свет.
Нежность скоро простывает,
Кровь под старость не кипит;
Кто ж любовь с вином мешает,
Вечно-вечно тот горит.
Молнии блещут — гром катится...
Что ж, за дело! — всякий знай:
Где любовь и Вахх сдружится,
Там сентябрь — веселый май!

<1805>

КОНЧИНА ШИЛЛЕРА

Там увидимся мы опять, или — никогда...
Трагедия «Разбойники»

Зри! — там звезда лучезарна
В синем эфире,
Светлой протягшись чертою,
Тихо померкла.
Рок то; звезда, путь оконча,
В бездне затмилась:
Смертный великий¹ со`славой
В вечность отходит.
Слышишь? .. — Чу! — стонет медяный
Колокол смерти;
Стонет, и своды земные
Бой потрясает.
В мирной ограде покоя
Гений рыдает;

¹ Человек (полководец или писатель, все равно), достигший в своем намерении совершенства, есть *великий человек*. Шиллер в избранном им роде трагедий показал и достиг последней возможной степени совершенства.

Долу повержен, дымится
Пламенник жизни.
Ветви навислые ивы
Кроют могилу;
Листвия с шумом колеблют
Ветры пустынно.
Лири поэта при корне
Древа безмолвна,
Острый кинжал Мельпоменин
В прахе сверкает.
Муза печальна, трепеща,
Урну объемлет;
Слезы по бледным ланитам
Градом катятся.
Кто извлекает стенанья
Девы парнасской?
Кто сей, над коим тоскует
Дщерь Мнемозины? ..
Ужасы хладныя смерти
Как вы коснулись?
Горе! певец Мельпоменин —
Шиллер — во гробе? ..
Шиллер — пред кем цепенели
Оркуса силы,
Стиксовы воды мутились,
Фурии млели.
Скоро, ах! скоро умолкнет
Звон похоронный;
Камень надгробный истлеет,
Ива завянет.
Где же певец Мельпоменин?
Где его память?

Слава великих — кончина,
Память — творенья.
Гений, как в тверди светило,
Век не мерцая,
Греет, живит, восхищает
Взоры вселенной.
Яркий светильник не скроют
Мраки туманны;
Ночью луна свет примет:
Узрят в ней солнце.

1805

СЧАСТЬЕ

«Наставь меня, мудрец, как счастье найти?
Тебе, я думаю, оно известно?»

— «Ближайших *три* к нему пути.

Будь подл, но это, знай, и трудно, и бесчестно;

Будь честен, но тогда возненавидит всяк;

Всего же легче: *будь дурак*».

<1807>

БАЛКЛУТА

Отрывок из Оссиановой поэмы «Картон»

(Клессамор повествует возвратившемуся со сражения Фингалу о любви своей к прекрасной Моине, дочери Рютамировой; о поединке с иноплеменным вождем, который, пришед в чертоги Рютамира, после соединения Клессаморова с Моиною, раздражил его своею дерзостью. Клессамор победил чужестранца, но, будучи преодолен его воинами, ушел на корабль свой и отплыл от Балклуты, где тоскующая Моина умерла от горести. Фингал, выслушав Клессамора, вещает)

Воспойте, барды, песнь похвальную Моине;
Воспойте — пусть ваш глас, простершись
по долине,
На холмы наши тень несчастной призовет.
Пускай с светилами она протекших лет
Пребудет навсегда отныне съединенна;
Да успокоится среди красот Морвена.
Я сам Балклуту зрел: плачевные места!
Давно уже она, давно была пуста.
Разрушил пламень в ней все дома и кострами
Жилища завалил. Упадшими стенами,
Громадой камней, древ, поверженных на дно,
Течение реки ее совращено.
Везде колеблется лишь терн уединенный,

И мох густой растет по зданьям сокрушенным.
Пустынны звери там живут теперь одни;
Из мрачности руин по временам они,
Как привидения ужасные, взирают.
Вокруг их глав кусты и травы развевают.
Чертог Моининых отцов осиротел,
В нем страшна тишина, навек он опустел!
О барды! возгремим песнь плача в честь
забвенных,
Восплачем о судьбе сынов иноплеменных.
Их нет уже, их нет! несчастные давно
Погибли, пали — ах! — и мы падем равно!..
О смертный! для чего чертоги строишь?
Се ныне с гордых ты высот своих взираешь —
Завтра нет тебя! повержен меч твой, щит,
И шлем гниет! вокруг их бурный ветер свистит.
Но пусть придет ветер пустынный,
разъяренный —
Для славы наши дни пребудут незабвенны!
Всем памятны мои останутся дела.
Поведают о них и бранные поля,
И песни бардов. Так, я буду жить по смерти!
Стремитесь, о друзья! веселый глас
простерти;
Восторгом радости да возгремит мой дом,
И чаша пиршества пошлетя пусть кругом!..
О ты, огнистый шар, светило быстротечно!
О солнце, царь небес! когда и ты не вечно,
Коль некогда и твой померкнуть должен
свет, —
То слава дел моих тебя переживет.

ЛЕТНЯЯ ПОЧЬ

Когда мерцание серебряной луны
Леса дремучи освещает
И сыплет кроткие лучи на купины,
Когда свой запах разливает
Душиста липа вокруг синеющих лесов
И землю, от жаров унылу,
Свежит дыхание весенних ветерков, —
Тогда, восклоншись на могилу
Родных моих, друзей, мерцания луны
Я в горести не примечаю
И запах лип не обоняю,
Не слышу ветерков приятных весны.
Увы! я с милыми расстался,
Все чувства рок во мне несчастьем притупил;
Ах! некогда и я пленялся
Луною в летню ночь, и я дышать любил
Под свесом липы благовонной
Прохладным воздухом, — но без друзей
и ты,
Природа! вид прияла томный,
И ты утратила свой блеск и красоты.

<1809>

ВОЗВРАЩЕНИЕ БАХУСА ИЗ ИНДИИ

Дифирамб

(Из соч. Вилламова)

Вольный перевод с немецкого

Хор сати ров

Эван, эвое! победитель!
Зевеса златорогий сын!
Тебе послушны бурны воды,
Покорен Тартар и Олимп.
Столкнем наполненные чаши
Пенистым нэктаром, столкнем!
Эвое! весело запляшем,
Твои победы воспоем!

Хор мена д

Эван, эвое! победитель!
Рожден под грохотом громов,
Младыми нимфами взлелеян
В священной темноте пещер!
Увьем, увьем цветами чаши
И развевающи власы,
Эвое! весело запляшем,
Твои победы воспоем!

С и л е н

Так, верны ратники ироя,
Споспешники великих дел!
Пляшите, пусть земля трепещет
Под резвоскачущей стопой;
Венчанны розами и свежим
Зубчатолиственным плющом,
Пляшите! восклицайте с громом
Кимвалов, бубнов и цевниц!
Эвое! славный победитель
Грядет за вами в торжестве.
Се он под пурпурным наметом
Грядет, шатаясь, на слоне,
На сыне дебрей аравийских...
Сей! гибкий тирс его свистит.
Я зрел, как он, еще младенцем,
Извлек для вас из тирса мед —
О чудо! но пред чудесами,
Которые владыка наш
Явил при Ганге крутобрегом,
На глинистых холмах, — ничто.
Он повелел — и на бесплодной
Земле родился виноград;
Он рек — и на песчаных нивах
Возникло белое пшено.
На глас его народы дики,
Скитавшиеся в пещерах гор
Или под кокосовой тенью,
Иль живши в низких шалашах
И почернелые от солнца, —
Пришли селиться в городах,

Стеной высокой обнесенных.
Пришли — он их образовал
И дал премудрые законы.
Но громовержца грозный сын
Был встречен дерзостной толпою
Чудовищных людей; смеясь
Над легионами сатиров
И восклицающих менад,
Предстали Калистрийцы¹ с лаем,
Энотекеты² и кругом
В власах заросшие Пигмеи.³

¹ Ктезий, описывая редкости Индии, говорит, между прочим, следующее: «В Индии, на известных горах, живут люди, имеющие собачьи головы. Их одяние состоит в звериных кожах. Они не говорят, а лают. Зубы их несколько больше собачьих, ногти же совершенно похожи на когти сих животных, только немного длиннее и круглее. Они обитают на горах, простирающихся до реки Инда, и цветом черные. Индейцы называют их *Калистрийцами*, то есть *Песьеглавыми*».

² О сих упоминает Стравон в XV книге своего Землеописания, рассказывая множество диковинок о жителях Индии. «Иные, — говорит он, — называются *Энотекетами*; сей народ имеет уши, достигающие до лодыжек; они служат им во время сна подушками».

³ Вышеупомянутый Ктезий описывает и сих чудовищ. «В середине Индии, — пишет он, — живут черные люди, именуемые *Пигмеями* и говорящие одним языком с индийцами. Они чрезвычайно малого роста. Самые высокие не больше двух локтей с половиною; обыкновенная же их величина — полтора локтя. *Пигмеи* имеют предлинные волосы на голове, такие, что они достают у них до колен и ниже, и непомерно долгие бороды. Коль скоро борода у них вырастет, то уже не имеют они надобности ни в каком платье, а распускают назад волосы, спереди же бороду, потом, распростерши сии волосы кругом всего тела, опоясываются сверх оных, что и составляет всю их одежду».

Тогда-то раздраженный бог
Дал к битве знак своей десницей!
Взревел мой тигр, сей верный зверь,
Готовясь к кроволитной брани,
И гибель возвестил врагам.
Объяты бешенством, фиады
Напали с лютостью на них;
И вдруг тирс каждый превратился
Во смертоносное копьё...
О брань, исполненная славы!
Познали дерзкие враги
Устройство Вакха ратоборцев
И мощь сатиров и менад.
Мы ринулись — и трепет с страхом
Всех сопостатов обуял!
Слоны побегли столпоносны,
Побегли смелые враги —
Исчезла храбрость их и сила!
Смерть алчная пред нами шла
И злых чудовищ пожирала,
Свергая тысящами в ад.
Надменные с стыдом погибли!
Искоренен их гнусный род
Непобедимыми полками
Владыки неба и земли!

Хор сатиров

Эвое, грозный тирсоносец!
Богоотступных чад земли
Смиривый львиными когтями¹

¹ Морские разбойники, поймав Вакха на острове *Наксе*, хотели увести его и продать или получить богатый вы-

И виноградную лозой
Удар смертельный Амфисвене
Нанесший в ядовиту пасть.
Эван, эвое! кто посмеет
Тебя, ужасный, раздражать?

Хор менад

Эвое, грозный тирсоносец!
Ты гнусный вид полночных птиц
Дал нечестивым Минеидам;²
Ты повелел нам отомстить —
И се Пенфей³ высоковынный,
Растерзан, плавает в крови!
Эван, эвое! кто посмеет
Тебя, ужасный, раздражать?

Силен

О фавны, нимфы и фиады,
Вы, упоенные вином!

куп, но были им за сие наказаны: иных превратил он в дельфинов, других же растерзал лев, явившийся на корабле. См. *Имн Дионизу* и «*Овид<иевы> Превр<ащения>*», кн. III, Басн<и> 8, 9 и 10.

² Дочери *Миния* отреклись участвовать при праздновании *Оргии* в *Фивах* и занялись в ту ночь рассказыванием повестей, за что были превращены в летучих мышей. См. «*Овид<иевы> Превр<ащения>*», кн. IV, Басн<и> 1 и 12.

³ *Пенфей*, внук *Кадма*, повелел прибывшего в *Фивы* *Бахуса* заключить в оковы и привести к себе; но когда посланные не могли исполнить его приказания, тогда он сам устремился на гору *Цитерон*, где неистовствовали *Вакханалки*, дабы посмеяться их обрядам, но заплатил за сию дерзость жизнью; *Менады* — в числе коих находилась мать его *Агава* и тетка *Автоноя* —

Кружитесь около ироя —
И всё последние кружись!
Да легки, радостные скоки
Повсюду видит славный Вакх.
Ликуйте! под его защитой
Остались невредимы вы
От острых стрел и ядовитых,
Которыми при студенцах
Многолесистого Мероса
Быстрогубящий Аполлон
На вас, как частым градом, сыпал.
Курящих мирру, аромат,
Чрез кои шли сквозь виноградны
Плющом поросшие врата,
Веселым гласом восклицая:
«Да здравствует наш Бассарей!» —
Все, все рекут: «Здесь шли со славой
Ирои Вакха в торжестве!»
Ликуйте ж, славны ратоборцы,
Спешники великих дел!
Пляшите! пусть земля трепещет
Под резвоскачущей стопой;
Венчанны розами и свежим
Зубчатолиственным плющом,
Пляшите! восклицайте с громом
Кимвалов, бубнов и цевниц!

Хор сати ров

Эвое, мощный Вакх, эвое!
Мы пьем твой нектар из мехов

растерзали несчастного *Пенфея*. См. «Овид<невы>
Превр<ашения>», кн. III, Басн<и> 8, 9 и 10.

Глубокодонных и пространных, —
О восхигитель! враг скорбей!
Непобедимый! благодатный!
Пиролюбивый! князь утех!
Исполнены тобой, эвое!
Твое мы славим торжество!

Хор менад

Эвое, мощный Вакх, эвое!
Мы пьем вино твое из чаш,
Увитых свежими цветами, —
О пестун дружбы и любви!
О миротворец! жизнодавец!
Отец! и друг! и царь! и бог!
Исполнены тобой, эвое!
Твое мы славим торжество!
Далекомечущий на гнев
Против ироя Диониза,
Склонен царицею богов.
Она, питая к Вакху злобу,
Озлобила против его
Медоточивыми словами
Властителя парнасских дев.
И вдруг лучи огнисты Феба
Излили зной и мор на вас.
Тогда Юпитер, восприявши
Вид криворогого¹ овна,
Явился и к ключам прохладным
Томимых жаждою привел.

¹ Гигин в 133 басне говорит следующее: «Когда Бахус искал воды на песчаных степях и не мог найти, то явился овен и указал ему ключ».

Спасенны вы от лютой смерти!
Порфирные столпы, плющом
И свежим гроздием обвиты,
Векам позднейшим возвестят
О чудах, сотворенных Вакхом.
Они поведают на бреге,
На бреге дальня Океана,
Велики Бахуса дела.
Зане столпы сии свящанны;
Из жертвенных, агатных чаш
Мы вкупе с Вакхом возлияли
На них игривое вино.
Рекут и грады все и веси,
Чрез кои шли мы по цветам,
Между рядов златых кадьниц.

А. Е. ИЗМАЙЛОВ

Александр Ефимович Измайлов (1779—1831) родился в небогатой дворянской семье. Не имея состояния (он был владельцем семи крепостных «душ»), Измайлов вынужден был всю жизнь служить.

В 1797 году Измайлов окончил Горный кадетский корпус и до 1821 года служил в Экспедиции государственных доходов. В 1826 году он был назначен тверским вице-губернатором, а в 1828 году занял такую же должность в Архангельске. Однако попытки его бороться с чиновничьими злоупотреблениями привели к конфликтам и отставке. Последние годы жизни Измайлов провел «в совершенной нищете», под гнетом несправедливого обвинения. Он перебивался уроками словесности, которые давал в Пажеском корпусе.

Литературное поприще Измайлов начал публикацией в «Санкт-Петербургском журнале» Пнина перевода стихотворения Малерба «Смерть» (1798). В 1799—1801 годах был опубликован его роман «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества», написанный в самом

начале литературного поприща Измайлова. В 1801—1804 годах выходят прозаические сочинения Измайлова, отражающие влияние Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, активным членом которого он являлся. С начала XIX века Измайлов начинает печатать в различных журналах басни, которые в 1814 году выходят отдельным сборником. Свои стихотворные сочинения Измайлов потом переиздавал неоднократно. В 1826 году вышло последнее прижизненное, наиболее полное издание его сочинений («Сочинения в прозе и стихах в двух частях»). Фактически вышло три части: вторая книга — «Басни и сказки» — вышла в двух частях). Измайлов принимал участие в издании «Цветника», сначала совместно с А. Бенитцким, затем — с П. Никольским. В 1812 году под его редакцией выходил «Санкт-Петербургский вестник». В 1817 году Измайлов участвовал в редактировании «Сына отечества», а с 1818 по 1826 год осуществлял выпуск журнала «Благонамеренный». С 1816 по 1825 год был председателем Вольного общества и возглавлял в нем правое крыло.

Основные издания стихотворений
А. Е. Измайлова:

Басни и сказки Александра Измайлова в трех частях. СПб., 1826.

А. Измайлов. Полное собрание сочинений, т. 1—3. М., 1890.

«Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1935.

«Русская басня XVIII и XIX веков». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1959.

«Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в.». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1960.

СМЕРТЬ

(С французского)

О смерти! свирепее тебя кто может быть?

Ты просьбам нашим не внимаешь,

Со смехом уши затыкаешь

И оставляешь нас рыдать и слезы лить.

Убогий в хижине, соломой покровенной,

Дань тяжкую тебе, стена, отдает,

И на престоле царь, стражами окруженный,

От твоя косы, как сельный знак, падет.

1798

СОНЕТ ОДНОГО ИРОКОЙЦА, НАПИСАННЫЙ НА ЕГО ПРИРОДНОМ ЯЗЫКЕ

Где холодно, цветы все худо там растут,
Лишь выходишь, они показываться станут, —
То солнечные им лучи потребны тут,
Но вместо солнца дождь, снег, град — они
и вянут.

Канада есть сия холодная страна,
Цветы — писатели, а солнце — одобренье;
И наша нация, к несчастью, есть одна,
Где авторы в таком находятся презренье.

Утештесь, бедные! и прочие науки
Все одобряются не более у нас;
Возьмите, юноши, не книги — карты в руки,

Вертитесь, кланяйтесь — чины, места ждут вас.
Бостоном,¹ танцами составить счастье можно,
А с просвещением в леса сокрыться должно.

<1804>

¹ *Примечание переводчика.* Может быть, карточная игра *бостон* получила свое название от города сего же имени, который находится в Северной Америке, где и Канада; так мудроно ли, что она там имеет великое уважение, когда и здесь без нее жить не могут.

**СТИХИ НА КОНЧИНУ
ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПИНА**

Что слышу? — Пнин уже во гробе!
Уста его навек умолкли,
Которы мудростью пленяли!
Навеки сердце охладело,
Которое добром дышало!
Навек рука оцепенела,
Котора истину писала!
Навеки мы его лишились!

О смерти! исчадь ада злое!
Зачем, зачем его сразила?
Он был еще в цветущих летах!
А часто изверги ужасны,
Которы землю оскверняют,
Которы кровь пьют беззащитных,
Живут до старости глубокой!
Зачем не их, его сразила?

Как древо юное весною
В саду при солнце зеленеет
И, будучи покрыто цветом,
Плоды обильны обещает,
Плоды, которые бывают
На нем всегда год года лучше, —

Все им любят и перстом
Его друг другу указуют...
Но мраз спускается на землю —
Валится цвет и лист зеленый...
Вотще садовник истощает
Свое искусство, попеченья:
Прекрасно древо сохнет, сохнет
И глядь... совсем уже засохло, —
Так точно Пнин погиб несчастный!

Сего ль, друзья! мы ожидали?..
Почтим же прах его слезами,
Цветами гроб его украсим
И памятник ему воздвигнем
Над хладною его могилой,¹
Хотя он памятник поставил
Еще давно себе, и вечный, —
В сердцах у нас, в своих твореньях,
О Пнин! друг милый и почтенный!
Мир праху твоему навеки!
Твое век имя будет славно
И память вечно драгоценна
Для нас и для потомков наших!

Когда писать что должен буду
Для пользы я моих сограждан,
Тогда, о Пнин, мой друг любезный!
Приду я на твою могилу
И, тень твою воображая,

¹ Друзья его хотят воздвигнуть ему памятник с надписью: «Пнину — друзья».

Твоим исполнясь вдохновеньем,
Писать тут лучше, лучше стану.
Когда же мне судьба сулила
Еще прожить на свете долго
И небо мне сынов дарует,
То им доставлю воспитанье
По правилам, изображенным
В твоём полезнейшем журнале.¹
Тебя в пример им ставить буду
И приведу на то их место,
Где прах теперь твой почивает.
Слезами мы его окропим
И с благодарностию будем
Произносить твоё имя,
Пока с тобой не съединимся.

1805

¹ Самая продолжительная и прекрасная пьеса в «С.-П<етер>бургском журнале» 1798 года, который издавал Пнин, есть «О воспитании». Мысли, находящиеся в ней, большею частью почерпнуты из творений славного Филанджери. Над сим сочинением трудился один почтенный друг Пнина, но, кажется, и сам Пнин тут участвовал. «С.-П<етер>бургский журнал» был первым опытом его упражнений в словесности, но к чести издателя должно присовокупить то, что сей журнал есть из лучших наших ежемесячных изданий и что нет в нем ни одной почти пьесы, которая бы не служила к пользе или к наставлению читателей. Ах! для чего он не успел окончить свою славу «Народным вестником», который незадолго пред своею кончиною принял намерение издавать.

Переменился скоро двор:
 Временщики упали;
Пришел на знатных черный год;
 Вельможи новые не спали;
Царь славу приобрел, и счастлив стал народ.

1802, 1813

ГРАФ N И ЕГО СЕКРЕТАРЬ

Граф

Послушай, а прогос,¹ что ж списки о чинах,
О награждениях, вещах и орденах?

Секретарь

Я ночь сидел насквозь, извольте, все готовы.

Граф

Кого ж ты написал?

(Пересматривает.)

Семен и Петр Вралевы,
Мои племянники, — их должно поощрить,
С крестами, верно, уж не станут так шалить.
За ними кто? Ба! ба! Включил ты и Ослова!
Да, ведь побочный сын он князя Пустослова.
Ремизин! хорошо! играет по рублю.
Вертушкин! ну! его не очень я люблю.
Графиня? . .

(Морщится и потирает лоб.)

Секретарь

Точно-с так, еще вчера. . .

¹ Между прочим (франц.). — Ред.

Г р а ф

Довольно!

Пускай и он идет, хотя другим и больно.
Мошнин! о, молод он, и как дать крест купцу...
Да, правда, должен я еще его отцу...
Чины теперь кому, посмотрим: Езельману —
Ну! немец он, пускай — Лентягину Ивану,
Фролу Скотинину!.. как можно? он дурак!

Секретарь

(кланяясь)

Двоюродный мой брат.

Г р а ф

Ну! разве уже так!

(Подписывает.)

ОСЕЛ И КОНЬ

Один шалун Осла имел,
Который годен был лишь ездить за водою;
Он на него чепрак надел,
Весь шитый золотом, с богатой бахромою.
Осел наш важничать в таком наряде стал
И, уши вверх подняв, прегордо выступал.
Навстречу Конь ему попался,
А на Коня чепрак обыкновенный был.
Тут длинноухий рассмеялся
И рыло от него свое отворотил.

Таких ослов довольно и меж нами,
Без чепраков, а с чем? — ну, догадайтесь
сами!

1810, 1811

ШУТ В ПАРИЖЕ

Однажды в маскараде
Явился старый шут в неслыханном наряде:
С хрустальной запонкой и воротом косым
Из ткани пестрая на нем была срачица,
 Да с гульфиком большим
 Атласна черна исподни́ца.
С нагнутых плеч его висел
Запачканный тулуп, но настоящий русский;
 На голове же он имел
 Распудренный парик французский.
За старым шутком вслед шел молодой чудак
 В престранном тоже одеянье —
В каком-то шахматном, смешном полукафтанье,
И с колокольчиком торчал на нем колпак.
 Лишь в залу чучелы вступили,
Все бросились к ним, кругом их обступили.
 Никто не мог свести с них глаз.
Старик, пожав плечьми, воскликнул: «Вижду аз,
Коликой степени достигли развращенья!
О!..... *но воздержимся еще от удивленья!*
О буйно скопище безумцев и невежд!
И мужеск пол, и женск совлекся тех одежд,
Которые дедóв и бабок украшали.
Почто французские вы моды переняли?»

Возрите на меня, на юношу сего,
Так иноземного не найдешь ничего.
Всё русское на нас, изящно всё и лепо;
Мы любим старое, и вы любите слепо...»

Тут некто старика прервал

И вежливо ему сказал:

«За что всех, дедушка, поносишь?

Ты сам парик французский носишь».

О, если бы кто видел тут,

Как разозлился старый шут.

Сначала у него язык прильпе гортани;

Потом уж кое-как собрался с силой он,

И полился из уст его источник брани.

«Безбожник! — закричал, — изменник!

франкмасон!

Сжечь надобно его, на веру нападает!»

Что ж это был за шут, никто не отгадает.

ЦЕНСОР И СОЧИНИТЕЛЬ

С о ч и н и т е л ь

На рассмотренье вам принес я сочиненье.

Ц е н с о р

Садитесь, сделайте-с, прошу вас, одолжение.
А как-с заглавие, позвольте вас спросить?

С о ч и н и т е л ь

«О Разуме».

Ц е н с о р

Никак-с не можно пропустить.
«О Разуме»! нельзя-с! оно умно, прекрасно,
Но разум пропускать, ей-богу, нам опасно!

С о ч и н и т е л ь

Извольте наперед с вниманием прочесть.

Ц е н с о р

Пожалуйте-с,

(берет рукопись)

вот здесь и карандашик есть,

Чтоб замечать места, — с нас взыскивают строго.
(*Читает.*)

Позвольте-с мне у вас здесь вымарать немного.
Невежда судия! За что-с судей бранить?
Нельзя ли-с, право, как-нибудь переменить?
Подумайте-с.

С о ч и н и т е л ь
Тут нет противного Уставу.

Ц е н с о р
Конечно-с, только мне *невежда* не по нраву,
Поставьте лучше вы *надменный* судия.

С о ч и н и т е л ь
Что ж выйдет из того? сумбур, галиматья!

Ц е н с о р
Ну-с! очень хорошо, покамест я оставлю,
А только-с черточку карандашом поставлю.
(*Читает далее.*)

Прекрасно пишете, у вас слог очень чист...
Что это? нет-с, нельзя! *безумный журналист!*
Ту-с личность, пропустить не можно, воля
ваша!

С о ч и н и т е л ь
Помилуйте...

Ц е н с о р
Да нет-с, велит так должность наша.

С о ч и н и т е л ь

Клянусь, что личности тут нету никакой.

Ц е н с о р

Быть может, журналист и сыщется такой.

С о ч и н и т е л ь

Так что ж?

Ц е н с о р

Так-с очень может статья,
Что право будет он иметь сим обижаться.

С о ч и н и т е л ь

Пусть обижается, а мне что до того.

Ц е н с о р

Ей-богу! обижать не должно никого.
Достанете вражду через такую вольность,
А лучше сохранить во всем благопристойность.

С о ч и н и т е л ь

Врагами дураков иметь я не боюсь
И наставлений брать от вас не соглашусь.

Ц е н с о р

Я, право-с, так сказал, меня вы извините,
Я уважаю вас.

С о ч и н и т е л ь

И я.

Ценсор
Перемените
Из дружбы хоть ко мне.

Сочинитель
Вам хочется шутить?

Ценсор
Без этого никак не можно пропустить.

Сочинитель
Скажите, почему?

Ценсор
Да пропустить опасно.

Сочинитель
Я вижу, что писал я целый год напрасно;
Пожалуйте мою мне рукопись назад.

Ценсор
Я, право, пропустить ее охотно рад,
Мне очень нравится, но сами посудите...
Вы так упрямитесь, поправить не хотите...
Ну! что замечу я, так выкиньте то вы.

Сочинитель
(берет рукопись)
Что ж будет за урод без рук и головы.

Ценсор
Есть новый у меня один роман французский —

Жанлис, не то Радклиф. Не худо бы на русский
Перевести его. Я вам сейчас сыщу.

С о ч и н и т е л ь
(кланяется и уходит)

Не беспокойтесь.

Ц е н с о р
(вслед ему)
Я всё там пропущу.

1811

ПОЕДИНОК

Осла нечаянно толкнул Лошак.

«Смотри же ты, дурак! —
Осел мой закричал, — как смеешь ты
толкаться?»

— «Ах, скот! как смеешь ты ругаться?»

Я жив быть не хочу,

Когда тебя не проучу;

Разделяйся со мной». — «Изволь. . . На чем
угодно?»

— «Ну, на копытах?» — «О! охотно!»

— «Мой секундант Баран». — «А у меня Козел». —
Вот через час, не боле,

С Козлом Осел,

С Бараном же Лошак явились в чистом поле;

У обоих блистает гнев в глазах.

Дрожат от ярости; друг к дружке задом стали,

И очень близко: в двух шагах.

Уж кинут жребий — знак секунданты дали.

Сперва Лошак лягнул — Осел лягнул потом.

Откуда ни возьмись, Хозяин тут с кнутом,

Нет, с плетью, виноват! Не говоря ни слова,

Давай стегать того он и другого;

По очереди им всю спину истегал.

«Проклятые! — из сил он выбившись, вскричал, —

Да что вам вздумалось лягаться?»

Сквозь слез Осел на это говорит:

«Когда point d'honneur¹ велит,

Не рад, а должен драться.

Сам посуди, он стал толкаться...»

— «А он так стал ругаться...»

— «А если станете вы у меня лягаться, —

Хозяин подхватил, —

Хоть и не рад, за плеть я должен буду взяться.

Смотрите же!» — Тут он им плетью погрозил.

При взгляде на нее герои онемели;

Жест более еще подействовал, чем речь,

И после не было уже у них дуэли.

Что, если бы велели

Мальчишек розгами за поединки сечь?

1 декабря 1815

¹ Чувство чести (франц.). — *Ред.*

ПЬЯНИЦА

Пьянюшкин, отставной квартальный,
Советник титулярный,
Исправно насандалив нос,
В худой шинелишке, зимой, в большой мороз,
По улице шел утром и шатался.
Навстречу кум ему, майор Петров, попался.
«Мое почтение!» — «А! здравствуй, Емельян
Архипович! да ты, брат, видно,
Уже позавтракал! Ну как тебе не стыдно!
Еще обеден нет, а ты как стелька пьян!»
— «Ах! виноват, мой благодетель!
Ведь с горя, мой отец!» — «Так с горя-то
и пить?»

— «Да как же быть!
Вот бог вам, Алексей Иванович, свидетель:
Есть нечего; все дети бооиком;
Жену оставил я с одним лишь пятакoм.
Где взять? Давно уже без места я, несчастный!
Сгубил меня разбойник пристав частный!
Я до отставки не пивал.
Спросите, скажет весь квартал.
Теперь же с горя как напьюся,

То будто бы развеселюся».

— «Не пей, так я тебе охотно помогу».

— «В рот не возьму, ей-богу, не солгу;
Господь порукою!..» — «Ну полно, не божися,
Вот крестникам снеси полсотенки рублей».

— «Отец!.. дай ручку!..» — «Ну, поди домой,
проспись,

Да чур, смотри, вперед не пей».

Летит Пьянюшкин наш, отколь взялися ноги,
И чуть-чуть не упал раз пять среди дороги;
Летит... домой? — О нет! — Неужели в кабак? —

Да, как бы вам не так!

В трактир, а не в кабак, зашел, чтобы
промена

С бумажки беленькой напрасно не платить,

Спросил ветчинки там и хрена,

Немножко так перехватить,

Да рюмку водочки, потом бутылку пива,

А после пуншику стакан,

Другой... и наконец, о диво!

Пьянюшкин напился уже мертвецки пьян.

К несчастью, еще в трактире он подрался,

А с кем? за что? — и сам того не знал;

На лестнице споткнулся и упал,

И весь, как черт, в грязи, в крови

перемарался.

Вот вечером его по улице ведут

Два воина осанки важной,

С секирами, в броне сермяжной.

Толпа кругом. И кум, где ни возьмися, тут.

Увидел, изумился,

Пожал плечами и спросил:

«Что? верно, с горя ты, бедняк, опять
напился?»
— «За здравие твое от радости я пил!»

У пьяницы всегда есть радость или горе,
Всегда есть случай пьяным быть;
Закается лишь только пить,
Да и напьется вскоре.

Однако надобно, чтоб больше пил народ:
Хоть людям вред, зато откупщикам доход.

16 мая 1816

СОВЕСТЬ РАЗБОЙНИКА

Попа пред казнию Разбойник попросил.
Приходит Поп. — Ему тот в ноги повалился
И прослезился.
«Простит ли бог меня?» — он у него спросил.
— «Покаяться тебе чистосердечно должно...
Ну, сколько душ ты потерял?»
— «Да как упомнить можно!
Я, право, не считал».
— «А что, посты, чай, соблюдал?»
— «Помилуй, батюшка! да разве я татарин,
Чтоб не соблюл поста?
Избави бог! я христианин;
Так стану ль мясом в пост сквернить свои уста!»

И не разбойники за грех большой считают
В пост оскоромиться, обедню прогулять;
А ближнего оклеветать,
Имение и с ним нередко жизнь отнять —
В достоинство еще и в честь себе вменяют.

7 октября 1816

КАПРИЗ ГОСПОЖИ

«Послушай, маменька, мой друг, —
Супруге говорил супруг, —
Ванюшка давиче мне в ноги повалился...»
— «Что, верно, пьян вчера напился?
Ну, папенька, прости для праздника его».
— «Нет, маменька, не то; он, знаешь ли,
влюбился».
— «Влюбился! а в кого?»
— «Да в горничную Катерину;
Охотою идет Катюша за него».
— «Велю я положить женитьбу им на спину!»
— «Ты шутишь?» — «Никогда я с вами не шучу!»
— «Послушай, маменька...» — «И слушать
не хочу!»
Жените их, а я уж на своем поставлю:
В деревню их отправлю
И там овиней пасти заставлю.
Вот вздумали — женить слугу!
Да я, сударь, терпеть женатых не могу».

27 января 1817

КРЕСТЬЯНИН И КЛЯЧА

«Ну, матушка!.. о, дьявол! стала!
(Филат так Кляче говорил
В лесу, где дров он пропасть нарубил
И воз престрашный навалил).
И с места не сошла еще, а уж устала,
Дворянка!.. я тебе вот дам!»
При слове сем схватил Филат мой хворостину
И ею ну возить он бедную скотину
И по спине, и по бокам.
Упала Кляча на колени,
Как будто милости хотела сим просить;
Филат неумолим, терпеть не может лени
И продолжает бить.
Приподнялась она тут нехотя на ноги
И кой-как потащила воз.
«Пошла, пошла! легко: смотри какой мороз!»
Но Кляча стала вдруг опять среди дороги
И далее нейдет.
Опять Филат ее с плеча дубиной бьет.
Упала, бедная, и уже не встает,
Не тронется, не шевелится.
Филат, приметя то, дивится —
Посмотрит: Кляча умерла!

Как взвояет мой мужик: «Одна лишь и была
 Лошадушка — и та вот пала!
Пропала голова моя теперь, пропала!
Чем прогневил тебя, о господи, Филат?»
 А сам, бездельник, виноват!
 Уж нечего сказать, крестьяне
 Как мучат бедных лошадей!
 Не хуже, право, чем людей
 В какой-нибудь глуши дворяне.

6 января 1819

БЛИНЫ

На Масленице здесь один
Приезжий дворянин
Просил приятеля к себе блинов покушать.
(Не лучше ль есть блины, чем оды, притчи
слушать?)

Пришел тот и принес с собою аппетит.
И водка, и икра уж на столе стоит.

Хозяин на людей кричит
И подавать блины велит.

«Скорее ж подавайте!..
Угодно водочки?.. полнее наливайте!»
Вот подали блины.

Чернехоньки все, сожжены!
«Назад, назад! Я этих есть не стану!

Скажите Куприяну,
Чтобы прислал других,
Да не таких.

Получше... слышишь ли? с яичками, с припекой!
Скорее ж!» — «Слушаю-с», — сказал лакей
высокий,

Ушел, и через пять минут
Блины другие подают.

Блины уж были не такие —
С припекою! зато прекислые, сырые.

«И этих есть нельзя! Вот, право, грех каков!
Но делать нечего, быть, видно, без блинов!
Хоть хлебца нам к икре подайте!
Селедку, масла, сыру дайте.
Скажу вам, у меня ведь повар золотой!
И предводитель наш такого не имеет;
Готовить кушанья он только не умеет —
Ну, каши не сварит простой.
Но, впрочем, я им страх доволен».
— «Да чем? желал бы знать». — «Ах! как он
богомолен!»

17—18 декабря 1821

ПРИКАЗНЫЕ СИНОНИМЫ

Какой-то человек имел в приказе дело.
Он прав был и богат; итак, взяв денег, смело

К секретарю ранехонько идет,
Челом ему, а сам мошонку вынимает
И перед ним на стол крестовики кладет.
Тот, бросивши перо, просителя сажает,

Но с денег сам не сводит глаз.

«Вчерашнего числа в приказ

Я подал, батюшка, прошение...»

— «Читал его, ты прав! всё знаю!» — «А решенье
Когда последует? осмелюсь спросить».

— «Да стоит только *доложить*...»

А там и в город свой ты можешь убираться,
Чем здесь напрасно проживаться».

— «Счастливо ж оставаться!»

Проситель через день пришел опять в приказ.

«Что ж, батюшка, указ

По делу моему? Когда б сегодня можно...»

— «Ведь я сказал тебе, что *доложить* мне

должно».

Проситель принужден был с месяц тут прожить

И слышал то ж да то: *лишь только доложить*.

Не знал, что делать, челобитчик;

Но сжалился над ним повытчик.

«Ну, полно, не тужи, —

Шепнул он так ему, — всю правду мне скажи —
Что дал секретарю?» — «Да двадцать пять
целковых».

— «Ну, так десяточек еще ты *доложи*.

Да мне пять рубликов! Учи вас, бестолковых!

Не смыслите, что доложить

Всё то же, что и приложить...

Фунт чаю взять еще с тебя за объясненье».

Истец исполнил всё тотчас,

И на другой же день как раз

Поспел экстракт, определенье,

И выдали ему указ.

8 сентября 1822

ВОЛЧЬЯ ХИТРОСТЬ

По нужде Волк постился:
Собаки стерегли и день и ночь овец;
Однако же и Волк был не глупец:
Вот думал, думал он — и ухитрился.
Да как же? Пастухом проклятый нарядился:
Надел пастуший балахон,
Накрыл себя пастушьей шляпой,
И, опершись о посох лапой,
Подкрался в полдень к стаду он.
Пастух под тенью спал; собаки тоже спали,
И овцы все почти, закрыв глаза, лежали;
Любую выбрать мог.
«А что? — Волк думает, — когда теперь примуся
Душить овец, то вряд отсюда уберуся:
Начнут блеять, а я не унесу и ног.
Дай лучше отгоню подальше всё стадо.
Постой, да ведь сказать хоть слово дурам надо;
Я слышал, как пастух с овцами говорил». —
И вот он пастуха как раз передразнил —
Завыл.
Поднялся вдруг Барбос; за ним Мурза вскочил;
Залаяли, бегут. Мой Волк уж прочь от стада,
Но в амуниции плохая ретирада:
Запутался он в платье и упал.

Барбоска вмиг его нагнал,
Зубами острыми за шею ухватился;
Мурза тут подоспел, за горло уцепился;
Пастух же балахон и шкуру с Волка снял.

О святках был я в маскараде:
Гляжу, стоит в кружку какой-то Генерал,
В крестах весь, вытянут, как будто на параде,
И как о тактике он врал!
Что ж вышло? это был.. капрал!

ЛГУН

Павлушка *медный лоб* (приличное прозвание!)

Имел ко лжи большое дарованье.

Мне кажется, еще он в колыбели лгал!

Когда же с барином в Париже побывал

И через Лондон с ним в Россию возвратился,

Вот тут-то лгать пустился!

Однажды... ах! его лукавый побори!..

Однажды этот лгун бездушный

Рассказывал, что в Тюльери

Спускали шар воздушный.

«Представьте, — говорил, — как этот шар велик!

Клянуся честью, такого не бывало!

С Адмиралтейство!.. что? нет, мало!

А делал кто его? — Мужик,

Наш русский маркитант, коломенский мясник,

Софрон Егорович Кулик,

Жена его Матрена

И Таня, маленькая дочь,

Случилось это летом в ночь,

В день именин Наполеона.

На шаре вышиты герб, вензель и корона.

Я *срисовал* — хотите? — покажу...

Но после... слушайте, что я теперь скажу:

На лодочку при шаре посадили
Пять тысяч человек стрелков
И музыку со всех полков.
Все лучшие тут виртуозы были.
Приехал Бонапарт, и заиграли марш.
Наполеон махнул рукою,
И вот Софрон Егорыч наш,
В кафтане бархатном, с предлинной бородою,
Как хватит топором —
Канат вмиг пополам; раздался ружей гром —
Шар в небе очутился
И вдруг весь газом осветился.
Народ кричит: «Diable! vive Napoleon!
Bravo, Monsieur Sophron!»¹
Шар выше, выше всё — и за звездами
скрылся...

А знаете ли, где спустился?
На берегу морском, в Кале!
Да, опускаясь к земле,
За со́сну как-то зацепился
И на суку повис,
Но по веревкам все спустились тотчас вниз;
Шар только прорвался и больше не годился...
Каков же мужичок Кулик?»
— «Повесил бы тебя на со́сну за язык, —
Сказал один старик. —
Ну, Павел, исполать! Как ты людей морочишь!
Обманывал бы ты в Париже дураков,
Не земляков.

¹ Черт возьми! Да здравствует Наполеон! Браво, господин Софрон! (франц.) — *Ред.*

Смотри, брат, на кого наскочишь!..

Как шар-то был велик?»

— «Свидетелей тебе представлю, если хочешь:

В объеме будет... с полверсты».

— «Ну как же прицепил его на со́сну ты?

За олухов, что ль, нас считаешь?

Прямой ты *медный лоб!* Ни крошки нет

стыда!»

— «Э! полно, миленький, неужели не знаешь,

Что надобно прикрасить иногда».

15 сентября 1823.

СУДЬЯ ФАДДЕЙ

Нет, не было еще такого из судей,
Каков был в старину *чугунный лоб* Фаддей:
Цыгане все ему в бесстыдстве уступали!
Служил он в коннице, как ротмистр Брамербас,
И из конюшни вдруг переведен в Приказ!!
Как в старину места давали!
Однако же Приказ не то ведь, что Парнас!
И на Парнасе здесь кого мы не видали?

Фаддей

Не из ученых был людей,
Не так-то грамотен; в Приказе ж был подьячий,
Подьячий с приписью, искусник, сын собачий!
Знал все крючки, но не был смел;
Блудлив, как кот, труслив же, как зайчишка,
Подьяческая так душишка!
И потому один не мог он делать дел.
Подьячий походил на хитрую собаку,
Которая исподтишка
Кусает, а не лезет в драку,
Чтобы не потерять ушка.
Фаддей же сдуру лез всегда, как конь в атаку.
Но, впрочем, был он не дурак:
Судил почти всегда вот так:
«Как смел ты вопреки закону

Для церкви поправлять икону?» —
Он подсудимого в присутствии спросил,
А подсудимый сам иконописец был;
Тот отвечает смело:
«А мне какое дело?
Отец Василий мне икону эту дал;
Так я ее и подновлял».
— «Добро бы подновлял ты краски,
Зачем, скажи, переменял?
Такие ль были прежде глазки?
Такой ли носик?» — «Нет, уж слишком мал
был нос;

Так я его прибавил;
Один глаз был велик, так я его убавил,
Да и спрямил, чтобы угодник не был кос».
— «А знаешь, сказано, что *еще кто прибавит
Или убавит,*

Да будет проклят тот!»
Вот как священное писанье понял, скот!
— «Помилуйте!..» — «Ни слова больше!
Вот я тебя уйму!
В тюрьму!

Я знаю, как судить: ведь я и вырос в Польше!»

Избави господи нас от таких судей,
Каков безграмотный *чугунный лоб* Фаддей!

СОБАКА И СЕКРЕТАРЬ

Быль и сказка

Вот Софьи Дмитриевны не стало!
И Гектор стал совсем другой,
 Уж не такой,
 Что был при ней. Бывало,
 Ни на кого он не глядел
И кроме барыни, других знать не хотел,
 Хлеб белый нюхал, а не ел!
 К одной лишь госпоже ласкался,
 На слуг и на гостей рычал,
Поэтов-баловней — и тех не отличал!
Всё по диванам он, как граф какой, валялся!..
Но после Маслениой всегда приходит пост...
 Теперь Гектор, поджавши хвост,
 Лежит — но только не в диванной.
 А где же? В кухне, на полу,
 В углу,
 И без подушечки сафьянной.
Поверят ли тому? Хлеб черный начал есть!
«Гекторка!» — скажет кто — ему и это в честь.
Уже Гекторинькой его не называют,
Уж на диван его, на креслы не сажают
И кушаньки ему не вовремя дают.
Кому его кормить? — Слегла в постель Варвара,

Залай лишь только он — того и жди удара.

О варвары! Гектóra бьют,
Не розгой тоненькой, как барыня бивала,
А чем попало!

Не возвратить ему счастливых прежних дней!
О госпоже своей и день и ночь он тужит,
Что более ее не видит, ей не служит.
О Гектор! не один жалеешь ты об ней!

Имел я честь знать барина большого,¹

Который был не так умен,
Как Софья Дмитриевна Пономарева,
Но горд — как фараон.

На старости он был влюблен
В секретаря; а тот был Гектора умнее,
Однако не честнее:
Не только что с чужих, и с родственников брал.
Поклонится ему, бывало, генерал —

Он на него почти не взглянет,
А милость — говорить коль станет
И за руку возьмет; ходил поднявши нос
И, господи прости! как пес

На бедных всех просителей кидался,
Облает всякого, лишь только не кусался.
Так вел себя он до того,
Пока начальника его,
Вельможу гордого известнейшей породы,
Уволили на теплы воды;
Секретаря же, подлца.

¹ Не верьте: это уже не быль, а сказка — впрочем, правоучительная.

Изо дворца
Препроводили в караульню.
Тут вспомнил фаворит цирюльню,
В которой некогда учился кровь бросать,
Пока он не умел еще ее сосать.
В уединеньи, в заточеньи
И в сильном огорченьи
Что делать как не пить?
И так он пил, для подкрепленья духу,
Сперва шампанское, там ром, а там сивуху —
И той не всякий день, к несчастью, мог купить!
И трезвый он и пьяный всё сердился.
На гауптвахте тут с полгода просидел;
Потом освободился
И *находился*
До самой смерти *не у дел* —
Никто об нем не пожалел.

Временщики! временщики!
Не забывайте, не гордитесь —
И если вы не дураки,
Учтиво, ласково со всеми обходитесь,
Поверьте — гордые, хоть поздно, но падут,
А добрые нигде не пропадут.

ЭПИГРАММЫ

* * *

«Ты друг мне?» — «Друг». — «А чем докажешь?»
— «Что ни прикажешь,
Всё сделать рад».
— «Дай денег мне займы». — «Изволь... давай
заклад».

1807

* * *

Я месяц в гвардии служил,
А сорок лет в отставке был.
В деревне я учил собак,
Ловил зверей, курил табак,
Наливки пил, секал крестьян,
Жил весело и умер пьян.

1809

К ИЗОБРАЖЕНИЮ ФЕМИДЫ

(С немецкого)

Одной рукой — весы, другою — меч держу.
Кладите — свешу я; коль мало — поражу!

1809

* * *

Под камнем сим лежит губернский предводитель.
Он был собак борзых и гончих покровитель.

1809

* * *

Под камнем сим лежит великий генерал.
Его солдаты не забудут
И долго, долго помнить будут,
Как он их палками бивал.

1810(?)

* * *

Ну, исполать Фаддею!
Пример прекрасный подает!
Против отечества давно ль служил злодею,
А «Сын отечества» теперь он издает.

Вторая половина 1820-х годов

* * *

«Твои портреты очень схожи:
На лица пишешь всё!» — «Нет, я пишу на рожи».

М. В. МИЛОНОВ

Михаил Васильевич Милонов (1792—1821) происходил из семьи просвещенного, но небогатого воронежского помещика. Материальная нужда была постоянным жизненным спутником Милонова. В 1803 году он поступил в Благородный пансион при Московском университете. С 1805 по 1809 год учился в Московском университете, который успешно закончил, получив степень кандидата. Затем Милонов переезжает в Петербург и поступает на службу, сначала в Министерство внутренних дел, а затем, пользуясь покровительством И. И. Дмитриева, — в Министерство юстиции. В 1812 году он пытался при посредстве П. А. Вяземского вступить в формируемый гр. М. А. Дмитриевым-Мамоновым гусарский полк. После 1815 года, когда он бросил службу, Милонов страшно бедствовал и, пристрастившись к водке, начал опускаться. Попытки снова сделаться чиновником, поступив на службу, ни к чему не привели. Последние годы жизни Милонов провел больной и голодный, почти потерявший разум, но не утративший интереса к литературе.

*

Поэтические упражнения Милонова начались еще в университетском пансионе, а в печати стихи его стали появляться в 1807—1809 годах («Утренняя заря», «Вестник Европы»). Затем он принимает активное участие в «Цветнике» и «Санкт-Петербургском вестнике» Измайлова, «Сыне отечества», «Благонамеренном» и других периодических изданиях.

Издания стихотворений М. В. Милонова:

Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михаила Милонова. СПб., 1819.

«Поэты-сатирики XVIII — начала XIX в.». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1959.

К РУБЕЛЛИЮ

Сатира Персиева

Царя коварный льстец, вельможа напыщенный,
В сердечной глубине таящий злобы яд,
Не доблестями души, пронырством вознесенный,
Ты мешешь на меня с презрением твой взгляд!
Почту ль внимание твое ко мне хвалою?
Унижуся ли тем, что унижён тобою?
Одно достоинство и счастье для меня,
Что чувствами души с тобой не равен я!
Что твой минутный блеск? что сан твой
горделивый?

Стыд смертным и укор судьбе несправедливой!
Стать лучше на ряду последних плебеян,
Чем выситься на смех, позор своих граждán;
Пусть скроюсь, пусть навек бегу от их собора,
Чем выставлю свой стыд для строгого их взора;
Когда величием прямым не одарен,
Что пользы, что судьбой я буду вознесен?
Бесценен лавр простой, венчая лик героя,
Священ лишь на царе владычества венец;
Но коль на поприще, устроенном для боя,
Неравный силами, уродливый боец,
Где славу зреть стеклись бесчисленны народы,
Явит убожество, посмешище природы,

И, с низкой дерзостью, героев станет в ряд, —
Ужель не обличен он наглым ослепленьем
И мене на него уставлен взор с презреньем?
Там все его шаги о нем заговорят.
Бесславный тем подлей, чем больше ищет славы!
Что в том, что ты в чести́х, в кругу льстецов

лукавых,
Вельможи на себя приемлешь гордый вид,
Когда он их самих украдкою смешит?
Рубеллий! Титла лишь с достоинством почтенны,
Не блеском собственным, сияя им одним,
Заставят ли меня дела твои презренны
Неправо освящать хвалением моим?
Лесть сыщешь, но хвалы не купишь
справедливой!

Минутою одной приятен лести глас;
Но нужны доблести для жизни нам счастливой,
Они нас усладят, они возвысят нас!
Гордися, окружен ласкателей собором,
Но знай, что предо мной, пред мудрых строгим
взором,

Равно презрен и лесть внимающий, и льстец.
Наемная хвала — бесславия венец!
Кто чтить достоинства и чувства в нас
не знает,

В неистовстве своем теснит и гонит их,
Поверь мне, лишь себя жестоко осрамляет;
Унизим ли мы то, что выше нас самих?
Когда презрение питать к тебе я смею,
Я силен — и ни в чем еще не оскудею;
В изгнании от тебя пусть целый век гублю,
Но честию твоих сокровищ не куплю!

К ЛУКАЗИЮ

Сатира вторая

Луказий! решено: ты хочешь быть поэтом
И требуешь, чтоб я снабдил тебя советом,
Как славы достигать и имени певца;
Что легче, как найти невежду и льстеца?
Ищи их и пиши: всё будет совершенно!
Писателем прослыть весьма обыкновенно.
Стихи свои хвалой наполни гнусных дел,
Будь дерзок, подл и льстец — и слава твой

удел!

Рубеллию тверди, что он рожден вельможей,
Жене его шепни, что всех она пригожей,
А *Балдусу*, вралю, что первый он поэт,
И одами зови его высокий бред;
Утешь его, скажи, что добрый час настанет
И свет стихи его порочить перестанет,
Что, рано ль, поздно ли, насмешники помрут —
И томы пыльные читателей найдут;
К *Вралеву* забеги с пренизким ты поклоном:
Ему не в первый раз вступаться Цицероном
За скаредных певцов, уродство их хвалить,
Дерзни его хоть раз с Горацием сравнить —
И он, не устрашась, провозгласит пред светом
Тебя и Пиндаром, и классиком-поэтом!

Там к *Бавию* иди: сей ждет тебя бедняк,
Отец *помесячных* нелепостей и врак,
Дай что-нибудь ему! он скоро разорится —
И жизнь твоя как раз в журнал его вклеится!
С огромною своей поэмою спеши
В дом *Клита* и ему усердно припиши:
Он знатный господин, талантов покровитель
И просвещения в отечестве ревнитель,
Страницей лести лишь пожертвуй — и твой труд
На счет его казны тиснением предадут!
Лишь книга добрая явиться в свет не смеет,
А вздорная везде заступников имеет,
Нет нужды, что о ней забудут через дны!
Тем лучше, сочинять *Луказию* не лень;
Комедии своей желаешь ли успеха:
Зови друзей в театр для хлопанья и смеха —
И слава о тебе промчится в *шумный рай!*
В обширных замыслах своих не унывай:
Быть может, за игру актрисы превосходной
Похвалят и стихи в трагедии негодной;
Тогда тебя введут к *Лукуллу* в пышный дом,
Где он, обсаженный невеждами кругом,
За каждую строку твоей подлеишей лести
Сторицею воздаст хвалы тебе и чести!
В ученых обществах ты станешь заседать,
Куда стекаются не слушать — а зевать;
Где *Мидас*, мстя женам, в бессмыслии суровом,
Недавно их морил своим похвальным словом;
Но только ли еще? — о гении твоём
И *Клузий* возвестит в издании своём,
И *Глазунов*, сей муж, толико благодарный,
Распишет о тебе хвалою высокопарной,

И книжного ума брадатый продавец
Всех будет уверять, что первый ты певец!
У нас кто захотел в поэты — записался;
Хоть новый рекрут сей с грамматикой
не знался.

Нет нужды до того! отвага, дерзость, лесть
Невежд и подлецов нередко вводят в честь!
Смелей бери перо! примеры пред тобою;
Так *Мевий*, разродясь сатирою одною
И выдав сто дурных стихов наперечет,
Попал в певцы и всем свой строгий суд дает;
Ах, сколько есть таких, которы, от рожденья
Не могли написать двух строк без погрешенья,
Взялись о правилах и вкусе говорить;
Невежда боле всех имеет страсть учить.
И ты, хоть не богат своим природным даром,
Старайся заменить его отвагой, жаром,
Найдутся многие, которые простят
Бессмыслице твоей за то, что в ней узрят
И цель полезную, и рвение благое,
Которы облечешь ты в рубище худое, —
Что добрый гражданин, что в службе ты давно;
Как будто гражданин и автор — всё равно!
Как будто стыд тому, кто всех из нас честнее,
Быть в мыслях правильной и в связи их яснее;
Пусть *Фабий*, нежный друг, пусть добрый он
отец,

Пусть мужа верного он будет образец,
Все качества сии достойно уважаю,
Но, слушая его трагедии, — зеваю;
И если б кто дерзнул в присутствии моем
Сказать, что он рожден трагическим певцом, —

И мне бы отвечать на то не можно было:
Молчание мое льстеца бы обличило.
И как, не изменяя и чести, и стыду,
Осмелюсь назвать я, к собственну вреду,
Нескладного певца поэтом превосходным,
Хотя б он в доброте Сократу был подобным?
Радковского вранье поэмою считать,
С российским Пиндаром *Бесмыслова* равнять
И, чтоб никто в моем безумстве не сомнился,
Кричать, что снова Юнг в *Плаксевице* родился!
Скорей решусь принять ужасный приговор,
Что буду помещен поэтов сих в собор,
Скорее соглашусь смешнее быть *Шутова*,
Глупее *Бавия* и даже злей *Злослова!*
Но это для себя, Луказий, я сказал,
Ты смело достигай великих сих похвал;
Так *Фирса* Томасом друзья его назвали,
Хоть смысла у него в твореньях не встречали,
Но он привык искать не смысла — длинных слов,
И мало ли ему подобных есть творцов?
Их дружбы ты ищи, их слушай наставленья,
Яви себя рабом нелепого их мненья,
Наука их легка: не думать ни о чем,
Лишь странным щеголять в болтаньи языком;
Так *Вадий* нанизал поэму в их расколе
Из смеси чудных слов, неслыханных дотоле, —
И вправду славен он! поэмой будет сей
Теперь определять безумие людей!
Но главный мой совет: будь тверд в своем
ты мненье
И бранью защищай нелепое творенье;
На всё за детище любезное дерзай,

И умным, и глупцам ни в чем не уступай.
Быть может, иногда ты встретишь, хоть их ма
Людей, которые острят на глупость жало,
Тогда, расвирепев и взявши прозный вид,
Брани их наповал, забыв и честь, и стыд;
«Безбожник, — закричи, — злодей и изверг све
Кто смеет не почитать в Луказии поэта!»
Но этих смельчаков немного меж людей,
И прозе, и стихам большая часть судей:
Педант, над книгами в течение полвека
Утративший и смысл, и образ человека,
Который всякий час, с надменною мечтой,
Вам будет заменять грамматику собой,
Который всё наук прошел обширно поле,
И сам — том древняя грамматики, не боле,
Иль автор мелочей, в посланиях своих,
Где с здоровой логикой в раздоре каждый ст
Дающий вес умам, познаниям, талантам;
Иль *Вариус*, что схож с огромным фолиантом,
В котором столько же нелепиц, сколько слов,
Иль славы ищущий ругательством *Злослов*,
Кто, площадную брань нам выдав за сужде
Себе вменяет в честь всеобщее презренье;
Иль *Друз*, что о любви к отечеству твердит
И первый сам его невежеством срамит!
Ступай, Луказий мой, храня в душе отвагу,
Смелей переводи чернила и бумагу,
Такое ремесло нимало не во вред!
Но вижу, что тебя смущает мой совет;
Такими ль, говоришь, такими ли путями
Державин, Дмитриев прославились меж нами?
Не все под счастливой планетой рождены;

Луказий, чтоб дерзать за славой, как они,
Чтобы стяжать венцы, которы их покрыли,
Им равные, скажи, имеешь ли ты силы?
Питаешь ли в груди божественный сей жар,
Который от небес немногим послан в дар,
Сию высокость чувств и духа благородство:
Достоинство людей, поэтов превосходство!
Для славы истинной отважишься ль на всё,
Найдешь ли ты в себе возмездие свое?
Луказий! не мечтай: мне цель твоя известна!
С прямым талантом лезть и низость

несовместна.

Для тех особый путь назначен был судьбой;
Тебе ли, как они, прославиться собой,
Одну лишь страсть к стихам несчастную имея?
Что́ подвиг Геркула для слабого пигмея?
Совет же мой лёгок — и к славе путь прямой,
Решился — в добрый час! пиши — и бог с тобой!

<Н. Ф. ГРАММАТИН>У

Твоя комедия без *или*,
И на театре ей не быть:
Она сгниет в архивной пыли;
Да почему ж ей и не сгнить,
Когда и с прибавленьем *или*
Давным-давно две Лизы сгнили?
Я разумею: Лизу, *или*
Признательности торжество;¹
И ту, какой и естество
Не создавало: Лизу, *или*
Распрепечальный *результат*
И *гордости и обольщенья*.²
Ну, так бери свои творенья
Да и скорей их в печку, брат!

1810(?)

¹ «Лиза, или Торжество благодарности», драма Н. И. Ильина.

² «Лиза, или Следствие гордости и обольщенья», драма Б. М. Федорова.

УНЫНИЕ

Люблю в душе моей уныние питать.
Природа всякий час готова нам внимать,
Наставник истинный, товарищ драгоценный!
Но более всего люблю тот час священный,
Как гаснет в облаках, прощаясь с миром, день,
Как длинная с холмов в долины ляжет тень,
Полдневных шум работ умолкнет постепенно
И пение певцов слабеет отдаленно,
Скрываются цветы, чернеют зыби вод,
Как света царь, скончав торжественный свой
ход,

Померкшее чело скрывает за туманом —
И теплится заря на западе багряном.
Тогда, мечтается, с прохладным ветерком
Молчание летит под маковым венком,
Друг ночи и о ней желанный возвеститель!
Ты мир и сон ведешь оратая в обитель.
Час вечера в полях — печальный жизни вид!
Струя сокрытых вод вокруг меня журчит,
И аромат с цветов невидимых восходит;
Тогда во глубину свою мой дух нисходит:
Спят чувства — и мечта его оживлена!
Парениям ее вселенная тесна.
Сюда питать ее, под наклоненной ивой,

Сажусь — и углублен в беседе молчаливой —
Сюда — уныния и мудрости друзья!
Лик месяца блеснул на зеркале ручья!
Пред мною храм села, в очах моих кладбище,
Отшедших от земли пустынное жилище,
Не бронза, не гранит — вещатели похвал!
Полуобрушенный, покрытый дерном вал,
Заросших ряд могил, где мох лишь, поседевший
На камнях гробовых иль вновь зазеленевший,
Почивших время сна являет для очей;
Здесь пепел их свежит извилистый ручей,
Как братья, как друзья, гроб вместе старца,
млада,

Их персти не делит железная ограда!
При них взор странника стремится отдохнуть,
О братья, вместе течь и вместе кончить путь!
О тленности мечта здесь дух мой посещает,
Шаг каждый мой себе подобных попирает,
Из праха нашего составила земля.
А там, где день и ночь гремит творцу хвала,
В природной простоте ума не озаренна,
Не хитростью его, а чувством соплетенна,
Где, мнится, сам отец внимает чад своих,
Вселяет в злых страх и милует благих,
Где древность на стенах секирой твердой
стали

Неизгладимые означила скрижали, —
В сем храме мысль моя со трепетом парит,
Приникши к алтарям, поющи лики зрит,
Дух — верую, мольбой — ланиты воспаленны,
Уста, несущи песнь, и очи умиленны:
Там молится, предстать готовясь пред судом,

Раскаянье, к земле приникшее челом,
В потоке слез свое сретает искупленье;
Благословляя там от мира удаленье,
Согбенный лѣтами, под бременем скорбей,
Желая ускори́ть кончиною своей,
Дом тесный труженик себе уготовляет,
Не кончен зрится труд... а старец
истлевает!..

Сюда, в час осени, стекайтесь, друзья!
Как с шорохом листов смесится шум ручья
И ток, расвирепев, в расширенном стремленье,
К окрестным понесет жилищам потопленье,
Как ветер восшумит, внезапный гость лесов,
И обнажит верхи дряхлеющих дубов,
Когда отцветшие дубравы и долины
Представят взорам вид печальныя картины
И вы не встретите в зеркале мутных вод
Ни утра зарево, ни неба ясный свод,
Феб скроется, узрев природы разрушенье,
И, в скорби, сократит для ней свое теченье,
Когда она, сорвав красот своих венец,
Сама — как старица, слетающа конец, —
Тогда, мои друзья, в сей мрачный лес

вступайте;
Свой собственный закат всеобщим услаждайте,
Смерть менее страшна, коль думаем о ней.
Сидящим вам в мечтах, быть может, вестник
сей,

На мшистой высоте повременно звучащий,
Которым говорит вам миг, от нас летящий,
Моления скажет час... во храме огонь блеснет,
Всяк к месту, в нем себе избранному, придет:

Торжествен час хвалы, предвечному несомый!
Быть может, окружив почивших тесны дома,
Благословения на прах их притекут,
Моление и скорбь свой тихий гимн сольют,
И взыдет фимиам над дремлющим в покое. . .
Там веры почувствуйте величие простое!
Или всю скорбь в себе стремитесь вместить,
Всю силу ближнего несчастье делить,
Когда, сквозь частый кров, составленный
ветвями,
С бледнеющим челом, с померкшими очами,
С власами, падшими в небрежности на грудь,
Вы узрите красу, таящу робкий путь
К могиле, где ее отрада заключенна:
Дух скорбью услажден, грудь плачем облегченна!
Склонясь на мшистый крест задумчивым челом,
Уныния она вам будет божеством.

ПОХВАЛА СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Beatus ille qui procul etc.

Hor. 1

Блажен, кто жизнь свою в свободе провождает,
Как первобытныя вселенны гражданин,
Доставшийся ему удел распространяет
И в отческих полях работает один.
Его не утрашит труба, войну гласяща,
Свирепых воинов во трепет приводяща,
Ни разъяренныя стихии прозный вид;
Корысти он вослед чрез бездны не летит.

Но, лучшею себя забавой услаждая,
В саду сухую ветвь пилой отъемлет прочь,
Ослабшую крепит, с другой сочетавая,
Там тополу спешит любимому помочь;
С веселием стада с полей своих встречает,
Там круторогую телицу загоняет,
Там агницы стрижет сребристое руно,
Иль, златом полное, обходит он гумно.

1 Блажен, кто вдали и т. д. Гораций (лат.). — *Ред.*

Когда ж, венчанная румяными плодами,
К нам осень притечет, обильная в дарах,
Как мать щедрая, ожиданна сынами,
И пиршество для них устроит на полях —
Приспела сладкая трудов его награда,
Там точит пурпурный он сок из винограда,
Там им возвращенный плод рука его берет
Иль в чашу светлую янтарный цедит мед.

Всё вам, о боги, в дар! вам жертвы обреченны,
Властители лесов, стрегущие стада
И быта сельского хранители священны,
Приносит первого избытки он плода;
Ваш храм, украшенный работою простою,
На утрие его исполнится хвалою,
Церере принесет он юного овна
И Вакху на алтарь — обильный ток вина.

Садится ль он дубов развесистых под тенью,
На мягкой зелени, кропимой ручейком,
Внимает ли его приятному теченью,
Согбенный дуמוю или объятый сном,
Летающий зефир в него прохладой дует,
На ветви голубок, уединясь, воркует,
И сам поет вблизи пернатых царь певцов,
Во мраке притаясь чуть веемых листов.

Когда ж печальную и хладную часть года
Юпитер от небес на землю низведет,
Преследует зверей различного он рода,
Со стаяй псов, вокруг расставленных тенет, —
Вотще тогда бегут и заяц торопливый,

Стремящийся сокрыть в излучинах свой след,
Щетинистый кабан и серна боязлива,
Пригнувшая рога на трепетный хребет!

Как весело домой с добычей возвратиться!
Там мать нежная, любимая жена,
Перед пылающим горнилом суетится,
Малютки милые толпятся вокруг огня;
Умеренность, обед приправив с простотою,
Стол кроют дедовский с старинною резьбою,
И травы, и плоды — садов домашних дар,
Мед чистый и вино — посланье щедрых лар!

Там летним вечером его встречают взоры,
Как весело бегут, тесняся меж собой,
Овечки сытые в скрыпящие затворы,
Склоняся под ярмом дебелую главой,
Как медленно идут волы, оставя нивы,
И скачут разметав кони златые гривы!
Ни скука, ни тшета, ни скорбь, боязни дщерь,
Не входят никогда в его простую дверь.

К МОЕМУ РАССУДКУ

Сатира третья

Смирись, рассудок мой! к чему такое рвенье?
Сатира для людей — худое наставленье.
С сим страшным ремеслом ты будь всегда готов
Приязни рушить связь, нажить себе врагов;
Все скажут о тебе: насмешник сей несчастный
Есть язва общества, ум вредный и опасный,
Беги его, страшись — для острого словца
В сатире уязвит он мать и отца!
И те, которые слывут тебе друзьями
И смелыми подчас пленяются стихами,
В обиженном лице портрет увидя свой,
Смеясь вслух над ним, а тихо над тобой,
К толпе твоих врагов тотчас передадутся
И дружества с тобой под клятвой отрекутся;
Сатира, в коей желчь и злоба лишь видна,
Без пользы для других писателю вредна;
Исправишь ли порок насмешкою одною?
Стихи ль подействуют над зверскою душою?
Напрасно! все труды останутся вотще,
Такие чудеса не слыханы еще.
Ты будешь обличать *Грабилина* злодейства,
Им разоренные показывать семейства:
Что пользы? Хищник сей покоя и добра

Иль друг с вельможами, иль силен у двора!
Хоть всеми бранными осыпь его словами,
Он, откуп новый сняв, сравнен с полубогами!
И день и ночь пиры богатые дает,
На коих — крокодил! — он кровь и слезы пьет!
Ты скажешь: на суде, пред взорами *Клеона*,
Уснула грозная блюстительность закона,
Невинный осужден, оправдан плут... а он?
Он знатен, он богат, на что ему закон?
Суда для сильных нет — он слабым лишь
ужасен;

Преступник чем знатней, тем боле безопасен.
Явишься ль в общество осмеивать порок
Иль юности давать спасительный урок,
Бранить невежество, пустую знатность рода, —
Что ж будет? все тебя в нем примут за уroda,
Который должного почтения не хранит
И смело знатному о чести говорит!
Писателей дурных исправить ты желаешь, —
Вот цель премудрая! как будто выставляешь
Себя лишь одного для них ты образцом;
В сатире, где едва смысл вяжется с стихом,
Пришел, вскричат они, давать нам наставленья,
Как будто бы писать нельзя уж без ученья!
Начнешь ли *Балдуса* порочить скучный бред —
Он добрый человек, — услышишь ты в ответ;
Кто право дал тебе бранить его нещадно?
Всяк волен здесь писать и складно, и нескладно;
Простительно отцу лелеять милых чад;
К тому ж ввели ль кого стихи его в разврат,
Недолговечные творения поэта,
Которые гниют, не знав дневного света?

Вралева упрекнешь — все ахнут: боже мой,
Что труд *Бессмыслова* возносит он хвалой!
Чего же хочешь ты? вражды между друзьями,
Которые живут взаимными хвалами?
Оставь, оставь навек такое ремесло,
Пока оно тебе вреда не принесло;
Поэма вздорная, нелепо песнопенье
Герою и певцу есть вместе посярмленье!
Пусть тонет, пусть горит, в незнании от всех,
Сказав о ней, родишь лишь жалость, а не смех;
Печатный всякий вздор исчезнет сам собою:
Его ли воскресить осмелишься хулою?
Театра нашего и слава наших дней:
Сумбека, Радамист, Электра и Атрей, —
Довольно на себя врагов вооружили:
Пыль, черви, сырость, мгла войну им объявили!
И ты, на сцену вновь явившийся, *Эдип*,
Из нищего — царем безжалостно погиб,
Предтечу своего вотще затмить стремился,
Слепец афинский жив — а *царь Эдип* сокрылся
При плеске зрителей высокого райка!
Но можно ль сосчитать, упомнить, хоть слегка,
Трагедий, драм собор, труд цеха заказного,
Которы погреблись в подвалах Глазунова;
Пусть, клятвой отягчась расчетных продавцов,
Скрывают там себя и стыд своих творцов, —
Нет, мало! для твоей обидной им забавы
Ты отыскал в пыли валявшийся «Храм славы»,
Биона с Мосхом вновь несчастный перевод,
И Федру *Бавия*, и кучу разных од,
Улику жалкую бессмыслия, безумства;
Но мщенье ждет тебя за дерзость и кощунство!

Уж *Вздоркин* для тебя по дням и по ночам
Терзает бедный ум для жалких эпиграмм;
Уж вновь бессвязное послание готовит,
В котором очернит тебя и озлословит,
И, в гибельном бреде, бумажный витязь сей,
С костра возопиет к дружине так своей:
«Зачем мы, друг, с тобой на сем костре палящем?
Я сроду не писал ни *абие*, ни *аще!*
Он враг мой, он злодей, в посланиях моих,
Жестокий! обличил в бессмысли каждый стих,
А их хвалил и ты, хвалил мой благодетель,
Сам, в радостных слезах, я был тому свидетель;
О! вечно я ему сей злобы не прощу
Иль *абие* скорей в стихи мои вмещу! . . .»
Так *Вздоркин* на тебя в посланьи ополчится,
Проси его иль нет, уж он не примирится,
Тиснению себя безжалостно предаст;
Ты шепчешь: «В добрый час! не так-то он
горазд»;

Согласен в том с тобой; но разве не случалось,
Что даже *Балдусу* нередко удавалось
Насмешкою платить насмешникам своим;
Не сам ли он тебя под именем чужим
Недавно разбранил и с другом поплатился,
Чтоб глупость тот его назвать своей решился;
В немногих сыщешь ты ума и остроты;
Во всех достанет сил для подлой клеветы;
И брань ли требует таланта здесь какого,
Коль льется нам она с пера и с уст *Злослова?*
Пусть *Балдус* не страшит, пускай его весь век
В кропани стихов уродливых протек,
Но *Бавий*, *Мевий*, *Фирс*, поющий доброгласно,

Но злобных рифмачей соборище ужасно!
Один уж пред тебя с ругательством предстал,
Торгаш бессмыслицы и продавец похвал,
Который всех морит в горячке стихотворной
Журналом, виршами и прозою позорной:
Страшись, страшись толпы рассерженных певцов,
Уж гром их над тобой обрушиться готов.
Неистовый порок обиды не прощает,
И гибельный конец злословье ожидает!

Но тише — ты в ответ и в спор со мной идешь:
Ты вид злоречию совсем иной даешь;
Когда бы, например, в горячности безмерной,
Открыл пред светом я тот путь невероятный,
По коему достиг *Рубеллий* до честей,
Стал властвовать людьми, раб низкий всех
страстей,

Когда бы, гнусную сорвав с него личину,
Я подлых дел его открыл хоть половину
И, в виде собственном представив на позор,
Ужасный произнес над ним бы приговор;
Когда бы обличил я страшны злодеянья,
Которы, в поздние минуты покаянья,
Ханжихин, устрасась и смертных, и богов,
Смирненно облачил в монашеский покров;
Когда бы, позабыв к прелестным уваженье,
Всех тайн *Кокеткиной* я сделал откровенье
Иль жизнь *Распутина* порочить стал бы вслух,
Как в ветхой хижине, храня он бодрый дух
И мудрость с ранними обретши сединами,
Нас жалкими о ней смешит проповедьями, —
По праву б ты меня злоречивым назвал;

Но чтобы над глупцом смеяться я престал?
Чтоб, *Вадия* стихи внимая на мученье,
Я мог выказывать в лице своем терпенье;
Чтоб, стоя с низостью пред знатным подлецом,
Престал бы соглашать я сердце с языком,
Иль чтоб в кругу друзей, с людьми иль меж
стенами,

Бурруна, *Бавия* назвал бы я певцами;
Чтоб, оды *Балдуса* читая, не зевал,
В них каждой бы строки с досады не марал,
На жалкий перевод Расина и Вольтера
Спокойно бы смотрел и хлопал из партера, —
На это нет моей покорности к тебе:
Я это повелеть не в силах сам себе.
Предавши своему печатный вздор суждению,
Мешаю ль от него купцов обогащению?
Благодаря уму своих покупателей,
Как Крез, от глупых книг разжился Глазунов;
И в чем же виновен я, когда, за наказанье,
Купивши и прочтя *Бессмыслова* маранье,
Скажу, что лучше б он его не издавал, —
Тогда его глупцом никто бы не назвал;
Полезный сей совет всяк право дать имеет
Тому, кто пишет вздор и вздор печатать смеет.
Пусть автор плачущий нанижет пять страниц,
Где просит милости, пощады, павши ниц,
Не внемлет ничего читатель беспристрастный:
Стихи летят в огонь — и гибнет труд несчастный!
К тому же в силах ли сатирой я своей
Хоть мало обратить на разум рифмачей?
Я *Балдусу* твержу: ты не рожден поэтом;
Будь другом, будь отцом, полезен будь советом

Иль помощью другим; лишь кончу мой совет,
А *Балдус* за перо — и вновь полился бред,
И мне ж за доброе приязни наставленья
Несносные стихи читают на мученье!
Я *Вздоркину* сто раз стыд тяжкий предрекал,
Когда он в свет свои посланья издавал;
А *Вздоркин* — что ни день, то басня или ода,
А *Вздоркин*, нового произведя уroda,
Скропавши два стиха, надулся и кричит:
«О радость! о восторг! и я, и я пиит!»
Вотще пред *Бавием* все силы истощаю
И к смыслу здравому склонить его желаю;
Рифмач неколебим — и с каждою луной
Нас новою дарит в журнале чепухой;
Советом оскорбься, себе ж к стыду и сраму,
Смешную на меня пускает эпиграмму;
И это ль ты во мне злоречием зовешь,
За это ли конца ужасного мне ждешь?
Не мне ли одолжен тем *Балдус* многоплодный,
Что, может быть, его прочтет потомок поздний?
Безвестны имена: *Фирс*, *Мевий* и *Злослов*, —
Известность обретут ценой моих стихов,
И, может быть, с гудком мой *Бавий*, вместо лиры,
По смерти рассмешит читателей сатиры!
За это ль на себя их мщенье навлеку,
Что я им лишний год прибавлю на веку?
Но, муза! замолчим, покорствовать умея,
До первого глупца — и первого злодея!

К ЮНОСТИ

Ты утекаешь невозвратно,
О время юности моей,
Как сна мечтание приятно
Летит с зарею от очей!
Зову тебя — судьба жестока
Не обращает вспять потока,
В котором гибнет миг и век;
Исчезло всё, что прежде льстило,
Затмилось дней моих светило,
И ранний сумрак их притек.

Где вы, забавы лет счастливых,
Беспечность, радость и покой,
Где замыслы, мечты игривы,
Дары фантазии благой?
Какою силою чудесной
Разрушен стал сей мир прелестный,
Где зрел я доблести в венцах,
Любовь, манящую отрадой,
Фортуну, льстящую наградой,
И правду в солнечных лучах!

Как в мраке путником возжженны,
Огни мелькают средь степей,
Так призраки сии мгновенны

Сокрылись от моих очей;
Исчезла слава быстрокрыла,
Любовь к отраде изменила,
Вкруг солнца истины святой
Туман сомнения развился —
И опыт весть меня явился
Тропой колючей в тьме густой!

Где прежде юность созидала
Великолепный храм честей,
Куда парить она мечтала
Дивиться благодати людей —
Там, вместо доблести и чести,
Порока лик, рукою лести
Увенчан, в блеске ей предстал.
Там опыт показал ей строгий
Злодейства страшные дороги, —
Я, их узрев, вострепетал!

С улыбкой ты меня манила,
Любовь, мечта прелестных дней!
Но взорам страстным не открыла
Небесной красоты твоей;
Пора любить проходит тщетно,
Желанье гаснет неприметно,
И одинокая тоска
То ложе горькими слезами
Кропит, что для тебя цветами
Моя украсила рука.

В обманах, в скорби и страданьи
Стремлений сердца жар потух,

Лишь благ протекших воспоминанье
Живит мой изнуренный дух;
Лишь ты, сопутница благая,
Обрекшись до могильна края
Идти со мною в жизни сей,
Лишь ты ко мне простерла руку,
Мне услаждаешь скорбь и муку,
От коих пал бы я без ней!

О дружба, сердца услажденье!
Какие в мире сем беды,
Какую горесть иль мученье
Не усладишь собою ты?
Не ты ль, источник благ обильный,
Крепишь в борьбе сердца бессильны?
Что рок бы нам ни присудил —
С тобой и слабый бодр творится,
Судеб гоненья не страшится:
Твой щит их стрелы притупил!

И вы, которые столь нежно
Храните дружеский союз,
Одно богатство здесь надежно,
О наслажденья чистых муз!
Восторг ваш, непорочность, силу
Вливайте в грудь мою унылу,
Гоните горесть и тоску
Прелестных ваших струн игрою —
Да с бодрой я еще душою
Путь краткий к гробу протеку.

<1812>

К ПАТРИОТАМ

Писано в 1812 году,
по занятии французами Смоленска

Цари в плену, в цепях народы!
Час рабства, гибели приспел!
Где вы, где вы, сыны свободы?
Иль нет мечей и острых стрел?
Иль мужество в груди остыло,
И мстить железо позабыло?
В России враг... и спит наш гром!
Почто не в бой? он нам ли страшен?
Уже верхи смоленских башен
Виются пламенным столбом!

Се вестник кары — вражьей траты:
Их кровь жар мести утолит!
К мечам! вперед! блажен трикраты,
Кто первый смертью упредит!
Развейтесь, знамена победны,
Героев-предков дар наследный!
За их могилы биться нам!
На гибель злым и малодушным,
Сам браней бог вождем воздушным
Летит святым сим знаменам!

Их слава нарекла своими —
И носим имя мы славян!
Вперед, рядами — вместе с ними,
Перуном грянем в вражий стан!
Сразим, иль всяк костями ляжет,
И гробный холм потомству скажет:
Здесь скрыт бестрепетных собор,
И скажут веки и стихии:
Он славу защищал России
И мстил вселенная позор!

Стыдом, проклятием покрытый,
Сей царь земли, сей бог побед,
В ров гибели, для нас изрытый,
С высот честей своих падет!
Не сонм наемников иль пленных,
К алчбе, корысти устремленных,
Предателей страны своей,
Которы в страхе рабском пали,
В добычу всё врагам отдали —
И прах отеческих костей!

Он встретит в нас героев славы,
Известных свету россиян,
Спасавших чуждые державы,
Которых суша, океан
В победах громких созерцали,
Которых царства трепетали,
Кого дрожал и храбрый швед,
И прусс, и галл непостоянный,
Сам вождь его, в боях венчаный,
И спящий в гробе Магомет!

Восстань, героев русских сила,
Кого и где, в каких боях
Твоя десница не разила?
Днесь брань встает в родных полях —
Где персть, древа и камни хладны,
Возгнут твой дух, ко славе жадный!
Один, один врагу удар —
И вся Европа отомстится:
Здесь Бельт от крови задымится,
А там — вспыхнет Гибралтар!

1812

МАТЬ-УБИЙЦА

Из Шиллера

Слышишь? бьет ужасный час!
 Укрепитесь, силы!
Вместе к смерти! ищут нас
 Бросить в ров могилы!
Всё исчезло: божий свет
 И небес отрада,
Для меня вас боле нет —
 Я добыча ада!

Ах, прости, и светлый день,
 Взоров услажденье,
Сладострастна ночи тень,
 Чувств обвороженье!
Блеск отрадный ваш погас,
 О, мечты златые!
Быстро скрылись вы от глаз,
 Радости земные!

Я, в убранстве юных лет,
 Веселясь красою,
Улыбалась здесь, как цвет,
 На заре весною!

Днесь во гроб осуждена, —
И покров кончины
Бледный лик, где смерть видна,
Скрыл до половины!

Лейте слезы надо мной,
О, подруги милы!
Вы, кому даны с красой
И душевны силы!
У жестокого в руках,
В радости беспечной,
В милых яд пила устах —
И погибла вечно!

Может быть, теперь с другой,
О, изменник лютый!
Как встречаю я с тоской
Смертные минуты,
Пьет он радость и любовь,
Скорбь забыв и страхи...
А моя здесь брызнет кровь
Высоко от плахи!..

Эдвин, Эдвин, за тобой
Пусть сей глас печальный,
Всюду следует сей вой,
Страшный, погребальный!..
Пусть всегда в твоём уме
Смерть Луизы бедной,
И призра́к ее во тьме
Пред тобою бледный!

Вероломный! страсти жар —
 Ни цветуща младость,
Ни залог любви — сей дар,
 Львов и тигров радость...
Всё отвергнул! — на земли
 Скорь со мной оставив,
Ты летишь один вдали,
 Паруса расправив!

А младенец? горький плод!
 Ах, почто явился?
В полном образе красот
 Лик твой обновился, —
Сердце матери мечтой
 Сладкой оживилось;
Вдруг отчаянье с тоской
 В нем соединилось.

«Где отец мой? — спросил
 Он ужасным взором, —
Где супруг твой?» — он грозил
 Мне немым укором.
О, невинность! горе нам!
 Он навек с другою,
Глух к стенаньям и мольбам,
 Вечный стыд с тобою!

Ах, и мать?.. грозный ад —
 Там ее обитель!
Страшен милый твой мне взгляд,
 Муки возвеститель!

Каждый смех твой на устах —
 Есть мое страданье,
Каждый вопль твой — сердца страх
 И души терзанье!

Ад навек уже со мной!
 Прочь твои лобзанья!
Вопли фурий — голос твой —
 Слышу их воззванье;
Здесь, спешите, — вот оне!
 Адский сонм явился!
Их огонь вспылал во мне...
 И кинжал вонзился!

Эдвин, Эдвин! за тобой
 Тень сия летает;
Хладной пусть своей рукой
 Грудь твою ласкает!
Пусть ее последний взгляд
 Ты повсюду встретишь;
Взоры страшны; с ними в ряд
 Тень мою заметишь!

Здесь, смотри, у ног упал,
 Весь облитый кровью,
Будто к матери припал
 С детскою любовью!
Слышу грозный глас судей:
 В сердце глас боязни;
Здесь, готова! смерть скорей!
 Муки лютой казни!

Эдвин! милостив творец —
И небесна сила
Казнь смягчает злых сердец:
Я тебя простила.
Всё исчезнет! клятв обет,
Поцелуев сладость
Лютый пламень всё пожрет;
Уж горит — о, радости!

Ах, не льститесь красотой,
Девы непорочны!
Красота — губитель мой
И удел непрочный!
Путь ко плахе мне скорей!
Час ударил, мститель!
Мать-убийца — не бледней,
Казни исполнители!

ДОГОВОР СО СМЕРТИЮ

К друзьям моим

Так, други, умереть нам должно,
В конце ль, в начале наших дней,
Предвидеть смерти невозможно,
Ни защитит себя от ней.
Примите ж мой совет нелестный,
Да каждый думает из вас,
Как в путь собраться неизвестный
И быть готовым каждый час.
Что до меня — то я, не ложно,
Спокойный к ней склоняю взор
И был бы рад, когда б возможно
Вступить с ней даже в договор.
О смерть! разяща без разбора, —
Так стал бы я ее молить, —
Отсрочь, не приходи ты скоро
Мой тесный угол навестить;
Мне двадцать лет — немногим боле,
Дай столько же еще желать,
А там в твоей уж будет воле;
Но ране тяжко умирать.

Какая честолюбью пища
Оставить только по себе,
Что на краю прочтут кладбища:
Молитесь о его судьбе!
Нет, смерть! мне жизнь еще не бремя;
Пусть поживу на свете я;
К тому ж у нас военно время!
Тебе дел бездна без меня!
Лишь двадцать лет прошу — и точно,
Минуты боле ни одной,
Готов я буду безотсрочно,
И с благодарною душой
Тогда твоей предамся власти,
Благословляя свой предел,
Увы, возьмут на равны части
Любовь и дружба сей удел!
За то ни одного упрека
Даю обет не допустить
И, сколько твердость человека
Нам позволяет, твердым быть;
Не возмугит мольба, роптанье
Мои последние часы,
Всё, что узришь при расставанье, —
Лишь пара слов и две слезы!
Еще... о будь мне благосклонна!
Как роковой ударит миг
И устремись, непреклонна,
Похитить свет от глаз моих,
Предвестника из страшной свиты
Не шли к мучительной борьбе;
На то чертоги знамениты,
Пусть там доложат о тебе;

Ко мне ж, увидя вход нескрытый,
Послом не возвещай приход,
Я сам, хозяин старобытный,
С тобою встречусь у ворот;
Друг другу мы — поклон учтиво!
Не будет спора между нас;
Вопрос, ответ, всё торопливо:
«Готовы ль вы?». — «Готов сейчас».
Минут последних я не множа,
На свет прелестный погляжу
И мигом, мягкое от ложа,
Возглавье в гроб переложу;
Вот всё — иль нет! еще два слова:
К чему ужасный сей наряд,
Причуда варварства сурова,
И этот креп? и сей обряд?
К чему коса? и пожелтелый
Сквозной, гремящий твой скелет?
Ты омрачишь мой путь веселый,
А мне другой не страшен свет!
Нет, смерть, ты в радужной одежде,
Как ангел благости, явись,
Вели вперед идти *надежде*,
Сама ж за *веру* придержиись!
И путь к могиле мне цветами,
Не кипарисом устели;
Вы ж, други, братскими руками
По горсти матери-земли!
И гимны в память, коль угодно,
Но прочь гоните плач и стон,
Приличней пиршество надгробно
Наместо мрачных похорон;

Сберитесь все — и без печали
Тогда на мой вы бросьте прах
Те юны розы, что венчали
При вас чело мое в пирах!

<1816>

НОЧЬ НА МОГИЛЕ ДРУГА

Солнце село — сумрак летний
Увлажил собой поля,
Я спешил под дуб столетний
Слушать песни соловья:
Громко в воздухе душистом
Разливал любви восторг,
И в раскатах, с звонким свистом,
Утомясь, певец умолк.

Всё вкушало сна отраду,
Тишина в поля сошла,
И среди небес лампаду
Бледна Цинтия зажгла;
По лазури распестрился
Звезд горящих миллион,
Сребровидный отразился
Ток падающих с шумом волн...

Спит счастливец, усыпленный
Сладострастия рукой,
Спит страдалец изнуренный,
Разделя свой одр с тоской,
Легки призраки спустились —
Бедный узник усыплен,

Цепи розами увились,
Глас свободы слышит он!

О, бесценный дар природы,
Сил податель, сладкий сон,
Жертва скорби в юны годы!
Я один тебя лишен!
Звуком горестной цевницы
Близ твоей, почивший друг,
Мхом поросшая гробницы
Услаждаю скорбный дух.

Сколь блажен, тебе подобно,
Кто навек почил от зол
И от странствия бесплодна
Пристань верную нашел;
Во твоей могиле тесной
Воздыханья, плача нет,
Нет тоски, со мной всеместной,
Лютых горестей и бед.

Ни ужасный страсти пламень,
Ни борьба с самим собой,
Ты недвижим, тих, как камень,
Водруженный над тобой!
Ни судеб, ни смертных злобе
Не подвластна персть твоя;
Ах, почто с тобой во гробе
Не сокрылся вместе я!

Дона на берегу высоком,
Средь обители отцов,

Я лежал бы в сне глубоком
Близ священных их гробов —
Лик увядший, тихий, бледный
И к груди прижатый крест;
Скоро ль, скоро ль, странник бедный,
У родимых будешь мест?

1816(?)

Жуковский, не забудь Милонова ты вечно,
Который говорит тебе чистосердечно,
Что начал чепуху ты врать уж не путем.
Итак, останемся мы каждый при своем —
С галиматьею ты, а я с парнасским жалом;
Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом;
Потомство судит нас, а не твои друзья,
А Блудов, кажется, меж нами не судья.

3 сентября 1818

ПОСЛАНИЕ В ВЕНУ К ДРУЗЬЯМ

Давно живущие средь Вены
И мне давнишние друзья,
Душа к которым без измены
Давно повержена моя.
Я к вам от Северной Пальмиры
Теперь, настроя звуки лиры,
Хочу послание писать
И о себе кой-что сказать.
Обнявши брата Владислава,
Через него я шлю к вам весть,
Как здесь Российская держава
Не престаёт поныне цвести.
Как здесь министры все спокойны,
Устроясь во взаимный лад,
И их чиновники достойны
Берут чины наперехват.
Как здесь в обширном Петрограде,
На дождь и слякоть несмотря,
Во всем величьи на параде
Мы видим нашего царя.
Как он, Европу созерцая,
Иметь мечтая перевес,
Обширно царство оставляя,
Спокойно едет на конгресс,

Что ждет вдали — того не знает,
Но, други, согласитесь в том,
Что трон, который покидаем,
Несчастливым кажется рулем.
Не осердитесь хоть из дружбы,
Что речь покажется темна.
Ведь я чиновник статской службы,
А в оной ясность не нужна.
Оставя сей предмет высокий,
Я о другом вам расскажу:
И красоту здесь, и пороки
Литературы покажу.
Здесь пишут менее чем было,
И повестей хороших нет:
Не всходит более светило
Поэзии средь наших лет.
Державин спит давно в могиле,
Жуковский пишет чепуху,
Крылов молчит и уж не в силе
Сварить Демьянову уху,
Измайлов, общий наш приятель,
Хоть издает здесь свой журнал,
Но он лишь только что издатель
И ничего не написал.

1818

ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Элегия

Рассыпан осени рукою,
Лежал поблекший лист кустов;
Зимы предтеча, страх с тоскою
Умолкших прогонял певцов;
Места сии опустошенны
Страдалец юный проходил;
Их вид во дни его блаженны
Очам его приятен был.
Твое, о роща, опустенье
Мне предвещает жребий мой,
И каждого листа в паденье
Я вижу смерть перед собой!
О Эпидавра прорицатель!
Ужасный твой мне внятн глас:
«Долин отцветших созерцатель,
Ты здесь уже в последний раз!
Твоя весна скорей промчится,
Чем пожелтеет лист в полях
И с стéбля сельный цвет свалится», —
И гроб отверзт в моих очах!
Осенни ветры восшумели
И дышат хладом средь полей,

Как призрак легкий, улетели
Златые дни весны моей!
Вались, валися, лист мгновенный,
И скорбной матери моей
Мой завтра гроб уединенный
Сокрой от слезных ты очей!
Когда ж к нему, с тоской, с слезами
И с распущенными придет
Вокруг лилейных плеч власами
Моих подруга юных лет,
В безмолвьи осени угрюмом,
Как станет помрачаться день,
Тогда буди ты легким шумом
Мою утешенную тень!
Сказал — и в путь свой устремился,
Назад уже не приходил;
Последний с древа лист сронился,
Последний час его пробил.
Близ дуба юноши могила;
Но, с скорбию в душе своей,
Подруга к ней не приходила,
Лишь пастырь, гость нагих полсеї,
Порой вечерняя зарницы,
Гоня стада свои с лугов,
Глубокий мир его гробницы
Тревожит шорохом шагов.

В. Л. ПУШКИН

Василий Львович Пушкин (1770—1830) в своё время был заметным литератором. Получив отличное, по представлениям того времени, домашнее воспитание, он поступил в Измайловский гвардейский полк, но рано вышел в отставку и поселился в Москве, предавшись литературным занятиям. В печати В. Л. Пушкин впервые выступил в 1793 году, опубликовав в «Санкт-Петербургском Меркурии» стихотворение «К камину». Начиная с 1809 года, принимал активное участие в полемике против шишковистов. В 1811 году В. Л. Пушкин написал свое лучшее произведение — поэму «Опасный сосед». В 1812 году, потеряв в огне московского пожара обширную библиотеку и почти все имущество, В. Л. Пушкин бежал в Нижний Новгород. В 1815 году был избран «старостой» литературного объединения карамзинистов «Арзамас», однако служил постоянной мишенью для острот и шуток своих сотоварищей по этому литературному обществу. В 1820-е годы В. Л. Пушкин продолжал активную литературную деятельность, которая,

однако, не привлекала уже внимания современников.

Основные издания стихотворений В. Л. Пушкина:

Стихотворения В. Л. Пушкина. СПб., 1822.

Сочинения В. Л. Пушкина, изданные под ред. В. И. Саитова. С биографическим очерком и примечаниями. СПб., 1895.

«Ирои-комическая поэма». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1933.

«Карамзин и поэты его времени». «Библиотека поэта», Малая серия. Л., 1936.

«Поэты-сатирики XVIII — начала XIX в.». «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1959.

* * *

Какой-то стихотвор (довольно их у нас!)
Послал две оды на Парнас.
Он в них описывал красу природы, неба,
Цвет *розо-желтый* облаков,
Шум листьев, вой зверей, ночное пенье сов
И милости просил у Феба.
Читая, Феб зевал и наконец спросил:
«Каких лет стихотворец был
И оды громкие давно ли сочиняет?»
— «Ему пятнадцать лет»,— Эрата отвечает.
— «Пятнадцать только лет?»— «Не более того!»
— «Так розгами его!»

<1798>

К В. А. ЖУКОВСКОМУ

Litui semperque licet
Signatum praesente nota producere nomen.
Ut silvae foliis pro nos mutantur in annos,
Prima cadunt; ita verborum vetus interit aetas.
Et juvenum ritu florent modo nata vique.

*Horat. Ars. poet.*¹

Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?
Что Кондильяка я и Дюмарсе читаю,
Что логике учусь и ясным быть желаю?
Какая слава мне за тяжкие труды?
Лишь только всякий час себе я жду беды:
Стихомарателей здесь скопище упрямо.
Не ставлю я нигде ни *семо*, ни *овамо*;
Я, признаюсь, люблю Карамзина читать
И в слоге Дмитреву стараюсь подражать.
Кто мыслит правильно, кто мыслит
благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.

¹ Всегда было и будет впредь позволено использовать слова, освященные употреблением. Как леса на склоне года меняют листья и опадают те, что появились прежде, так проходит пора старых слов и в употреблении цветут и крепнут вновь появившиеся. *Гораций, Поэтическое искусство* (лат.). — *Ред.*

Славянские слова таланта не дают,
И на Парнас они поэта не ведут.
Кто русской грамоте, как должно, не учился,
Напрасно тот писать трагедии пустился;
Поэма громкая, в которой плана нет,
Не песнопение, но сущий только бред.

Вот мнение мое! Я в нем не ошибаюсь
И на Горация и Депрео ссылаюсь:
Они против врагов мне твердый будут щит;
Рассудок следовать примерам их велит.
Талант нам Феб дает, а вкус дает ученье.
Что просвещает ум? питает душу? — чтение.
В чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт,
В Синописе того, в Степенной книге нет.
Отечество люблю, язык я русский знаю,
Но Тредьяковского с Расином не равняю;
И Пиндар наших стран тем слогом не писал,
Каким Баян в свой век героев воспевал.

Я прав, и ты со мной, конечно, в том
согласен;
Но правду говорить безумцам — труд
напрасен.

Я вижу весь собор безграмотных Славян,
Которыми здесь вкус к изящному попран,
Против меня теперь рыкающий ужасно.
К дружине вопиет наш Балдус велегласно:
«О братие мои, зову на помощь вас!
Ударим на него, и первый буду аз.
Кто нам грамматике советует учиться,
Во тьму кроmeshную, в геенну погрузится;

И русским всем словам прямой источник
знает, —
Что нѹжды? Толстый том, где зависть лишь
видна,
Не есть Лагарпов курс, а пагуба одна.
В славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу.
В душе своей ношу к изящному любовь;
Творенье без идей мою волнует кровь.
Слов много затвердить не есть еще ученье,
Нам нужны не слова — нам нужно
просвещенье.

Кто хвалит всё свое, чужое презирает,
Кто слезы льет о том, что мы не в бородах,
И, бедный мыслями, печется о словах!
Но тот, кто, следуя похвальному внушенью,
Чтит дарования, стремится к просвещенью;
Кто, сограждán любя, желает славы их;
Кто чужд и зависти, и предрассудков злых!
Квириты храбрые полсветом обладали,
Но общежитию их греки обучали.
Науки перешли в Рим гордый из Афин,
И славный Цицерон, оратор-гражданин,
Сражая Верреса, вступаясь за Мурену,
Был велеречием обязан Демосфену.
Вергилия учил поэзии Гомер;
Грядущим временам век Августов пример!

Так сын отечества науками гордится,
Во мраке утопать невежества стыдится,
Не проповедует расколов никаких
И в старине для нас не видит дней благих.
Хвалу я воздаю счастливейшей судьбине,
О мой любезный друг, что я родился ныне!
Свободно я могу и мыслить и дышать,
И даже *абие* и *аще* не писать.
Вергилий и Гомер беседуют со мною;
Я с возвышенною иду везде главою;
Мой разум просвещен, и Сены на берегах
Я пел любезное отечество в стихах.
Не улицы одне, не площади и дома —
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там
знакомы:
Они свидетели, что я в земле чужой

И если вздор читать пришла моя чреда,
Неужели заснуть над книгою беда?
Я каюсь, что в речах иных не вижу плана,
Что томов не пишу на древнего Баяна;
Что муз и Феба я с Парнаса не гоню,
Писателей дурных, а не людей браню.
Нашествие татар не чтим мы веком славы:
Мы правду говорим — и, следственно, неправы.

1811

«Ну! — свистнул, — соколы, отдернем
с господами».

Пустился дым густой из пламенных ноздрей
По улицам как вихрь несущихся коней;
Кузнецкий мост, и вал, Арбат, и Поварская
Дивились *двоице*, на бег ее взирая.
Позволь, варяго-росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы, *парой* двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.
Ну, к черту ум и вкус! пишите в добрый час!
«Приехали», — сказал извозчик, отряхаясь.
Домишка, как тростник от ветра колыхаясь,
С калиткой на крюку представился очам.
Херы с Покоями сцеплялись по стенам.
«Кто там?» — нас спросил охрипый голос

грубый.

«Проворней отворяй, не то — ракалью в зубы, —
Буянов закричал, — готовы кулаки»,
И толк ногою в дверь; слетели все крюки.
Мы, сгорбившись, вошли в какую-то каморку,
И что ж? С купцом играл дьячок приходский
в горку;

Пунш, пиво и табак стояли на столе.
С широкой задницей, с угрями на челе,
Вся провонявшая и чесноком, и водкой,
Сидела сводня тут с известною красоткой;
Султан Селим, Вольтер и Фридерик Второй
Смирненно в рамочках висели над софой;
Две гостьи дюжие смеялись, рассуждали
И *Стерна Нового* как диво величали.

Прямой талант везде защитников найдет!
Но вот кривой лакей им кофе подает;
Безносаемая стоит кухарка в душегрейке;
Урыльник, самовар и чашки на скамейке;
«Я здесь», — провозгласил Буянов-молодец.
Все вздрогнули — дьячок, и сводня, и купец;
Но все, привстав, поклон нам отдали учтивый.
«Ни с места, — продолжал Сосед велеречивый, —
Ни с места! все равны в ... у ...;
Не обижать пришли мы честных здесь людей.
Панкратьевна, садись; целуй меня, Варюшка;
Дай пуншу; пей, дьячок». — И началась пирушка!
Вдруг шепчет на ухо мне гостя на беду:
«Послушай, я тебя в светлицу поведу;
Ты мной, жизненочек, останешься доволен;
Варюшка молода, но с нею будешь болен:
Она охотница подарочки дарить».
Я на нее взглянул. Черт дернул! — так и быты!
Пошли по лестнице высокой, крючковой;
Кухарка вслед кричит: «Боярин тороватый,
Дай бедной за труды, всю правду доложу,
Из *чести* лишь одной я в доме здесь служу».
Сундук засаленный, периною покрытый,
Огарок в черепке, рогожью пол обитый,
Рубашки на шестах, два медные таза,
Кот серый, курица мне бросились в глаза.
Знакомка новая, обняв меня рукою,
«Дружок, — сказала мне, — повеселись со мною;
Ты добрый человек, мне твой приятен вид,
И, верно, девушке не сделаешь обид.
Не бойся ничего; живу я на отчете,
И скажет вся Москва, что я лиха в работе».

Проклятая! Стыжусь, как падох, слаб ваш друг!
Свет в черепке погас, и близок был сундук...
Но что за шум? Кричат! Несется вопль
в светлицу.

Прелестница моя, накинув исподницу,
От страха босиком по лестнице бежит;
Я вслед за ней. Весь дом колеблется, дрожит.
О ужас! мой Сосед, могучею рукою
К стене прижав дьячка, тузит купца другою;
Панкратьевна в крови; подсвечники летят,
И стулья на полу ногами вверх лежат.
Варюшка пьяная бранится непристойно;
Один кривой лакей стоит в углу спокойно
И, нюхая табак, с почтеньем ждет конца.
«Буянов, бей дьячка, но пощади купца», —
Б... толстая кричит сердитому герою.
Но вдруг красавицы все приступают к бою.
Лежали на окне «Бова» и «Еруслан»,
«Несчастный Никанор», чувствительный роман,
«Смерть Роллы», «Арфаксад», «Русалка», «Дева
Солнца»;

Они их с мужеством пускают в ратоборца.
На доблесть храбрых жен я с трепетом взирал;
Все пали ниц; Сосед победу одержал.
Ужасной битве сей вот было что виною:
Дьячок, купец, Сосед пунш пили за игрою,
Уменье в свете жить желая показать;
Варюшка всем гостям старалась подливать;
Благопристойности ничто не нарушало.
Но Бахус бедствиям не раз бывал начало.
Забав невинных враг, любитель козней злых,
Не дремлет Сатана при случаях таких.

Купец почувствовал к Варюшке вождельне,
(А б. . ., в том спору нет, есть общее именье.)
К Аспазии подсев, дьячку он дал толчок;
Буянова толкнул, нахмурившись, дьячок;
Буянов, не стерпя приветствия такого,
Задел дьячка в лицо, не говоря ни слова;
Дьячок, расхоробрясь, купца ударил в нос;
Купец схватил с стола бутылку и поднос,
В приятелей махнул, — и Сатане потеха!
В юдоли сей, увы! плач вечно близок смеха!
На быстрых крыльях веселие летит,
А горе тут как тут! . . . Гнилая дверь скрипит
И отворяется; спокойствия рачитель,
Брюхастый офицер, полиции служитель,
Вступает с важностью, в мундирном сертуке.
«Потише, — говорит, — вы здесь не в кабаке;
Пристойно ль, господа, у барышень вам

драться?

Немедленно со мной извольте расквитаться».
Тарелкою Сосед отвечивал ему.
Я близ дверей стоял, ко счастью моему.
Мой слабый дух, боясь лютейшего сраженья,
Единственно в ногах искал себе спасенья;
В светлице позабыл часы и кошелек;
Чрез бревна, кирпичи, чрез полный смрада ток
Перескочив, бежал, и сам куда не зная.
Косматых церберов ужаснейшая стая,
Исчадье адово, вдруг стала предо мной,
И всюду раздался псов алчных лай и вой.
Что делать! — Я шинель им отдал на съеденье.
Снег мокрый, сильный ветр. О! страшное мученье!
В тоске, в отчаяньи, промокший до костей,

Я в полночь наконец до хижины моей,
О милые друзья, калекой дотащился.
Нет! полно! — Я навек с Буяновым простился.
Блажен, стократ блажен, кто в тишине живет
И в сонмище людей неистовых нейдет;
Кто, веселясь подчас с подругой молодою,
За нежный поцелуй не награжден бедою;
С кем не встречается опасный мой Сосед;
Кто любит и шутить, но только не во вред;
Кто иногда стихи от скуки сочиняет
И над рецензией славянской засыпает.

К ЖИТЕЛЯМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Примите нас, мы все родные!
Мы дети матушки Москвы!
Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь, промчались вы!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Чад, братий наших кровь дымится,
И стонет с ужасом земля!
А враг коварный веселится
На башнях древнего Кремля!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Святые храмы осквернились,
Сокровища расхищены!
Жилища в пепел обратились!
Скитаться мы принуждены!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Давно ли славою блистала?
Своей гордилась красотой?
Как нежна мать, нас всех питала!
Москва, что сделалось с тобой?

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Тебе ль платить позорны дани?
Под игом пришлеца стенать?
Отмсти за нас, бог сильный брани!
Не дай ему торжествовать!

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Погибнет он! Москва восстанет!
Она и в бедствиях славна;
Погибнет он! Бог русских грянет!
Россия будет спасена.

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

К КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Quand je pense au degoût
que les Poetes ont à essuyer.
je m'etonne qu'il y en ait
d'assez hardis pour bràver
l'ignorance de la multitude, et
la censure dangereuse des demi-
savans qui corrompent quelque-
fois le jugement du Public.

*Le Sage.*¹

Как трудно, Вяземский, в плачевном нашем мире
Всем людям нравиться, их вкусу угождать!
Почтенный Карамзин, на сладкозвучной лире,
В прекраснейших стихах воспел святую рать, ¹
Падение врага, царя России славу,
Героев подвиги и радость всех сердец:
Какой же получил любимец муз венец?
Он, вкуса следуя и разума уставу,
Все чувства души в восторге изливал,
Как друг отечества и как поэт писал, —
Но многие ль, скажи, ценить талант умеют?

¹ Когда я думаю о тех оскорблениях, которые приходится сносить поэтам, я удивляюсь тому, что среди них находятся отважные настолько, чтобы презирать невежественность толпы и опасную цензуру полуученых, которые иногда искажают суждение публики. *Лесаж* (франц.). — *Ред.*

О горе, горе нам от мнимых знатоков!
Судилище ума — собрание чудаков,
И в праздности сердца к изящному хладеют.

Давно ли, шествуя Корнелию вослед,
Поэт чувствительный, питомец Мельпомены,
Творец Димитрия, Фингала, Поликсены,
На севере блистал?.. и Озерова нет!
Завистников, невежд он учинился жертвой;
В уединении, стонящий, полумертвый,
Успехи он свои и лиру позабыл!
О зависть лютая, дочь ада, крокодил,
Ты в исступлении достоинства караешь,
Слезами, горестью питаешься других,
В безумцах видишь ты прислужников своих
И, просвещенья враг, таланты унижаешь!

И я на лире пел, и я стихи любил,
В беседе с музами блаженство находил,
Свой ум обогащать учением старался,
И, виноват, подчас в посланиях моих
Я над невежеством и глупостью смеялся;
Желанья моего я цели не достиг:
Врали не престают злословить дарованья,
Печатать вздорные свои иносказанья
И в публике читать, наперекор уму,
Похвальных кучу од, не годных ни к чему!

Итак, я стал ленив и празден поневоле;
Врагов я не найду в моей безвестной доле.
Пусть льются там стихи нелепые рекой,
Нет нужды — мне всего любезнее покой.

Но, от учености к забавам обращаясь,
Давно ли, славою мы русской восхищаясь,
Торжествовали здесь желанный всеми мир?
И тут мы критиков, мой друг, не удержали:
При блеске праздника, при звуке громких лир,
Зоилы подвиг наш и рвенье осуждали:
Искусство, пышность, вкус и прелестей собор —
Всё сделалось виной их споров и укор!

Не угодишь ничем умам, покрытым тьмою,
И, право, не грешно смеяться над молвою!
Какой-то новый Крез, свой написав портрет,
Обжорливых друзей к обеду приглашает:
Богатым искони ни в чем отказа нет.
Друзья съезжаются — хозяин ожидает,
Что будут славного художника хвалить,
Известного давно искусством, дарованьем;
Но сборище льстецов кричит с негодованьем,
И точно думая тем Крезу угодить,
Что в образе его малейшего нет сходства,
Нет живости в лице, улыбки, благородства.
Послушный Апеллес берет портрет домой.
Через месяц наш Лукулл дает обед другой;
Друзья опять на суд. Дворецкий объявляет,
Что барин нужного курьера отправляет
И просит подождать. Садятся все кругом;
О мире, о войне вступают в разговоры;
Европу разделив, политики потом
На труд художника свои бросают взоры.
«Портрет, — решили все, — не стоит ничего:
Прямой урод, Эзоп, нос длинный, лоб с ро-
гами!

И долг хозяина предать огню его!»
— «Мой долг не уважать такими знатоками
(О чудо! говорит картина им в ответ):
Пред вами, господа, я сам, а не портрет!» —
Вот наших критиков, мой друг, изображение!
Оставим им в удел упрямство, ослепленье.
Поверь, мы счастливы, умея дар ценить,
Умея чувствовать и сердцем говорить!
С тобою жизни путь украсим мы цветами:
Жуковский, Батюшков, Кокошкин и Дашков
Явятся вечером нас услаждать стихами;
Воейков пропоет твои куплеты с нами
И острой насмешит сатирой на глупцов;
Шампанское в бокал пенистое польется
И громкое *ура* веселью разнесется.

К ***

Cujus autem aures veritati
clausae, ut ab amico verum au-
dire nequeant, hujus salus des-
peranda est.

*Cicero.*¹

Я грешен. Видно, мне кибитка не Парнас;
Но строг, несправедлив карающий ваш глас,
И бедные стихи, плод шутки и дороги,
По мненью моему, не стоили тревоги.
Просодии в них нет, нет вкуса — виноват!
Но вы передо мной виновнее стократ.
Разбор, поверьте мне, столь едкий, не услуга:
Я слух ваш оскорбил — вы оскорбили друга.
Вы вспомните о том, что первый, может быть,
Осмелился глупцам я правду говорить;
Осмелился сказать хорошими стихами,
Что автор без идей, трудясь над словами,
Останется всегда невеждой и глупцом;
Я злого Гашпара убил одним стихом,

¹ Тот, чьи уши закрыты для истины до такой степе-
ни, что они не в состоянии услышать слова правды,
произносимые другом, для того нет надежды на бла-
гополучие. *Цицерон* (лат.). — *Ред.*

И, гнева не боясь варягов беспокойных,
В восторге я хвалил писателей достойных!
Неблагодарные! О том забыли вы,
И ныне, не щадя седой моей главы,
Вы издеваетесь бесчинно надо мною;
Довольно и без вас я был гоним судьбою!
В дурных стихах большой не вижу я вины;
Приятели беречь приятеля должны.
Я не обидел вас. В душе моей незлобной,
Лишь к пламенной любви и дружеству спо-
собной,
Не приходила мысль над другом мне шутить!
С прискорбием скажу: что прибыли любить?
Здесь острое словцо приязни всей дороже,
И дружество почти на ненависть похоже.
Но боже сохрани, чтоб точно думал я,
Что в наши времена не водятся друзья!
Нет, бурных дней моих на пасмурном закате
Я истинно счастлив, имея друга в брате!
Сердцами сходствуем; он точно я другой:
Я горе с ним делю; он — радости со мной.
Благодарю судьбу! Чего желать мне боле?
Проказничать, шутить, смеяться в вашей воле.
Вы все любезны мне, хоть я на вас сердит;
Нам быть в согласии сам Аполлон велит.
Прямая наша цель есть польза, просвещение,
Богатство языка и вкуса очищение;
Но должно ли шутя о пользе рассуждать?
Глупцы не престают возиться и писать,
Дурачить Талию, ругаться Мельпомене:
Смеемся мы тайком — они кричат на сцене.
Нет, явною войной искореним врагов!

Я верный ваш собрат и действовать готов;
Их оды жалкие, забавные их драмы,
Похвальные слова, поэмы, эпиграммы,
Конечно, не уйдут от критики моей:
Невежд учить люблю и уважать друзей.

1816

ЭПИГРАММЫ

* * *

Какой учтивец стал Дамон!
Что за диковинка? — Теперь в отставке он.

1815

* * *

Приятель наш Ликаст
Над сочиненьями трудится и потеет;
Но он писать стихов, к несчастью, не умеет,
А прозой — не горазд.

1814

* * *

«На что мне жизнь? Лишился я друзей,
Которые меня любить всегда хотели».
— «Что ж, умерли они, к злой горести твоей?»
— «Нет: живы, но разбогатели».

1821

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий сборник включены произведения, которые должны ознакомить читателя с массовой поэзией первых двух десятилетий XIX в.

Настоящий сборник является дополнением к выпускам Малой серии «Библиотеки поэта», посвященным наиболее значительным поэтам тех лет: Жуковскому, Батюшкову, Гнедичу, Д. Давыдову и др. Творчество Востокова и поэтов «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» в сборник также не включено, поскольку им посвящен специальный выпуск. Все эти тома Малой серии в своей совокупности призваны обрисовать перед читателем картину русской поэзии в период между Державиным и Пушкиным.

Большинство публикуемых поэтов в настоящее время забыты; не все из них сумели собрать и издать свои произведения при жизни. Так, в настоящем сборнике впервые предпринята попытка собрать стихотворения Андрея Тургенева. Печатаемые в этом разделе произведения, исключая известную «Элегию» и стихотворение «К Отечеству», в печати появляются впервые. Редко переиздавались и такие поэты, как Мерзляков, Ф. Иванов, Милонов, С. Бобров, Долгоруков и др.

Произведения каждого поэта расположены в хронологическом порядке. Даты первой публикации (или год, не позднее которого написано данное произведение) заключены в угловые скобки. Даты предположительные отмечаются вопросительным знаком.

К сборнику приложены словари: устаревших, малоупотребительных слов и понятий и мифологический.

И. М. ДОЛГОРУКОВ

Камин в Пензе. *Ни знатных угольев, ни дул.* Топить камин каменным углем, который привозили из-за границы, считалось в XVIII в. роскошью. *Замки шпански строю.* Строить испанские (шпански) замки — мечтать. *Градом — градам;* старинная форма дательного падежа множественного числа. *Меж многих мертвых мудрецов —* в библиотеке. *Лукулл —* римский богач, славившийся своими роскошными пирами. *Шитые жилеты, колечки, перстни, силуэты —* обычные в то время любовные сувениры.

А в ось. Наиболее популярное стихотворение Долгорукова, упомянуто Пушкиным в отрывках X главы «Евгения Онегина». *Безделки, реченьки, каминьы —* популярные темы поэзии конца XVIII в. «Мои безделки», «И мои безделки» — названия сборников Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева. «Камин в Пензе», «Камин в Москве», «Война ка-

минов» — стихотворения самого Долгорукова. В 1793 г. В. Л. Пушкин дебютировал стихотворением «Камину». *Разводи бобами* — т. е. говори чепуху, мудри. *Ромул* — легендарный основатель Рима, в младенчестве был брошен вместе со своим братом Ремом в реку Тибр, но случайно спасся от гибели: река вынесла братьев на берег, а волчица вскормила их. *Что Магомет* и т. д. Речь идет о том, что без случая и риска (*авось*) ни Магомет, ни Александр Македонский, ни другие герои не смогли бы стать великими.

Парфену. Крез — сказочно богатый царь древней Лидии, здесь: богач.

Я. Из коих на Руси один во днях недавних и т. д. Кн. Яков Федорович Долгорукий (1659—1720) смело противоречил Петру I в Сенате. *Отцу его* — отцу отечества, т. е. Петру I. *Мой дед* и т. д. Имеется в виду Иван Александрович Долгорукий, фаворит Петра II и участник реакционного заговора «верховников». После смерти Петра II был сослан и казнен. *Жена его* — Наталья Борисовна Долгорукая (урожд. Шереметьева) последовала за мужем в ссылку. *Четвертый класс* — в табели о рангах ему соответствовали действительный статский советник и генерал-майор. *Гуляфная вода* — розовая вода, духи. *Синав* — здесь: древнерусский витязь, по имени героя трагедии Сумарокова «Синав и Трувор». *Детрейша* — Габриель д'Эстре (1573—1599), любовница французского короля Генриха IV.

П и р. *Знакомый малый вздорный* — Петр Иванович Шаликов (см. стр. 612). *Сампрандр* — испорч. sans prendre — без прикупа, карточный термин. «Аониды» — сб. стихотворений, издан в 1796—1799 гг. Н. М. Карамзиным; в ч. 3 (1798, стр. 264) было напечатано стихотворение Долгорукова «Параша». *Покоем* — в форме буквы «п». *Моро́* (1763—1818) — виднейший французский полководец эпохи революции и империи (позже изгнан Наполеоном). *Макдональд* (1765—1840) — маршал, французский полководец эпохи революции и империи. Толки о Моро и Макдональде связаны с итальянским походом Суворова 1799 г. *Уездный Бушма* — выражение, однотипное пушкинскому «механик деревенский». Бушма — испорч. Бусма (Bousmard) Анри-Жан-Батист (1749—1807), известный французский инженер, автор трудов по фортификации. *Мортивр* — от французского mort ivre — смертельно пьяный.

Семира Болеславна. *Венев, Кашира, Епифань* — уездные города Тульской губернии. *Исаие, ликуй* — восклицание церковного хора при бракосочетании.

На план города Березова. *Березов* — местечко в Сибири, куда был сослан дед Долгорукова (см. стр. 583). *Павел* — апостол Павел, отказавшийся, согласно легенде, ради мученического венца от звания римского гражданина.

СЕМЕН БОБРОВ

Из «Тавриды». Отрывок из поэмы «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе». Отрывок приведен из ранней редакции поэмы (Николаев, 1798), поскольку вторзя, вышедшая в 1804 г. под названием «Херсонида, или Картина лучшего летнего дня в Херсонесе Таврическом», слабее в художественном отношении (это единодушно отметила даже расположенная к Боброву критика), а религиозно-мистические тенденции в ней усилены. *Рихман* Георг Вильгельм (1711—1753) — физик, близкий друг Ломоносова. Вместе с ним производил опыты по изучению атмосферного электричества, во время которых был убит молнией 26 июля 1753 г. Содержание этого отрывка почерпнуто из письма Ломоносова И. И. Шувалову: «Сего июля в 26 число в первом часу пополудни поднялась громовая туча от норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я нимаго признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришли моя жена и другие; и как я, так и они беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мною споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры

трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а притом и электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь по дороге бил, когда он ко мне был послан; он чуть выговорил: «Профессора громом зашибло». В самой возможной страсти, как сил было много, приехав, увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа... Между тем умер господин Рихман прекрасною смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет, но бедная вдова, теща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастье плачут!» Письмо это, восхищавшее Пушкина, Бобров мог прочесть в «Сочинениях» Ломоносова издания 1784 г. *Скор быстрый шаг бегущих ветров* и т. д. Бобров излагает теорию Ломоносова об электрической природе молний и грома. Ломоносов пришел к выводу, что гром и молния не причина, а результат присутствия в атмосфере

электричества и вторичны по отношению к нему. Об этом Ломоносов писал 4 июня 1753 г. в «Московских ведомостях»: «Электрическая в воздухе сила далее громоваго треску распространяться и без действительного грому быть может. Ежели второе правда, то не гром и молния электрической силы в воздухе, но сама электрическая сила грому и молнии причина». Рассуждения, близкие к словам Ломоносова, у Боброва см. также в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». *Смотри!* — как сребрен вихрь крутится и т. д. У Ломоносова: «Рассуждая кривизны и выгибы, которыми молния блещет, весьма за вероятное почитаю, что она спиральною линиею извивается; оттуду, по разному положению зрителей, выгибы, углы и кольца показываються». *Стремится в жидку часть из сжатой.* Ломоносов пояснял движение воздуха разницей давления, а атмосферное электричество считал результатом трения движущихся воздушных частиц.

Ночь. Стихотворение написано на смерть А. В. Суворова. *И с крыл зернистый мак летит.* Бог сна Морфей (греч.) изображался в виде крылатого старика; его атрибутом был мак, из которого добывается опиум. *Петрополь* — Петербург. *Птицы роковые* — вороны. *Столпы багровою стеной* — северное сияние. *Бельт* — здесь: Финский залив. *Плиады (Плеяды)* — созвездие. *Не такова ли ночь висела* и т. д. Строфа описывает события накануне убийства Юлия Цезаря. *Палатин-*

ская гора — священный холм в центре Рима. *Юлий* — Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.), полководец и государственный деятель в древнем Риме. Захватил диктаторскую власть и был убит заговорщиками-республиканцами. *Когда под вешним зодиаком* и т. д. Цезарь был убит в марте. Зодиак — пояс из двенадцати созвездий, по которому в античности определяли смену месяцев. *Покрылся в Капитолии он* — Цезарь был убит у входа в Капитолий. *Подобно роковой трубе* — намек на евангельскую легенду о том, что конец мира будет возвещен звуком архангельской трубы. *Варяг* — здесь: русский воин. *Смерть, толкаясь* и т. д. — перефразировка стиха из Горация. *В Авзоньи, в Альпах*. Речь идет о славе суворовских походов — итальянского (Авзония) и швейцарского. *Албион* (Альбион) — Англия. *Шар в украине с тьмою ночи* — т. е. ракета, окруженная тьмой ночи. *Запад* — здесь: закат, смерть.

К праху российского Ганнибала: Стихотворение посвящено смерти А. В. Суворова. *Ганнибал* (247—182 до н. э.) — карфагенский полководец, совершивший беспримерный переход через Альпы. Бобров называет Суворова Ганнибалом, имея в виду переход через Альпы русских войск в 1799 г.

Полночь. Стихотворение написано под сильным влиянием «ночной» поэзии Юнга; (1683—1765). *Дремлющий полкруг* — полмира, погру-

женные в сон. *Воздушно озеро, сседаяся, бежит* и т. д. — изложение теории Ломоносова о видах и происхождении атмосферных электрических явлений. *Се в час полунощи грядет* и т. д. — перефразировка евангельского текста. *Зодиак* — см. стр. 588.

Г. П. КАМЕНЕВ

Громвал. Сюжетные мотивы, близкие к поэме Г. Каменева, в изобилии встречаются в русских «рыцарских» романах XVIII в. К ним же восходит изображение древнерусского витязя как странствующего рыцаря.

Сон. Стихотворение написано Г. Каменевым незадолго до смерти, дошло до нас в обработке С. А. Москотильникова.

Вечер 14 июня 1801 года. Название произведения, видимо, связано с датой какого-то оставшегося нам неизвестным события в жизни Каменева.

П. П. СУМАРОКОВ

Амур, лишенный зрения. Стихотворение написано в традиции «бурлескной поэзии» XVIII в. *Омир* — Гомер. *С длинными рогами* и т. д. Согласно античной легенде, богиня любви Венера изменяла своему мужу Вулкану с Марсом.

О да в громко-нежно-нелепо-новом вкусе. Стихотворение представляет собой пародию на поэтов державинской школы, к которым П. Сумароков причисляет и С. Боброва, и «чувствительную» лирику продолжателей Карамзина и Дмитриева. Одновременно задеты и сами эти поэты. *Пиндарщина* — высокопарный одический слог (от имени Пиндара, древнегреческого одописца). *Готтентот* — здесь: дикарь.

Блаженства. *Расин* Жан (1639—1699) — французский драматург, корифей классицизма. *Коцебу* Август (1761—1819) — немецкий драматург, автор чувствительных драм, вызывавших многочисленные насмешки. *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ.

А. Н. НАХИМОВ

Элегия. Стихотворение вызвано толками вокруг принятого по инициативе М. М. Сперанского указа от 6 августа 1809 г. об обязательной сдаче пражданскими чиновниками экзаменов по общеобразовательным дисциплинам. *Думный дьяк* — высокий административный чин в допетровской Руси. *Крюк* — здесь: придирка в деле. *Беда коллежскому теперь секретарю. О чин ассессорский.* Коллежский секретарь — чиновник 10-го класса, один из наиболее низких чинов. Коллежский ассессор — чиновник 8-го класса. По указу 6 августа 1809 г. производство в восьмой чин требовало уже сдачи экзамена.

В. А. ОЗЕРОВ

Гимн богу любви. *Нерон* — римский император (37—68), отличавшийся диким деспотизмом; здесь — Павел I.

Перевод стихов Расина. Отрывок из 9-й сцены III действия трагедии «Эсфирь». Тема трагедии Расина — низвержение тирана. Перевод Озерова, возможно, представляет отклик на убийство Павла I 11 марта 1801 г.

Волки и овцы. Басня представляет отклик на Тильзитский мир, выражая господствовавшее в обществе критическое к нему отношение. *Сошлись вожди* — Тильзитский мир был подписан после свидания Наполеона и Александра I на плоту на середине Немана.

АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ

А. С. К <айсаро> в у. Адресовано Андрею Сергеевичу Кайсарову (1782—1813), другу Андрея Тургенева, члену «Дружеского литературного общества».

«О, как священная религия страдает!..» *Кутузов* — Павел Иванович Голенищев-Кутузов (1767—1829), реакционер, автор доносов на Карамзина (см. «Дом сумасшедших» А. Ф. Воейкова).

С. И. П<лещеев> у. Сергей Иванович Плещеев (1752—1802) — масон, друг И. П. Тургенева.

К ветхому поддевическому дому А. Ф. В<оейко>ва. Стихотворение посвящено дому А. Ф. Воейкова в Москве около Девичьего монастыря. В этом доме происходили заседания «Дружеского литературного общества». Стихотворение посвящено центральному событию в жизни «Дружеского литературного общества» — «экстраординарному собранию» в честь отечества. Андрей Тургенев прочел на нем речь о любви к отечеству. Позже он писал друзьям об этом дне: «Вспомните этот холодный еще, сумрачный апрельский день и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова, стихи Мерзлякова, вспомните себя и, если хотите, и речь мою». Речь Тургенева заканчивалась призывом не щадить себя ради отечества, «быть его сынами, с опасностью всего жертвовать его благоденствию».

«Пусть ей несчастлив я один...» Основная мысль стихотворения — непримиримость в борьбе с деспотом, нежелание принять и самую милость из рук тиранической власти. Эту же мысль позже выразил Ф. Иванов: «Катона ль Кесарю прощеньем унижать»? («Послание Катона к Юлию Кесарю»). Политические настроения Андрея Тургенева в этот период — недвусмысленно тираноборческие. В речи в «Дружеском литератур-

ном обществе» он связал, обращаясь к отечеству. гражданское служение и борьбу с царями: «О ты, перед которым в сии минуты благоговейно сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы, пусть ползают пред ними льстецы с мертвою душою, здесь пред тобою стоят сыны твои! Благослови все предприятия их». В дневнике Андрей Тургенев записал: «Царь народа русского! Сколько горьких слез, сколько крови на твоей душе». Замысел стихотворения раскрывается из его плана и записи в дневнике от 3 октября 1800 г. В дневнике под этим числом Андрей Тургенев писал: «Россия, Россия, дражайшее мое отечество, слезами кровавыми оплакиваю тебя; тридцать миллионов по тебе рыдают! Но пусть они рыдают и терзаются! От этого услаждаются два человека, их утучняет кровавый пот их; их утучняют горькие слезы их; они услаждаются; на что им заботиться! Но если этот бесчисленный угнетенный народ, над которым вы так дерзко, так бесстыдно, так бесчеловечно ругаетесь, если он будет действовать так, как он мыслит и чувствует, вы, ты и бесчеловечная, сладострастная жена твоя, вы будете первыми жертвами! Вы бы могли облегчить его участь и это бы ничего вам не стоило! И при всем этом вы могли этого не хотеть». Далее в рукописи следует строка выразительных точек, не могущая, однако, завуалировать смысла последующего, которое нельзя истолковать иначе, как призыв решиться на героический подвиг в борьбе с деспотизмом: «Тебя наградят благо-

словения миллионов. Тебя наградит совесть, которая тогда пробудится для того, чтобы хвалить. Отважься! Достигай этой награды». В плане стихотворения, хранящемся в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, намечены три основные темы: «Что превосходнее милости», обращение «к царям» и к единомышленникам («Но друзья! Какая бы ни была судьба наша — будем тверды»). Последняя мысль развернута в наброске строфы, содержащем призыв к бесстрашной гибели и мысль о бессмертии героев в памяти потомства:

Сойдем во гроб — но светлый луч,
Сквозь мрак проникнув грозных туч,
Для нас над гробом воссияет.

Элегия. Начало стихотворения отразилось в стихах лицейской элегии Пушкина «Осеннее утро»: «Уж осени холодною рукою Главы берез и лип обнажены». *Ты, во цвете лет сраженная судьбою.* Речь идет о Варваре Михайловне Соковниной, сестре возлюбленной Андрея Тургенева Катерины Михайловны Соковниной. После смерти своего отца В. М. Соковнина тайно покинула родной дом, взяв с собой лишь том Руссо и библию, и поселилась в крестьянском доме; затем постриглась в монахини. Андрей Тургенев посвятил ей сделанный им совместно с Мерзляковым перевод «Вертера» Гете. *Напрасно хочешь ты, о добрый друг людей, Найти спокойствие внутри души твоей* — полемическое выступление против карамзинской идеи «внутреннего» счастья, независимого от внешних условий. Жуковский в речи

«О счастье» на заседании «Дружеского литературного общества» доказывал, что счастье следует искать «во внутреннем расположении своей души». Эту же полемику см. в отрывках «Ума ты светом озарен...», «Забудем здесь искать блаженства...»

<М. М. Хераскову>. Отрицательное отношение к Хераскову было обусловлено не только устарелостью исповедуемых им художественных принципов, но и откровенной реакционностью его взглядов в начале XIX в. Весной 1800 г. Андрей Тургенев записал в дневнике: «Вышел „Царь”», поэма М<ихаила> М<атвеевича Хераскова>. И седой старик не постыдился посрамить седины свои подлейшими ласкательствами, и притом безо всякой нужды. Какое предисловие! Какой надобно иметь дух, чтобы так нагло, подло, так бесстыдно писать от лица истины, какая мораль:

Законов выше княжеские троны!

И ему семьдесят лет, и его никто ни в чем не подозревает, и он после же будет говорить, что проповедовал истину, исправлял людей, был гоним за правду! Они не чувствуют, как унижают и посрамляют поэзию!» «Кадм» — «Кадм и Гармония»; «Полидор» — «Полидор, сын Кадма и Гармонии» — романы Хераскова. *Фенелон* Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651—1715) — архиепископ, французский писатель, автор романа «Приключения Телемака». Сочинение Фенелона

считалось образцом эпической политико-дидактической прозы — жанра, насаждаемого в России Херасковым. Фенелон выступал против неограниченного самодержавия, проповедником которого сделался Херасков, начиная с «Полидора».

А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ

Слава. Червь, от глаз изъятый — мелкий, невидимый червь. *Фемистокл* (ок. 525—461 до н. э.) — афинский политический деятель. *Тени мудрого героя* и т. д. — апокрифический эпизод из биографии Фемистокла, якобы плакавшего перед статуей Мильтиада; в литературе XVIII в. — пример патриота, «ревнующего» к славе великих предшественников. *Дщерь Эреба* — порождение мрака, ада; здесь, вероятно, — война. *Аристид* (ок. 540—467 до н. э.) — афинский политический деятель, противник Фемистокла. В литературной традиции XVIII — начала XIX в. — образ безупречного гражданина. *Фридрих* — Фридрих Великий (1712—1786), король прусский, известный полководец, писатель.

Ода на разрушение Вавилона. Стихотворение представляет зашифрованный отклик на убийство Павла I. М. А. Дмитриев вспоминал: «Многие обвиняли Мерзлякова за эту оду, находя в ней некоторые применения к смерти императора Павла. Действительно, Мерзляков написал это стихотворение вскоре по его кон-

чине». Следуя традиции XVIII в., Мерзляков построил политическое стихотворение в форме подражания псалму. Это делало стихотворение менее уязвимым в цензурном отношении и позволяло опереться на уже привычную читателю традицию политического истолкования библейской символики. Название и первые строки произведения связывают его с гл. 14 из пророка Исаии, однако дальнейшее содержание оды не находит соответствия в библейском тексте. *Тиран погиб тиранства жертвой... Скончался в муках наш мучитель* — стихи имеют в виду убийство Павла I. *Ливан* — горный хребет вдоль малоазиатского побережья Средиземного моря. *Сион* — гора в Иерусалиме.

Оды. *Тиртей* — афинский поэт VII в. до н. э. Во время Второй мессенской войны вдохновлял спартанцев военными песнями, в награду за что получил спартанское гражданство. *Пришел, увидел, победил* — ставшие крылатыми слова Юлия Цезаря из донесения сенату о победе над понтийским царем Фарнаком. *«Иль щит, иль на щите»* — т. е. или с победой (со щитом), или мертвым (на щите).

Велизарий. *Велизарий* — византийский полководец VI в. Успешно воевал против вест- и остготов, вандалов, вел войны в Азии. Вызвав подозрения императора Юстиниана, подвергся опале. Согласно легенде, был ослеплен. Истолкование образа Велизария как добродетельного

гражданина, жертвы деспотизма было весьма распространенным в просветительской литературе XVIII в. Посвященный этой теме роман Мармонтеля был известен русскому читателю в двух переводах: «Велизер, сочинение г. Мармонтеля. Переведен на Волге». М., 1768 (коллективный перевод Екатерины II и ее приближенных) и «Велисарий, сочинение г. Мармонтеля». СПб., 1769 (переводчик П. П. Курбатов).

Гимн Венере от Сафо. Перевод стихотворения Сафо — древнегреческой поэтессы VII в. до н. э.

Гимн Пану. Перевод гомеровского гимна.

Ф. Ф. ИВАНОВ

Плач Минваны (Из Оссиана). *Оссиан* — легендарный шотландский бард, которому Макферсон приписал изданные им в 1760—1762 гг. песни. Стихотворение — переложение поэмы Оссиана «Минвана», содержание которой — плач Минваны о своем возлюбленном *Рино*, сыне Фингала, убитом в Ирландии. *Фингал* — отец Оссиана — один из центральных героев поэм Оссиана. *Побегу на поле ратное* и т. д. — стихи не имеют соответствия в тексте Оссиана и навеяны Плачем Ярославны из «Слова о полку Игореве».

На отъезд К. Н. Батюшкова в армию. К. Н. Батюшков в 1807 г. при известии

о вторжении Наполеона в Пруссию записался в ополчение. С кружком Ф. Иванова Батюшков был связан через З. Буринского, покровительствуемого М. Н. Муравьевым. В доме последнего он в 1805 г. познакомился и с приезжавшим в Петербург Мерзляковым. *Мысль не в жилище валк витает* — намек на увлечение Батюшкова «северными поэмами» — Оссианом и скандинавскими легендами, известными русскому читателю по французским переводам Малле.

Рогнеда на могиле Ярополковой. Сюжет заимствован из летописи. *Рогнеда* — дочь Полоцкого князя Рогволода; согласно летописи, была невестой великого князя Ярополка Святославича. Киевский князь Владимир Святославич — брат Ярополка — в 980 г. взял Полоцк и, убив Рогволода, насильно овладел Рогнедой. Ярополк также был им убит. Сюжет этот, дающий возможность соединить лирическое звучание стихотворения с образом князя — деспота и насильника, привлекал многих писателей. Его разрабатывали Нарезный, Рылеев и др. *Не клади змию на одр к себе*. Согласно летописи, Рогнеда пыталась убить спавшего Владимира.

<Из трагедии «Марфа-Посадница»>. Народные хоры из первого и второго действия пьесы. Содержание трагедии «Марфа-Посадница» — борьба новгородских республиканцев с самодержавием Московского князя Иоанна. В качестве материала Ф. Иванов ис-

пользовал сюжет повести Карамзина «Марфа-Посадница», решительно переосмыслив ее идейную направленность. Марфа-Посадница — Марфа Борецкая, посадница Новгородская, Иоанн — великий князь Московский — действующие лица трагедии. *Слышен звон вечевого колокола*. Вечевой колокол в литературе XVIII — начала XIX в. — символ республиканских традиций Новгорода. А. Н. Радищев писал: «Вечевой колокол — палладиум вольности Новгородской».

Послание к А<лексе>ю Ф<едоро-
ви>чу М<ерзлякову>ву. *Крез* — см.
стр. 583. *Сарданапал* — легендарный царь Ассирии, двор которого отличался роскошью, здесь: праздный вельможа. *Энний* — римский поэт, III—II вв. до н. э. Римский полководец Сципион из уважения к литературным трудам Энния приказал после смерти поэта положить его прах в своей фамильной усыпальнице. *Бард великий Албиона* — Джон Мильтон (1608—1674), английский поэт, похоронен в Вестминстерском аббатстве. *Колберт* — Жан-Батист Кольбер (1619—1683), французский государственный деятель, министр Людовика XIV; здесь: мудрый вельможа. *Златоуст Иоанн* (673—754) — церковный писатель, считался образцом красноречия. *Проперс*, *Саллюст* — произнесенные на французский лад имена римского сатирика Проперция и историка Саллюстия. Ср.: «Аристотеля, перекрестив в Аристота, почитаем французом» (Мерзляков). *Ермил* — здесь: А. Шаховской. *Жур-*

нал *врак* — «Драматический вестник», журнал, издаваемый Шаховским и близкими к нему литераторами (1808). *О Озеров! и ты в душе твоей* и т. д. После сравнительно неудачной постановки «Поликсены» (14 мая 1809 г.) Озеров решил «бросить перо, приняться за заступ и, обрабатывая свой огород, возвратиться опять в толпу обыкновенных людей». Около 1812 г. он сошел с ума. В литературных кругах широко бытовала версия об ответственности за несчастья Озерова его «зоила» А. Шаховского. *Певец Донского* — Озеров, написавший трагедию «Димитрий Донской». *Прадоны новые* — видимо, Шаховской; Никола Прадон (1632—1698) — французский драматург. Безуспешно соперничая с Расином, стал мишенью для насмешек и эпитграмм. Имя его стало нарицательным для обозначения бездарного и завистливого драматурга.

Послание Катона к Юлию Кесарю. *Катон Младший* (Утический; 95—46 до н. э.) — римский государственный деятель. Образ Катона Утического, сурового республиканца, который покончил с собой, не желая признать единодержавия Цезаря, был весьма популярен в просветительской литературе XVIII в. Особое внимание уделял ему Радищев. В главе «Крестыцы» он упоминает «слово умирающего Катона», т. е. предсмертный монолог Катона из одноименной трагедии английского писателя Аддисона. «Единословие Катона Утицкого у Ад-

дисона» он вспоминает и в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии». Монолог этот повлиял и на стихотворение Ф. Иванова. В трагедии Аддисона Катон также появляется с трактатом Платона о бессмертии души и обнаженным мечом в руках. Гай *Юлий Цезарь* (100—43 до н. э.) — римский государственный деятель, заменивший республиканские институты личной диктатурой. *Кесарь* — Юлий Цезарь. *Помпей* Гней (I в. до н. э.) — римский государственный деятель, противник Цезаря. *Катон еще не пал Фарсальским пораженьем*. В битве при Фарсалах (48 г. до н. э.) Цезарь победил Помпея. *Силла* (Сулла) Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский диктатор. *Капитолий* — священная гора в центре древнего Рима. *Камилл* Марк Туллий (V—IV вв. до н. э.) — римский полководец, победитель галлов; в литературной традиции — добродетельный гражданин. *Торкват* — Тит Манилий Импертиоз Торкват (IV в. до н. э.), консул; по преданию, казнил собственного сына за нарушение законов республики. *Ты, кем пал ужасный Ганнибал* — Публий Корнелий Сципион Африканский, римский полководец, разбивший при Заме Ганнибала.

Разговор Катона с Брутом (Из Лукановой «Фарсалии»). *Лукан* (38—65) — римский поэт, автор неоконченной поэмы «Фарсалия» в 10 книгах, посвященной истории гражданских войн в Риме. *Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский политический деятель,

республиканец, один из убийц Цезаря; вторым браком был женат на дочери Катона. Образ Брута широко использовался в литературе конца XVIII — начала XIX в. как политический символ. Его имя было связано с идеями республиканизма и тираноубийства. Паролем смоленского кружка Каховских в конце XVIII в. было: «Брут, ты спишь, а отечество в оковах!» *Сын Ромула* — римлянин. *Народы дикие, сыны чужих морей*. В 1815 г. этот стих перефразировал Пушкин в стихотворении «Лицинию»: «Народы дикие, сыны свирепой брани» (в дальнейшем Пушкин заменил «дикие» на «юные»). *Деций* — римский полководец IV в. до н. э., пожертвовав жизнью, доставил победу римским войскам.

А. Ф. ВОЕЙКОВ

Сатира к С <перанскому>... *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель 1808—1812 гг., ближайший сотрудник Александра I. Сын сельского священника, человек передовых взглядов, Сперанский своими проектами буржуазных реформ возбудил ненависть реакционных кругов. 17 марта 1812 г. был отрешен от всех должностей и отправлен в ссылку. Возвращенный в 1816 г., он в дальнейшем капитулировал перед реакцией. *Миних* Бурхард-Христофор (1688—1767) — видный государственный деятель в России XVIII в. *Алфан* — лошадь одного из героев в поэме

Ариосто «Неистовый Роланд». *Баярд* — легендарный конь, упоминаемый во французской средневековой литературе. *Румянцев* Петр Александрович (1725—1796) — знаменитый русский полководец XVIII в. *Орлов* Алексей Григорьевич (1737—1807) — командовал русским флотом в Чесменском сражении 1770 г. и ряде других морских битв. *Репнин* Николай Васильевич (1734—1801) — приближенный Павла I, занимал ряд высших военных и дипломатических постов. В *Сенате* — *Долгоруков*. О Я. Ф. Долгорукове см. стр. 583. *Еропкин* Петр Дмитриевич (1724—1803) — генерал, подавивший «чумный бунт» в Москве в 1771 г. *Шувалов* Иван Иванович (1727—1797) — фаворит императрицы Елизаветы Петровны, покровитель Ломоносова, принял активное участие в организации Московского университета. *Муравьев* Михаил Никитич (1757—1807) — поэт и писатель, с 1802 г. попечитель Московского университета, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых. *Херасков* Михаил Матвееч (1733—1807) — поэт, автор эпических поэм. *России торжество, падение Казани*. Поэма Хераскова «Россиада» посвящена взятию Казани. *Курбский* Андрей (1528—1583) — боярин, соратник Ивана IV, затем изменил отечеству, перейдя на сторону Польши. *Минин* (ум. 1616) — Кузьма Минич Захарьев Сухорукий — и кн. *Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1642) — руководители народного ополчения в 1612 г. Минин происходил из народа (торговал в Нижнем Новгороде рыбой). *Лаиса* — имя двух известных куртизанок в

древней Греции; здесь в нарицательном значении. *Из бедного слуги соделал Петр героя.* Имеется в виду А. Д. Меншиков. *Сюлли* (1560—1651) — французский государственный деятель, министр. *Кольберт* — см. стр. 600.

К моему старосте. Построение стихотворения обнаруживает его зависимость от «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» Д. И. Фонвизина. *Экстракт* — извлечение из дела, форма деловой судебной бумаги. *Грамота о вольности дворян* — указ 1762 г., закреплявший сословные привилегии дворянства. Героиня «Недоросля» Простакова истолковывала этот указ как оправдание произвола. Текст Воейкова намекает на ее реплику. *Хватайко* — прокурор-взяточник, персонаж комедии В. В. Капниста «Ябеда». *Разбойника признал владыкой мир.* Речь идет о Наполеоне. *Где всё на откуп, и самые злодейства, Где всё продажное: и совесть, и жена!* Стих перефразирован в 1815 г. Пушкиным в послании «Лицинию»:

Где всё на откуп: законы, правота,
И жены, и мужья, и честь, и красота.

С смиренной харею — цитата из стихотворения Д. И. Фонвизина «Лисица-казнодей». *Где и без «абие» слов много бестолковых* — выпад против карамзинистов, борющихся с употреблением архаической лексики. *Клопшток* Фридрих-Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, автор религиозной поэмы «Мессиада». *Езон* (Эзоп) (VI в. до н. э.) —

баснописец; был рабом. *Эпиктет* (конец I — начало II в.) — философ-стоик; был рабом. *Жан-Жак* — Жан-Жак Руссо (1712—1778), французский философ и писатель. *Платон* (VI—V вв. до н. э.) — древнегреческий философ. Руссо и Платон упомянуты как философы-моралисты, стремившиеся теоретически обосновать нормы нравственности и укрепить чистоту и крепость семейных уз. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор и политический деятель; имеется в виду его книга «Об обязанностях».

К Отчеству. *Сей лютый крокодил, короны похититель* — Наполеон. *Задунайский* — Румянцев, см. стр. 604. *Крымский* — Г. А. Потемкин кн. Таврический (1739—1791). *Чесменский* — А. Орлов, см. стр. 604. *Смоленский* — Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский (1745—1813). *Царица скифская, рассеяв персиян* и т. д. Почерпнутые у античных историков данные о победах скифов над персами воспринимались в 1812 г. как параллель к современным событиям. *Опустошитель Персеполь и Тира* — Александр Македонский (356—323 до н. э.), завоевавший Азию. Эпизод обмена его послами и грамотами со скифами апокрифичен, восходит к хронографам XVII в. *Димитрий* — Димитрий Донской, разбиивший татар в Куликовской битве (1380). *Карл* — Карл XII, шведский король (1682—1718). *Фридрих* — Фридрих II Прусский — инициатор Семилетней войны (1756—1763). *Салтыков* Петр Семенович (1698—1772) — главнокомандующий русской

армией в Семилетнюю войну, победитель при Кунерсдорфе.

Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому. *Не в листьях мужских* — т. е. не в расцвете сил. *Сеннахериб* — воинственный царь древней Ассирии, здесь: Наполеон. *Платон* — см. стр. 606, здесь: философ. *Цицерон* — см. стр. 606, здесь: оратор. *Гершель* Вильям (1788—1882) — английский астроном. *Коломбы* — Колумбы.

К Жуковскому. *Лагарп* (1739—1803) — французский критик и теоретик литературы. *Аристотель* (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ. Здесь упомянут как автор нормативной эстетики. *Людмила*, *Светлана* — героини одноименных баллад Жуковского. *Топишь в чашу белый ярый воск* и т. д. — пересказ отрывка из баллады Жуковского «Светлана». Речь идет о гаданьях в Крещение. *Гете* (1749—1832) упомянут здесь как автор баллад с народно-поэтическими сюжетами. *Бюргер* Готфрид-Август (1747—1794) — немецкий поэт; сюжет его баллады «Ленора» Жуковский вольно воспроизвел в «Людмиле». *Альбан* Франческо (1578—1660) — знаменитый итальянский художник. *Виланд* Христофор-Мартин (1733—1813) — немецкий поэт, здесь упомянут как автор сказочной эпопеи «Оберон». *Ариост* Лодовико (1474—1553) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд». *Баян* — упомянутый в «Слове о полку Игореве» древнерусский певец. *Будь наш Виланд, Ариост, Баян* —

призыв к Жуковскому создать русскую поэму с народно-фантастическим сюжетом выражал общее настроение кружка карамзинистов тех лет. *Святослав* (942—972) — киевский князь. *Владимир* Святославич (ум. 1015) — киевский князь. *Добрыня* — его дядя. *Наш Готфред или Великий Карл*. Поэму на русский исторический сюжет Воейков мыслил как воспроизведение «рыцарских поэм». Этот смысл имеет сравнение Владимира с Готфредом (Готфридом Бульонским) и Карлом Великим — центральными персонажами цикла легенд о первом крестовом походе и о подвигах рыцарей-франков. *Петр — Сампсон, раздравший челюсть льва*. Библейский рассказ о богатыре Самсоне, победившем льва, еще в литературе Петровской эпохи получил аллегорическое толкование благодаря наличию в шведском гербе геральдического льва. *Александр* Македонский (IV в. до н. э.) — завоеватель Греции, Малой Азии и Египта, создатель мировой эллинизированной монархии. *Карл* Великий (742—814) — король франков, завоевавший огромные территории. *Цесарь* — см. стр. 602. *Платов* Матвей Иванович (1751—1818) — атаман донских казаков, прославившийся в Отечественную войну 1812 г. *А Платов, который так, как волхв* и т. д. — вольная цитата из «Слова о полку Игореве». *В колыбели сын Юпитеров*. Имеется в виду легенда о Геркулесе (*Иракле*), который младенцем задушил двух змей, подползших к его колыбели. *Грей* Томас (1716—1771) — английский поэт-элегик. Первое получившее известность стихотворение

Жуковского — перевод «Сельского кладбища» Грея. Томсон Джемс (1700—1748) — английский поэт, автор описательных поэм.

К Е. А. Протасовой. Адресат — Екатерина Афанасьевна Протасова, мать будущей жены Воейкова, Александры Андреевны Протасовой («Светланы»), одаренной женщины, игравшей заметную роль в литературной жизни своей эпохи. *В бою похитила еще героя-друга.* Имеется в виду А. С. Кайсаров, погибший в 1813 г. (о нем см. стр. 591). *Смерть во цвете лет любезнейшего брата.* Брат Воейкова погиб от ран, полученных при взятии Парижа.

<Из письма к П. А. Вяземскому>. Буянов — герой поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед». Барков Иван (1732—1768) — поэт и переводчик, автор порнографических поэм.

Дом сумасшедших. Текст воспроизводится по автографу Воейкова (ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, архив Воейкова, ф. 151, оп. 1, ед. хр. 4), который дает наиболее интересную исторически редакцию стихотворения. Ранние его тексты имеют характер чисто литературной сатиры и лишены политической остроты, более поздние варианты отразили открытый переход Воейкова в лагерь реакции (например, выпады против Белинского). Публикуемый текст следует датировать временем не ранее 1830 г., так как содержание стихотворения содержит намеки на

события до 1830 г. включительно. Имена печатаются в том же виде, какой дает рукопись. Строфы, выведенные самим Воейковым из основного текста в приложение, — бестактные нападки на слепоту поэта Козлова и «женское отделение», — не представляют особого интереса и не воспроизводятся. Работа Воейкова над текстом стихотворения отличалась своеобразием: откликаясь на свежие события введением новых строф, Воейков не исключал уже ставшие популярными куплеты. Так возникало характерное явление: в рамках одного текста совмещаются строфы большой хронологической отдаленности. По неоднократному заявлению автора, стихотворение было написано в 1814 г. Этим временем, однако, следует датировать лишь часть стихов. Строфы, посвященные литературной полемике, явно отражают «арзамасские» настроения, т. е. датируются второй половиной 1810-х годов. Насмешка над Шаликовым также совпадает с аналогичными высказываниями арзамасцев (например, Вяземского). К этим же годам следует отнести строфы о Батюшкове и Жуковском. Они явно написаны до начала психической болезни Батюшкова (1821—1822); Жуковский же характеризуется как балладник, увлеченный романтической фантастикой, что также очень характерно именно для этого периода. Строфа о Карамзине также принадлежит к ранним. Она, видимо, представляет отклик на вышедший из круга «Дружеского литературного общества» (автор — А. С. Кайсаров) и очень популярный в ту пору (первом пятиле-

тии XIX в.) памфлет-пародию «Свадьба Карамзина». Появление политических строф, видимо, надо отнести к 1819 г. Как свидетельствует переписка Вяземского с А. Тургеневым, деятельность Магницкого и Рунича именно в это время вызвала бурный протест даже в кругу умеренных арзамасцев. К 1819—1820 гг. следует отнести и строфу о Каразине. Закулисная сторона деятельности его была хорошо известна в литературном окружении Воейкова. От Вяземского он мог знать о провокационной деятельности Каразина во время организации Н. Тургеневым и Вяземским общества вельмож — сторонников освобождения крестьян. Строфа о кн. П. А. Ширинском-Шихматове начинает новый цикл политических стихов — в ней упоминается «чугунный» цензурный устав 1826 г. Она открывает серию сатирических куплетов, навеянных последекабристской ситуацией. К периоду после 1825 г. относится также строфа о «двух людоедах». Формула *Вельзевуловы* (т. е. Аракчеева) *обноски* недвусмысленно свидетельствует о том, что подразумеваются аракчеевцы, оставшиеся у власти после падения их покровителя. Характеристика Греча и Булгарина, вероятнее всего, определена полемикой 1830 г. Именно в эту пору в пушкинском окружении возникла кличка «Флюгарин». Строки: *Совесьть ум свихнула в нем: Всё боится быть повешен...* — объяснимы только при учете событий конца 20-х гг. Крайне беспринципный, Булгарин все же примыкал до 1825 г. к передовому литературному лагерю. Он умышленно афишировал свою близость к Ры-

лееву, дружбу с Грибоедовым. После 1825 г. правительство стремилось путем подкупов и шантажа привлечь на свою сторону уцелевших околодекабристских литераторов. Подобному давлению подвергались Пушкин, Вяземский и многие другие. Поэтому разоблачение в 1830 г. связей Булгарина с правительством могло быть воспринято как свидетельство ренегатства, испуга перед последствиями своих дружеских связей с революционными кругами России. Именно в эту пору Булгарина стали третировать в литературных кругах как предателя и перебежчика, припоминая его былую службу в войсках Наполеона. *Вспоминая о прошедшем* и т. д. В 1830-е годы Греч был реакционным журналистом, однако, современники помнили еще его как сотрудника декабристских изданий, друга Ф. Глинки, ревнителя «ланкастерских школ». Отсюда — намек на возможность тюремного заключения. *Кутузов* Павел Иванович (1767—1829) — бездарный поэт, в качестве попечителя Московского университета прославился как крайний реакционер, автор многих доносов; особенно злобным нападкам с его стороны подвергался Карамзин. *Глинка* Сергей Николаевич (1775—1847) — писатель и драматург, редактор журнала «Русский вестник», занимал позицию реакционного «квасного» патриотизма. *Из «Амура» по сю пору* и т. д. — имеется в виду поэма Мерзлякова «Амур и первые минуты разлуки с Душенькою». *Тит Ливий* (I в. до н. э.) — римский историк. *Шаликов* Петр Иванович (1768—1852) — малоодаренный последователь Ка-

рамзина, автор чувствительных повестей. *Наглицкий* — Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855), реакционер и обскурант; будучи попечителем Казанского округа (1819—1826), разгромил университет за «безбожное направление». Отличался ханжеством и корыстолюбием. *Кавалерских* — орденских. *Список всех аренд.* Аренда государственных земель, дававшая простор злоупотреблениям, рассматривалась как верный, но бесчестный способ наживы. *Нерон* (I в.) — римский император, отличавшийся особенной жестокостью. *Мартинист* — масон. *Злунич* — Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860), попечитель С.-Петербургского учебного округа, мракобес и гонитель просвещения. *Невтон* — Ньютон. *Боссюэт* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский проповедник, писатель и церковный деятель. Определение ярого церковника Боссюэта как «безбожного» характеризует степень нетерпимости Рунича. *Омар* (VII в.) — второй мусульманский калиф. В 642 г. взяв штурмом Александрию, сжег знаменитую библиотеку. Имя его стало нарицательным для определения вражды к просвещению. *Ханжецов* — Попов Василий Михайлович (1771—1842), чиновник, сотрудник Магницкого, реакционер и мистик. *Наш Пустелин* — Дмитрий Александрович Кавелин (1778—1851); «Пустелин» — соединение фамилии Кавелина и его арзамасской клички «Пустынник», намекающее на умственную пустоту Кавелина. Кавелин, будучи с 1819 г. ректором С.-Петербургского университета, зарекомендовал себя как гонитель просвещения и ближай-

ший сподвижник Магницкого. «Наш», так как Кавелин был арзамасцем. А. И. Тургенев 30 марта 1821 г. писал П. А. Вяземскому: «Один из наших арзамасцев, Кавелин, сделался совершенным пальясом <паяцом> пальяса Магницкого». *Пытницкий* — Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790—1853), член Российской академии, с 1850 г. — министр народного просвещения. Был инициатором изуверского («чугунного») цензурного устава 1826 г. В других вариантах назван «князь Иезуитский». *Трусовский* (в других вариантах — Скверновский) — Красовский Александр Иванович (1780—1857), петербургский цензор (1821—1828), известный тупостью и мракобесием. *Пара людоедов* — первый, видимо, П. А. Клейнмихель (1793—1869), приближенный Аракчеева и его преемник по управлению военными поселениями, был известен своей жестокостью; личность второго — неясна. *Каченовский* Михаил Трофимович (в вариантах — «Капустовский») (1775—1842) — профессор, историк, издатель «Вестника Европы», в кругу арзамасцев считался педантом, образцом мелочного, завистливого критика, слепо привязанного к рутине. Пробовал реформировать русский алфавит, приблизив его к греческому, в частности уничтожив букву «э». *И лики* — и ликами, с торжественным пением (архаич. творительный падеж множественного числа от «лик» — хор, пение). *По крюкам*. Крюки — древнерусское нотное письмо. *Шаликов* — см. стр. 612 (в вариантах — «Шалунов»). *Планшевый* — желтый. *Размазню без масла ест*,

Шаликов был очень беден. *Глинка* — Сергей Глинка (в вариантах «Свинка»). *Книга Кормчая* — древнерусская книга, сборник правил церковного строения. *Два перста*. То, что Глинка крестится как старообрядец (двуперстно), подчеркивает его привязанность к старине. *О Расин! откуда слава* и т. д. — насмешка над стремлением Глинки с реакционных позиций унизить европейскую (особенно французскую) культуру и оживить интерес к церковной литературе древней Руси. «*Стоглав*» — сочинение середины XVI в., сборник решений «Стоглавого собора» (1551). «*Федра*», «*Андромаха*» — трагедии Расина. «*Погребение кота*» — лубочная картинка начала XVIII в. *Хлыстов* — Хвостов Дмитрий Иванович (1757—1835), бездарный поэт и графоман (в вариантах — «Ослов»). *В Буало я смысл добавил* и т. д. Хвостов перевел «Поэтическое искусство» Буало, переводил басни Лафонтена, «Андромаху» Расина. *Шишков* Александр Семенович (в вариантах — «Свистков») (1754—1841) — адмирал, президент Российской академии и глава «Беседы любителей русского слова», убежденный защитник старины, противник Карамзина. *Фита, пси, пси* — буквы церковнославянского алфавита. *Сладковский* Роман — незначительный поэт, автор поэмы «Петр Великий» (1803). Строфа воспроизводит стиль поэмы Сладковского. *Жуковский* — в вариантах «Балладин». *Картузов* — Кутузов (см. стр. 612). *Станевич* Евстафий Иванович (1775—1835) — в вариантах «Сатаневич» — мало-

одаренный писатель-мистик, член «Беседы». *Тих, спокоен сверху вид* и т. д. — цитата из стихотворения Батюшкова «Счастливец (Подражание Кастри)». *Я писатель не для дам* — намек на грубость языка и картин в баснях Измайлова. Карамзинисты, считая изящество формы основным критерием ценности литературного произведения, провозгласили «дамский вкус» главным судьей поэтических достоинств. *Мир квартальных есть мой мир*. Имеется в виду басня «Пьяница» об отставном квартальном. *Плутов* — Греч Николай Иванович (1787—1867), журналист, издатель «Сына отечества»; до 1825 г. примыкал к либеральному лагерю. В дальнейшем сблизился с Булгариным и сделался одной из наиболее одиозных литературных фигур. *Флюгарин* — Булгарин Фаддей Венедиктович (1790—1859), журналист и писатель, известный моральной нечистоплотностью. Во вторую половину 20-х гг. сделался литературным агентом шефа корпуса жандармов Бенкендорфа. *Сабля в петле* — знак ордена Анны IV степени. *Каразин* Василий Назарович (1773—1842) — общественный деятель первой четверти XIX в., известный многочисленными, часто противоречивыми проектами, которые он подавал правительству, и доносами на передозых литераторов. Версия, согласно которой адресатом строфы был не Каразин, а Карамзин, лишена оснований и никакого доверия не заслуживает. *Грузинцев* Александр Николаевич (1779—1840) — драматург и поэт, примыкавший к «Беседе», ком-

пилировал свои драмы из различных источников. *Невзоров* Максим Иванович (1763—1827) — масон, издатель журнала «Друг юношества».

Н. Ф. ОСТОЛОПОВ

На кончину Иван Петровича Пнина. *И. П. Пнин* — см. стр. 619. Н. Остолопов читал это стихотворение на траурном заседании «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», посвященном памяти И. П. Пнина, 23 сентября 1805 г. *И что нимало не боялся* и т. д. — перефразированные строки из стихотворения Пнина на смерть Радищева. В примечании Остолопова — неточности: издание Пнина и Бестужева называлось «Санкт-Петербургский журнал», а не «Вестник». Публицистические сочинения Пнина назывались: «Вопль невинности, отвергаемой законами» и «Опыт о просвещении относительно к России».

Песня. *Нет ни грамотки, ни вести от тебя* — перефразировка стиха из «Сельской элегии» Мерзлякова («Нет ни грамотки, ни вести никакой»).

А. П. БЕНИТЦКИЙ

Кончина Шиллера. Творчество Шиллера вызывало напряженный интерес у радикальных

писателей 1800-х гг. Эпиграф — вольный перевод слов Амалии из 2-го явления II действия драмы Шиллера «Разбойники». В пьесе Амалия говорит: «Там, там, превыше светил, мы встретимся опять». Прибавка Бенитцким скептического «или никогда» показательна для решения им вопроса о бессмертии души. Перевод эпиграфа принадлежит самому Бенитцкому — единственный имевшийся в ту пору русский перевод «Разбойников» (Н. Сандурова) был выполнен со сценического варианта пьесы («трагедии») и упомянутых слов не содержал вообще. *Дщерь Мнемозины* — Мельпомена. *Слава великих* — кончина, *Память* — творенья и т. д. Эти слова выражают основную мысль стихотворения — бессмертие человека в памяти о его делах. Эти же размышления определили интерес Бенитцкого к трактату Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии», откликом на чтение которого явились следующие строки, пересказывающие основной тезис трактата и явно намекающие на его автора: «„Мышлю, следовательно, существую!“ — говорил Картезий, „Несчастлив, следовательно, бессмертен!“ — говаривал один добродетельный, но злополучный человек» («Цветник», 1809, № 1, стр. 114).

Балклуга. *Морвен* — скала в Шотландии; там находился замок Фингала, отца Оссиана, см. стр. 598. *Слава дел моих тебя переживет* — см. предыдущее примечание.

Возвращение Бахуса из Индии. Вольный перевод дифирамба Иоганна-Готлиба Вилламова «Das Bacchus Rückzug aus Indien». Стихотворение, видимо, привлекло внимание лицейстов. Пушкин в 1817 г. пишет «Торжество Вакха»; встречающийся в стихотворении эпитет «резвоскачущая» позже употребил Кюхельбекер в послании к Грибоедову. *Ктезий* (правильнее: Ктесия) — греческий историк V—IV вв. до н. э. *Стравон* (правильнее: Страбон) — греческий географ I в. *Далекомечущий* и *властитель парнасских дев* — Аполлон. *Царица богов* — Юнона. *Гигин* Гай Юлий (I в. до н. э.) — римский писатель.

А. Е. ПЗМАЙЛОВ

Смерть. Перевод 19-й и 20-й строф стихотворения Малерба Франсуа (1555—1628) *Consolation à M. Du Périer sur la mort de sa fille*.

Сонет одного ирокойца. Стихотворение имеет в виду состояние русской литературы и положение русских писателей.

Стихи на кончину Ивана Петровича Пнина. *Пнин* Иван Петрович (1773—1805) — поэт и философ, один из руководителей «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Начало произведения представляет переделку стихотворения И. П. Пнина на смерть Радишева. У Пнина:

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон;
Уста, что истину вещали,
Увы! — навеки замолчали..

У Измайлова:

Что слышу? — Пнин уже во гробе!
Уста его навек умолкли,
Которы мудростью пленяли!
Навеки сердце охладело,
Которое добром дышало!

Если учесть, что Измайлов обращался к аудитории, которая прекрасно помнила это стихотворение Пнина, то станет ясно, что он сознательно проводил параллель между судьбами Пнина и Радищева. Смерть Пнина вызвала отклики в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств». Стихи по поводу его кончины написали, кроме А. Измайлова, С. Глинка, Батюшков, Н. Остолопов, А. Варенцов и Ф. Ленкевич. *Филанджиери* Гаэтано (1752—1788) — итальянский юрист; сочинения его интересовали деятелей русского просвещения. *Друг Пнина* — А. Ф. Бестужев (1761—1810), соиздатель Пнина в «Санкт-Петербургском журнале», отец декабристов; ему принадлежит трактат «О воспитании», опубликованный в журнале.

Шут в парике. Басня направлена против А. С. Шишкова, выведенного в облике «старого шута». *Молодой чудак* — С. А. Ширинский-Шихматов. О замысле этой басни Д. И. Хвостов в своих записках писал: «Замысел весь клонится на показание, что сам вице-адмирал Шишков смешивает часто неудачно с славянскими обороты и речения французские и для того на голове у старика парик французский с пудрою. . .» *Срачица* (архаич.) — сорочка; издевка над страстью Шишкова к архаизмам. *Безбожник!* — *закричал*, — *изменник!* *франкмасон!* и т. д. Одной из основ своего метода литературной полемики Шишков сделал политическую дискредитацию своих противников, обвинение их в отсутствии патриотизма. Подобные выпады звучали как политический донос. *Франкмасон* — свободный каменщик, участник религиозно-моралистического движения, имевшего целью всеобщее нравственное обновление человечества. Масоны преследовались правительством.

Цензор и сочинитель. *Устав* — цензурный устав.

Поединок. Басня направлена против представлений об особой сословной дворянской чести и дуэли, как одного из наиболее ярких проявлений корпоративной морали. Критика дуэли как порождения сословной этики была распространена в демократической литературе XVIII в. Ср. обращенные к сыновьям слова крестницкого

дворянина в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева: «Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не соделает вас наглыми; ибо вы твердый имеете дух и обиду не сочтете, *если осел вас улягнет*» (курсив мой — Ю. Л.).

Блины. На сходный сюжет в 1808 г. была написана басня Крылова «Музыканты». Измайлов использовал его для насмешки над мистическими настроениями придворных и правительственных кругов начала 20-х гг. XIX в.

Волчья хитрость. Измайлов использовал сюжет басни Ломоносова «Лишь только дневной шум замолк...» для создания сатиры на арачьевских ставленников в армии.

Лгун. Басня направлена против издателя «Отечественных записок» Павла Свиньина. Стоя на дипломатической службе, Свиньин много путешествовал. Описания своих странствий он позже опубликовал. В своем журнале Свиньин систематически печатал материалы о талантливых русских самоучках, однако интерпретировал их в реакционном духе «квасного патриотизма». Ценность его публикаций была ничтожна ввиду ошибочности и заведомой ложности многих из сообщаемых им данных. Басня Измайлова, видимо, была учтена Пушкиным при создании са-

тиры на Свинына «Маленький лжец»: «Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок — он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать... Павлуша уверял, что в доме его родителей находится поваренок-астроном, фореитор-историк и что птичник Прошка сочиняет стихи лучше Ломоносова». Басню «Лгун» высоко ценил Белинский. *Тюльери* — дворец в Париже, резиденция Наполеона I.

Судья Фаддей. Басня направлена против Ф. В. Булгарина — журналиста, ставшего после 1826 г. наемным агентом правительства. В 1824 г., когда между Измайловым и Булгариным развернулась острая полемика, последний еще не был столь одиозной фигурой, как в дальнейшем, и даже поддерживал дружеские связи с рядом передовых литераторов. Однако беспринципность Булгарина, его склонность использовать орудие литературной критики для сведения личных счетов проявились уже тогда. *Подьячий* — подразумевается Н. И. Греч. *Подьячий с приписью* — т. е. чиновник, скрепляющий своей подписью бумагу; здесь идиоматическое выражение (в полном виде: «подьячий с приписью Урван-Алтынник»), означающее «взяточник». *Аще кто прибавит* и т. д. — вольная цитата из евангелия. *Я и вырос в Польше* — намек на польское происхождение Булгарина.

Собака и секретарь. *Софья Дмитриевна* — С. Д. Пономарева, хозяйка литературного

салона, посещаемого членами «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Частыми посетителями салона были Измайлов, Дельвиг, Баратынский, Кюхельбекер и др. С. Д. Пономарева умерла 4 мая 1824 г. *Гектор* — любимая собачка С. Д. Пономаревой. *Поэты-баловни* — Дельвиг и Баратынский, литературные противники А. Измайлова в «Вольном обществе» и соперники в салоне С. Д. Пономаревой. Отношение Измайлова к ним было неприязненным. *Уволили на теплы воды* — оставили под благовидным предлогом. В этих стихах, возможно, содержится намек на смерть Александра I. Тогда смысл темы стихотворения — судьба собаки после смерти хозяина — раскрывается очень остро как намек на Аракчеева. *Временщики! временщики!* и т. д. — видимо, представляет собой выпад против Аракчеева, отношение Измайлова к нему было резко отрицательным.

«Ну, исполать Фаддею!..» Эпиграмма на Ф. Булгарина. *Против отечества давно ль служил злодею* — намек на службу Ф. Булгарина в войсках Наполеона. «*Сын отечества*» — журнал; в его редактировании Булгарин начал принимать участие с 1826 г.

«Твои портреты очень схожи...» Эпиграмма содержит автохарактеристику собственного сатирического метода. *На лица пишешь все!* Писать «на лица» — литературный

термин XVIII в., означающий сатирическое изображение не отвлеченного порока, а конкретного лица.

М. В. МИЛОНОВ

К Рубеллию. В форме подражания римскому сатирику Персию (34—62) Милонов создал политическое стихотворение, которое истолковывалось современниками как выпад против Аракчеева. Сатиры под названием «К Рубеллию» у Персия нет. Созданную Милоновым традицию в дальнейшем использовал Рылеев. Имена: *Альбий*, *Арзелей* — в журнальной публикации сопровождаются примечаниями: «Альбий» — «мздоимец, кровосмеситель и убийца», «Арзелей — страшный невежда».

К Луказию. Сатира Милонова направлена против целого ряда литераторов и из лагеря шишковистов, и примыкавших к группе карамзинистов, и не входивших ни в ту, ни в другую группировку. Некоторые из них зашифрованы прозрачными условными именами с расчетом на легкую дешифровку. Например, из членов «Беседы»: *Радковский* — Сладковский, *Плаксевич* — Станевич, *Шутов* — Шишков, *Мидас* — И. С. Захаров, автор «Похвалы женам»; из карамзинистов: *Злослов* — Дашков. Под именем *Бавия* осмеян писатель и библиограф В. Г. Анастасевич, издатель ежемесячного журнала «Улей». Однако иногда Милонов, стремясь к обоб-

шению, сознательно затруднял истолкование того или иного сатирического портрета как изображения конкретного лица. Так, черты Шишкова даны не только Шутову, но и Друзу; современники считали, что Шихматов-Ширинский — прообраз и Бессмыслова и Вадия. Расшифровка некоторых имен вообще затруднительна (хотя современники и искали в каждом из них конкретное лицо) — дело, видимо, идет об обобщенных образах бездарного поэта, невежественного вельможи и т. д. Некоторые предложенные современниками Милонова и воспринятые комментаторами расшифровки вообще неверны. Так, *Балдус* объясняется как Державин. Этому противоречит высокая оценка Державина в конце стихотворения. *Цицерон* — см. стр. 606. *Пиндар* — см. стр. 590. *И жизнь твоя как раз в журнал его вклеится!* В «Улье» Анастасевича был постоянный био-библиографический отдел, где печатались биографии русских и польских писателей, в том числе — современных. *Лукулл* — см. стр. 582. *Глазунов* Иван Петрович (1762—1831) — книгоиздатель и владелец книжной лавки. *Сократ* (VI в.) — греческий философ. *Российский Пиндар* — Ломоносов. *Юнг в Плаксевиче родился*. Станевич переводил Юнга и подражал ему. *Томас* (вернее Тома) (1732—1785) — известный французский писатель. *В их расколе* — т. е. в их секте, кружке.

<Н. Ф. Грамматину>. Текст сохранен в воспоминаниях С. Жихарева и в собрании со-

чинений Милонова не включался. Жихарев характеризует его как «шуточный экспромт Н. Ф. Грамматину по случаю попытки его отдать на театр какую-то комедию, переведенную из Гольдони». *Грамматин* Николай Федорович (1786—1827) — поэт и переводчик, приятель Милонова. *Ильин* Николай Иванович (1777—1823) — драматург. *Федоров* Борис Михайлович (1794—1875) — малоодаренный литератор, стихотворец и журналист.

Уныние. *Полдневных шум работ умолкнет.* Ср. у Пушкина: «На нивах шум работ умолк» («Евгений Онегин», гл. IV). *Под маковым венком* — см. стр. 511.

Похвала сельской жизни. Перевод знаменитого второго эпода Горация «*Beatus ille, qui procul negotiis*». Стихотворение это, по традиции, идущей от Тредиаковского, неоднократно привлекало русских поэтов XVIII — начала XIX в. поэтизацией крестьянского труда. По этой же традиции не переводились четыре последних стиха эпода Горация, говорящие о желании ростовщика Альфия сделаться землевладельцем и придававшие всему стихотворению ироническое звучание. В переводе монолог Альфия превращается в авторскую речь, благодаря чему ирония снимается. Милонов усугубил те стороны эпода, которые давали возможность истолковать его как прославление крестьянской жизни. Несмотря на большую точность перевода Милонова, он убрал

упоминание о собравшихся к ужину рабах (стих 65 у Горация) и ввел отсутствующее у Горация указание на личный труд героя (*В отческих полях работает один*). Вместе с тем он не только не ослабил, а даже несколько сгустил античный колорит, развив часть стихотворения, посвященную жертвоприношению. Это необходимо было для того, чтобы читатель понял, что блаженство — спутник жизни не русского крестьянина, а того, кто «жизнь свою в свободе провоздает», — крестьянина, освобожденного от уродств феодального порядка, живущего «как первобытные вселенны гражданин».

К моему рассудку. Подражание 9-й сатире Буало. *Сумбека* — героиня трагедии А. Грузинцева «Покоренная Казань, или Милосердие Иоанна Васильевича» (1811), или пьесы С. Глинки «Сумбека, или Падение царства казанского» (1807). *Радамист* — «*Радамист и Зенобия*», трагедия Проспера-Жолио Кребийльона (1674—1762), перевод С. Висковатова (1810). *Электра* — «*Электра и Орест*», трагедия А. Грузинцева (1809), *Атрей* — «*Атрей и Фиест*», трагедия Кребийльона, перевод С. Жихарева (1811). *Слепец афинский жив — а царь Эдип сокрылся* — противопоставление успеха трагедии В. Озерова «*Эдип в Афинах*» неудаче пьесы А. Грузинцева «*Эдип-царь*» (1811). *Глазунов* — см. стр. 626. «*Храм славы*» — «*Храм славы российских героев от Гостомысла до царствования Романовых*», книга П. Ю. Львова (1803). *Бион и*

Мосх — древнегреческие поэты-идиллики. Здесь имеются в виду переводы их произведений П. И. Голенищевым-Кутузовым (1804). *Федру Бавия* — перевод М. Е. Лобановым трагедии Расина «Федра». *Вздоркин* — В. Л. Пушкин. *Я сроду не писал ни а б и е, ни а щ е* — пародия на стихи В. Л. Пушкина из послания «К Д. В. Дашкову». *Крез* — см. стр. 583. «*О радость! о восторг! и я, и я пиш!*» — заключительный стих из послания В. Л. Пушкина «К любимцам муз». *Вотще пред Бавием* и т. д. — имеются в виду нападки Анастасевича на Милонова. *Смешную на меня пускает эпиграмму*. Анастасевич в «Улье» напечатал в 1812 г. ряд эпиграмм против Милонова.

ПОСОБИЕ СОВЕТУ:

Мыслеткин мнил снабдить Луказия советом
Быть тем, чем отроду он не был сам, — поэтом.
«Пиши-де, лишь найди несвежду и льстеца...»
Луказий, не трудись... ты возле образца!..

МИЛОНУ

Милон! Давно ли ты поддел сатира маску?
Не верю и сей слух хочу считать за сказку.
Успеешь харей нас *рогатого* смешить,
Когда не с *девами*, а с *бабой* будешь жить.

Сатир — поэтический символ сатиры — изображался с рогами; девы — музы. Против Мило-

нова же, вероятно, направлена опубликованная в «Улье» эпиграмма «Милый человек».

К Патриотам. *Бог побед* — Наполеон. *Бельт* — пролив в Балтийском море; здесь: Балтийское море. *Гибралтар* — пролив, который отделяет Испанию от Африки.

М а т ь - у б и й ц а. Перевод стихотворения Шиллера «Die Kindesmörderin».

«Жуковский, не забудь Милоноваты вечно...» *С галиматьею ты, а я с парнасским жалом.* Высокая обличительная сатира противопоставляется здесь безобидной шутке. Жуковский проповедовал «галиматью», которая «не всегда рождается от безумия», — дружескую шутку, забаву, как основной принцип сатиры. Но уже в 1817 г. арзамасцы почувствовали общественную пассивность подобной позиции. А. И. Тургенев говорил, что «Арзамас» в своей остроумной галиматье «нередко представлял пустоту, достойную света». *Зовусь я Ювенолом.* Формула Милонова подготавливает известное изречение Вяземского: «Мой Аполлон — негодованье», являющееся перефразировкой стиха Ювенала: «Негодованье рождает стихи». *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — член «Арзамаса». Аристократ и пурист, Блудов пытался занять в кружке Жуковского позицию законодателя вкусов.

Послание в Вену к друзьям. Адресат — братья Княжевичи, Александр Максимович (1792—1872) и Дмитрий Максимович (1788—1842), которые в 1814—1815 гг. служили в Вене. *Северная Пальмира* — Петербург. *Брат Владислав* — Владислав Максимович Княжевич. *Как здесь в обширном Петрограде* и т. д. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Дождь, сырость так с неба и падает, а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать». *Спокойно едет на конгресс*. 27 августа 1818 г. Александр I выехал из Царского Села на конгресс Священного Союза в Аахен. *Демьянова уха* — басня И. А. Крылова. *Свой журнал* — «Благонамеренный».

Падение листьев. Перевод элегии французского поэта Мильвуа (1782—1816) «*La chute des feuilles*». Отдельные стихи из этого перевода в дальнейшем были использованы Пушкиным для предсмертной элегии Ленского. *Эпидавр* — город в древнем Аргосе, центр культа Эскулапа. *Эпидавра прорицатель* — здесь: врач.

В. Л. ПУШКИН

«Какой-то стихотвор (довольно их у нас!)...» Сюжет эпиграммы был позднее использован А. С. Пушкиным в полемике с Н. И. Надеждиным («Мальчишка Фебу гимн поднес...»).

К В. А. Жуковскому. *Кондильяк* Этьен-Бонно (1715—1780) — французский философ-сенсуалист, автор популярных руководств по изучению философии и логики. *Дюмарсе* Сезар-Шено (1676—1756) — французский грамматик, редактор лингвистического отдела «Энциклопедии». *Семо, овамо* (старосл.) — здесь, там — насмешка над архаическим языком шишковистов. *Карамзин* и *Дмитриев* упоминаются тут как писатели, давшие образцы нового, простого и ясного, слога. *Гораций* Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт, свои литературно-теоретические воззрения изложил в произведении «Поэтическое искусство». *Депрео-Буало* Никола (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма. *Паскаль* Блез (1623—1662) — французский математик, физик, писатель и философ. *Боссюэт* — см. стр. 613. *В Синописе того, в Степенной книге нет.* «Синописис» — первое печатное пособие по русской истории, составленное, видимо, архимандритом Иннокентием Гизелем, первое издание в Киеве в 1674 г.; «Степенная книга» — историческое сочинение XVI в.; полемический выпад против архаиков-шишковистов, приверженных к русской старине. *Пиндар наших стран* — М. В. Ломоносов. *Баян* — легендарный русский поэт, певец, упоминаемый в «Слове о полку Игореве». *Балдус* — у Мольера — педант; здесь: А. С. Шишков. *Великая жена, бессмертная* — Екатерина II. *Виргилий и Омер, Софокл и Эврипид* и т. д. — перечисляются античные поэты, драматурги и историки. *Любимец аонид* —

И. Богданович, автор поэмы «Душенька». *Лафонтен Жан* (1621—1695) — французский баснописец; И. И. Дмитриев был известен своими баснями. *Толстый том, где зависть лишь видна* — «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка» А. С. Шишкова (1803). *Лагарп Жан-Франсуа* (1739—1803) — французский критик, автор курса теории литературы.

К Д. В. Дашкову. Стихотворению предпослано было следующее «Предупреждение»: «Первое из сих «Посланий» (к В. А. Ж.) напечатано было в 12-м номере «Цветника» 1810 года и было причиною происшествия, весьма странного в нашей словесности. Всем известна польза, истекающая из сего рода дидактических сочинений: древние и новые писатели употребляли оные для исправления пороков, или, переходя от общего к частному, для направления на прямой путь в словесности молодых, неопытных авторов. Важная и благородная цель сочинений сих всегда была достойно уважаема, — кто бы подумал, что в наше просвещенное время будут презирать их, подражания оным называть модными посланиями и, что всего хуже, отвечать на них непозволительными личностями? В одном присовокуплении, читанном, как уверяют, в Академии (в чем, однако ж, я весьма сомневаюсь), г. сочинитель говорит следующее: «Сии судьи и стихотворцы в посланиях своих взывают к *Виргилиям, Гомерам, Софоклам, Еврипидам, Горациям, Ювеналам, Саллустиям, Фукидидам, за-*

твердя одне только имена их и, что всего удивительнее, научась благочестию в Кандиде и благонаравию и знаниям в парижских переулках, с поврежденным сердцем и помраченным умом вопиют против невежества и, обращаясь к теням великих людей, толкуют о науках и просвещении!» *Risum tepeatis amicis*,¹ и я, вместо того чтобы сердиться на такую нескладицу, хотел бы лучше сам посмеяться ей от доброго сердца; но обвинения, относящиеся до нравственности и веры, слишком важны. Я должен был опровергнуть оные и, кажется, исполнил сие во втором послании к Д. В. Дашкову, равномерно навлекшему на себя учтивою критикою гнев новейших наших Славян». *Дашков* Дмитрий Васильевич (1788—1839) — критик карамзинского лагеря. Один из основателей «Арзамаса». *Пустой кимвала звук* — шумная бессодержательная речь. *Сражая Верреса, вступаясь за Мурену*. Имеется в виду обвинительная речь Цицерона против наместника в Сицилии Варреса и речь в защиту консула Мурены. В. Л. Пушкин приводит эти речи как образец служения интересам родины. *Демосфен* (IV в. до н. э.) — знаменитый афинский оратор. *Вергилий* (70—19 до н. э.) — римский поэт. *Сен-Пьер* Бернарден (1737—1814) — французский писатель, автор романа «Поль и Виргиния». *Делиль* Жак (1738—1813) — французский поэт, автор описательных дидактических поэм. *Фонтан* Луи (1757—1821) — француз-

¹ Удержите смех, друзья (лат.). — *Ред.*

ский поэт и оратор эпохи империи и реставрации. *Читал я Фукидида, Тацита, Плиния* — т. е. античных историков. *«Кандид»* — «Кандид, или Оптимизм», антицерковный сатирический роман Вольтера. *Лагарп* — см. стр. 633. *Старослов* — А. С. Шишков. *Что томов не пишу на древнего Баяна*. В 1805 г. Шишков опубликовал обширный комментарий к «Слову о полку Игореве».

Опасный сосед. *Пахом* — московский биржевой ящик. *Кузнецкий мост, и вал, Арбат, и Поварская* — московские улицы. *Дивились двоице, на бег ее взирая* — насмешка над С. А. Шихматовым-Ширинским, употребившим в стихотворении слова «двоица» вместо «пара». *Угрюмый наш певец* — С. А. Шихматов-Ширинский. *Горка* («гора») — азартная карточная игра, широко распространенная в 90-е гг. XVIII в.; во время действия поэмы в большом свете уже вышла из употребления. *Селим* — турецкий султан (XIX в.). *Фридерик Второй* — см. стр. 606. *И Стерна Нового как диво величали* — выпад против А. Шаховского, автора направленной против Карамзина комедии «Новый Стерн». *Из чести лишь одной я в доме здесь служу* — игра слов: «Из чести» означало «без жалованья», работу за чаевые. *Лежали на окне Бова и Еруслан* и т. д. — перечисляются произведения, интерес к которым в начале XIX в. сохранился лишь в среде полуобразованных читателей: «Несчастный Никанор» — роман (1755), «Смерть Роллы» — трагедия А. Коцебу (русский

перевод 1802 г.), «Дева Солнца» — его же (русский перевод 1803 г.), «Арфаксад, халдейская повесть» — роман П. Захарьина (1793—1796), «Леста, или Днепровская русалка. Романтическая повесть», вольный перевод с немецкого, М., 1806. *Аспазия* — греческая гетера V в. до н. э.

К жителям Нижнего Новгорода. Покинув в 1812 г. Москву перед вступлением в нее французов, В. Л. Пушкин уехал в Нижний Новгород. Дом его в Москве со всем имуществом и обширной библиотекой сгорел.

К князю П. А. Вяземскому. *Почтенный Карамзин, на сладкозвучной лире* и т. д. Подразумевается стихотворение Карамзина «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814). *Корнелий* — Корнель Пьер (1606—1684), французский драматург. *Творец Димитрия, Фингала, Поликсены* — В. А. Озеров. *Крез* — см. стр. 583. *Апеллес* — древнегреческий художник IV в. до н. э.; здесь: знаменитый живописец. *Лукулл* — см. стр. 582. *Эзоп* (VI в. до н. э.) — греческий баснописец, отличавшийся, по преданию, безобразием. *Пред вами, господа, я сам, а не портрет!* Эпизод этот был превращен в 1821 г. А. Шаховским в оперу-водевиль «Живые картины». *Кокошкин Федор Федорович* (1773—1838) — писатель, переводчик Мольера, друг Воейкова, Батюшкова.

К * * *. Стихотворение обращено к арзамасцам. Написанию предшествовали следующие об-

стоятельства: в марте 1816 г. приехавший в Петербург В. Л. Пушкин был принят в «Арзамас», а затем избран «старостой» Арзамаса с прозвищем «Вот я вас». На обратном пути в Москву, на станции Яжелбицы, В. Л. Пушкин скропал весьма неуклюжие вирши, присылка которых в Петербург побудила арзамасцев на экстренном заседании разжаловать В. Л. Пушкина в «Вотрушку». Послание «К ***» является оправдательным стихотворением. После чтения его в «Арзамасе» В. Л. Пушкин был полностью реабилитирован. *Просодии в них нет* — т. е. нет правильного соотношения ударных и безударных слогов. *Я злого Гашпара убил одним стихом.* Имеется в виду выпад против А. Шаховского в «Опасном соседе». Гашпар — герой поэмы Шаховского «Расхищенные шубы». *Варяги* — архаисты, сторонники Шишкова. *Смеемся мы тайком — они кричат на сцене.* «Беседа» подверглась осмеянию со стороны арзамасцев на интимных дружеских заседаниях-ужинах, между тем как Шаховской ввел карикатурный образ поэта Фиалкина (имелся в виду Жуковский) в публично представленную в Петербурге комедию «Липецкие воды».

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ, МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ И ПОНЯТИЙ

Абие — тотчас.

Агница — овца.

Аз — название первой буквы славянского и древнерусского алфавита; я.

Акциденции — здесь: взятки.

Алкоран — священная книга мусульман.

Алтын — старинная русская монета в три копейки.

Амвон — возвышение (или кафедра) в церкви для чтения проповедей.

Аргамак — порода верховых лошадей.

Аще — если.

Бард — кельтский народный певец; в переносном смысле — поэт.

Блажить — восхвалять.

Бостон — карточная игра.

Брашны — кушанья.

Буерак — овраг.

Буи — буйные.

Буки — название второй буквы славянского и древнерусского алфавита.

Бурак — род фейерверка.

Веря — столбы, на которые навешиваются створки ворот, воротный створ.

Вертеп — пещера.

Вертоград — сад, виноградник.

Весь — деревня.

Вотще — тщетно.

Всуе — напрасно.

Галл — француз.

Геенна — ад.

Денница — утренняя заря, утренняя звезда; также имя павшего ангела.

Десная — правая.

Десница — правая рука; рука.

Длань — ладонь.

Доблий — доблестный.

Дска — доска, плита.

Дуло — меха для раздувания огня в камине.

Дщерь — дочь.

Жерёха — по-видимому, существительное, образованное от слова «жрать».

Забывый — забывший.

Зоил — завистливый, злобный критик.

Зрак — вид.

Ирой — герой.

Ирокоец — ирокезец, т. е. индеец из племени ирокезов.

Исполать — хвала, многие лета.

Капитолий — храм в Риме, где происходили заседания сената.

Капище — языческий храм.

Квириды — римляне.

Кимвал — музыкальный ударный инструмент, упоминаемый в Библии.

Клятва — в архаическом словоупотреблении не только присяга, но и проклятие.

Конвоевать — конвоировать.

Корнет — старинный женский головной убор, вроде чепчика.

Крестовик — серебряный рубль.

Крутояр — глубокий овраг, крутизна.

Куверт — столовый прибор.

Купина — куст.

Ланиты — щеки.

Ласкатели — льстецы.

Ласкательство — лесть.

Лик — хор.

Лоно — недра, грудь.

Лысто — голень.

Машина — в конце XVIII — начале XIX в. не только «машина», но и «махина», «громада».

Мета — цель.

Мирт — вид кустарника, миртовая ветвь — символ мира.

Мясоед — период, когда православной церковью разрешалось употребление мяса. В это время играли свадьбы.

Надеяйся — надеющийся.

Надмеру — чрезмерно.

Намет — покрывало.

На полы — пополам.

Нарохтиться — стараться.

Нырище — здесь: логово, нора.

Обшивни — розвальни, широкие сани.

Овен — баран.

Оратай — пахарь.

Перебивать — здесь: говорить, болтать.

Перси — грудь.

Персть — прах.

Перун, перуны — молния, гром.

Петел — петух.

Пешцы — пехотинцы, простые воины.

Позор — зрелище.

Полдень — юг.

Полимент — олонецкая глина, которой грунтовали предметы перед позолотой.

Полночь — север.

Понт — море.

Последие — спутники.

По толкам — по складам.

Праг — порог.

Прибаска — присказка, поговорка, пословица.

Пристать — устать.

Прозябший — проросший.

Пруги — саранча.

Пря — распря, спор, борьба.

Рай — раек, галерка.

Рамена — плечи.

Рамо — плечо.

Рачение — старание.

Рдиться — рдеть.

Рог — здесь: гордость, сила.

Сафирный — сапфирный.

Сельный — полевой.

Скудельник — глиняный сосуд, черепок.

Смирна — драгоценное благовоние.

Сонм — собрание, толпа, множество.

Сретать — встречать.

Сретенье — встреча.

Стезя — путь.

Стогны — площади, улицы.

Студенцы — ключи.

Сусек — закром.

Сякнуть — истощаться, пропадать.

Твердь — небосвод.

Тирс — прут, перевитый плющом или виноградной лозой, жезл Вакха.

Тристаты — военачальники.

Тьма — тысяча; тьма тем — тысячи тысяч, великое множество.

Убрус — головной платок; здесь: монашеский
головной убор.

Урыть — удрать.

Успши — усопший.

Фиал — чаша.

Фузеи — кремневые ружья; здесь: ракетницы.

Цевница — пастушеская свирель.

Целовальник — продавец водки, вина.

Цуг — запряжка лошадей гуськом.

Человечество — в конце XVIII — начале XIX в.
имело также значение «человеколюбие».

Червленный — красный.

Чресла — бедра.

Шпанский — испанский.

Юдоль — долина; в переносном значении — зем-
ная жизнь с ее печальми,

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- Аврора* (римск.) — богиня утренней зари.
- Адраст* (греч.) — легендарный царь Аргоса, организатор похода «семерых против Фив».
- Аквилон* (римск.) — северо-восточный ветер.
- Алкид* (греч.) — одно из имен Геракла (по отцу Алкею).
- Амврозия* (греч.) — пища богов.
- Амур* (римск.) — см. Эрот.
- Амфисвена* (греч.) — одно из божеств загробного мира.
- Аониды* (греч.) — см. Музы.
- Аркадия* — область Пелопоннеса в Греции.
- Афродита* (греч.) — богиня любви.
- Бассарей* (греч.) — одно из имен Вакха.
- Бахус* (римск.) — см. Вакх.
- Беллона* (римск.) — богиня войны.
- Борей* (греч.) — северный ветер.
- Вакх* (греч.) — бог плодородия и виноделия, сын Зевса (Юпитера) и смертной женщины Семелы. Ревнивая Гера (римск. — Юнона) посоветовала Семеле попросить Юпитера,

чтобы он явился к ней во всем блеске своего величия. Зевс явился с громом и молниями, которые испепелили смертную Семелу. Юпитер вынул Вакха из ее чрева и зашил его себе в бедро. После вторичного рождения Вакха Гермес отнес его в Нису (помещалась древними то в Аравии, то в Египте, то в Индии), где отдал на воспитание нимфам. Возвращаясь из Нисы в Грецию, Вакх прошел через Сирию, Азию (вплоть до Индии), везде утверждая свой культ, творя чудеса и уча людей виноградарству. В его шумном экстатическом шествии участвовали женщины, покрытые звериными шкурами, с тирсами в руках, — менады, или вакханки.

Вакханки (греч.) — спутницы Вакха.

Валки, Валькирии (сканд.) — дочери верховного бога Одина, девы-воительницы. Жилище валк — Валгалла, загробное местопребывание храбрых воинов.

Вулкан (римск.) — бог ремесл, кузнец.

Геракл (Геркулес, Иракл) — полубог, герой, отличавшийся огромной силой.

Дионис (греч.) — см. Вакх.

Егова (Иегова) (библ.) — бог, создатель вселенной.

Зевс, Зевес (греч.) — верховное божество, отец богов, громовержец.

Зефир (греч.) — западный ветер; легкий ветерок.
Зимцерла — в XVIII в. считалась древнеславянским божеством утренней зари и весны.

Киприда (греч.) — одно из имен Афродиты.

Крон (греч.) — бог времени.

Купида (Купидон) (римск.) — см. Эрот.

Лары (римск.) — боги-покровители домашнего очага.

Марс (римск.) — бог войны.

Мельпомена (греч.) — муза трагедии, изображалась с кинжалом в руках.

Менады (греч.) — см. Вакханки.

Меркурий (римск.) — бог торговли; покровитель стад, вестник богов.

Мидас (греч.) — царь, награжденный Дионисом даром превращать предметы в золото.

Минерва (римск.) — богиня разума, наук, ремесел.

Мнемозина (греч.) — богиня памяти, мать муз.

Морфей (греч.) — бог сна.

Музы (греч.) — девять божественных дев — покровительниц наук и искусств.

Наяда (греч.) — речная или морская нимфа.

Нектар (греч.) — напиток богов.

Нимфы (греч.) — водяные или лесные божества в женском образе.

Олимп — гора в Греции, легендарное местопребывание богов.

Оркус (римск.) — одно из имен Плутона, бога подземного мира.

Пан (греч.) — сын Гермеса (Меркурия) и смертной женщины Дриопы; бог — покровитель лесов, пастухов и стад; изображался с козлиными копытами, бородой и рогами.

Парки (греч.) — три богини судьбы (одна из них прядет нить человеческой жизни, другая проводит нить через превратности жизни, третья обрезает).

Пелопос (греч.) — легендарный царь, подчинивший своей власти весь Пелопоннес.

Пинд — гора в Греции, легендарное местопребывание муз.

Сатиры (греч.) — спутники Диониса (Вакха), козлообразные лесные духи.

Семела (греч.) — мать Диониса.

Силен (греч.) — сын Пана (иногда — Гермеса), сатир.

Сирены (греч.) — злые духи-обольстители в образе сладкогласных полуптиц-полуженщин. Соблазняли и влекли к гибели мореплавателей своим пением.

Стикс (греч.) — река в царстве мертвых.

Талия (греч.) — муза комедии.

Тартар (греч.) — подземное царство.

Титон (греч.) — прекрасный юноша, похищенный Эос (богиней зари) на небо. Наградив Титона бессмертием, богиня забыла даровать ему

вечную юность. Потеряв в старости красоту, он сморщился и был превращен богами в кузнечика (по другой версии — в сверчка).

Уrania (греч.) — муза астрономии.

Феб (греч.) — Аполлон, бог солнечного света, покровитель искусств.

Фиaды — см. Вакханки.

Филомела (греч.) — дочь первого афинского царя Пандиона. Была обращена в соловья (по другим мифам — в ласточку); в переносном смысле — соловей.

Фортуна (римск.) — богиня случая и счастья.

Фурии (римск.) — богини мщения.

Хаос (греч.) — пустота, зияющее пространство, существовавшее до создания мира. Ночь считалась порождением хаоса.

Хрон — см. Крон.

Цербер (греч.) — адский пес, стерегущий вход в царство теней.

Церера (римск.) — богиня плодородия.

Циленские (Килленские) горы — горы в Аркадии, названные так по имени нимфы Киллены, дочери Зевса и Каллисты, по другим мифам — сестры Пана.

Цинтия (римск.) — луна.

Эрата (Эрато) (греч.) — муза лирической поэзии.

Эреб (греч.) — первобытный мрак; царство теней.

Эрот (греч.) — сын Афродиты, крылатый божок любви. Изображался с луком, стрелами и повязкой на глазах.

Юнона (римск.) — жена Юпитера, верховная богиня.

Юпитер (римск.) — см. Зевс.

СОДЕРЖАНИЕ¹

Русская поэзия начала XIX века. <i>Вступительная статья Ю. Лотмана</i>	5
--	---

И. М. ДОЛГОРУКОВ

<i>Биографическая справка</i>	115
Камин в Пензе	117 582
Авось	124 582
Парфену	132 583
Я	135 583
Пир	142 584
«Без тебя, моя Глафира...»	151
Из цикла «Гудок Ивана Горюна»	153
Семира Болеславна	155 584
На план города Березова	163 584

СЕМЕН БОБРОВ

<i>Биографическая справка</i>	167
Из «Тавриды»	169 585
Ночь	172 587

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

К праху российского Ганнибала	177	588
Полночь	178	588

Г. П. КАМЕНЕВ

<i>Биографическая справка</i>	183	
Кладбище	185	589
«Вечер любезный! вечер багряный...» . . .	187	
На Новый, 1802-й год. К друзьям	190	
Громвал	192	
Сон	204	589
Вечер 14 июня 1801 года	207	589

П. П. СУМАРОКОВ

<i>Биографическая справка</i>	213	
Амур, лишенный зрения	215	589
Новизна	223	
Ода в громко-нежно-нелепо-новом вкусе . . .	224	590
Блаженства	228	590

А. Н. НАХИМОВ

<i>Биографическая справка</i>	231	
Элегия	233	590
Песнь луже	235	

К людям	238
Стихи на пути из города в деревню	239
Зеркало и урод	240

В. А. ОЗЕРОВ

<i>Биографическая справка</i>	243
Гимн богу любви	245 591
Перевод стихов Расина. <i>Из трагедии</i> <i>«Эсфирь»</i>	247 591
Волки и овцы. <i>Басня</i>	248 591

АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ

<i>Биографическая справка</i>	253
А. С. К<айсаро>ву	255 591
Эпиграммы	
«За что ты на меня сердита, я то знаю...»	256
«О, как священная религия стра- дает!..»	256 591
«Он сроду не краснел, краонеть и не умеет...»	256
С. И. П<лещеев>у 25-го сентября 1799 года	257 592
«О ты! которую несчастье угнетает...»	259
К портрету Гете	260
К ветхому поддевическому дому А. Ф. В<оейко>ва	261 592

«Ума ты светом озарен...»	262
«И в двадцать лет уж я довольно испы- тал!..»	263
«Пусть ей несчастлив я один...»	264 592
«Ты добр! Но пред тобой несчастный, угнетенный...»	265
«Забудем здесь искать блаженства...»	266
Элегия	267 594
К отечеству	271
<В. А. Жуковскому>	272
<М. М. Хераскову>	273 595
«Мой друг! Коль мог ты заблу- ждаться...»	274
«Уже ничем не утешает...»	275

А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ

<i>Биографическая справка</i>	279
Слава	281 596
Ода на разрушение Вавилона	294 596
«Чернобровый, черноглазый...»	298
Оды. <i>Из Туртея.</i>	
I. «Не тот достоин вечной славы...»	300 597
II. «Отколе нега, сон? — Когда...»	303
III. «Не вы ль, потомки Геркулеса...»	305
IV. «Почтим великого в мужах...»	307
«Я не думала ни о чем в свете тужить...»	311
«Ах девица-красавица...»	313
«Ах что ж ты, голубчик...»	315

«Не липочка кудрявая...»	317
«Мой безмолвный друг, опять к тебе иду...»	319
«Среди долины ровныя...»	320
«Вылетала бедна пташка на долину...»	322
Велизарий	324 597
Гимн Венере от Сафы	326 598
Гимн Пану	328 598

Ф. Ф. ИВАНОВ

<i>Биографическая справка</i>	333
Плач Минваны (<i>Из Оссиана</i>)	335 598
На отъезд К. Н. Батюшкова в армию	339 598
Ночь на могиле	341
Рогнеда на могиле Ярополковой	344 599
<Из трагедии «Марфа-Посадница»>	350 599
Послание к А<лексе>ю Ф<едорови>чу М<ерзляко>ву	352 600
Послание Катона к Юлию Кесарю	358 601
Разговор Катона с Брутом (<i>Из Лукановой «Фарсалии»</i>)	362 602
Меланхолия	367
Гимн, петый в концерте, данном россий- скими музыкантами в доме его высоко- превосходительства С. С. Апраксина, в пользу рожденного и воспитанного в Москве музыканта Г. Рейнгарда, января 7 дня 1814 года	371

А. Ф. ВОЕЙКОВ

<i>Биографическая справка</i>	375
Сатира к С<перанскому> об истинном благородстве	377 603
К моему старосте	382 605
К отечеству	387 606
Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому	391 607
К Жуковскому	394 607
К Е. А. Протасовой	399 609
<Из письма к П. А. Вяземскому>	401 609
Дом сумасшедших	403 609

И. Ф. ОСТОЛОПОВ

<i>Биографическая справка</i>	419
Бедная Дуня	421
На кончину Ивана Петровича Пнина 17 сентября 1805 года	423 617
Песня	425 617

А. П. БЕНИЦКИЙ

<i>Биографическая справка</i>	429
Сентябрь	431
Кончина Шиллера	434 617
Счастье	437

Балклута. Отрывок из <i>Оссиановской поэмы «Картон»</i>	438 618
Летняя ночь	440
Возвращение Бахуса из Индии. <i>Дифирамб</i>	441 619

А. Е. ИЗМАЙЛОВ

<i>Биографическая справка</i>	451
Смерть (<i>С французского</i>)	455 619
Сонет одного ирокойца, написанный на его природном языке	456 619
Стихи на кончину Ивана Петровича Пнина	457 619
Происхождение и польза басни	460
Граф N и его секретарь	462
Осел и Конь	464
Шут в парике	465 621
Цензор и сочинитель	467 621
Поединок	472 621
Пьяница	474
Совесьть разбойника	477
Каприз госпожи	478
Крестьянин и Кляча	479
Блины	481 622
Приказные синонимы	483
Волчья хитрость	485 622
Лгун	487 622
Судья Фаддей	490 623
Собака и секретарь. <i>Быль и сказка</i> . . .	492 623

Эпиграммы

- «„Ты друг мне?“ — „Друг“ — „А чем докажешь?..“» 495
- «Я месяц в гвардии служил...» . 495
- К изображению Фемиды (*С немецкого*) 495
- «Под камнем сим лежит губернский предводитель...» 496
- «Под камнем сим лежит великий генерал...» 496
- «Ну, исполать Фаддею!..» 496 624
- «Твои портреты очень схожи...» . . 496 624

М. В. МИЛОНОВ

- Биографическая справка* 499
- К Рубелию. *Сатира Персиева* 501 625
- К Луказию. *Сатира вторая* 504 625
- <Н. Ф. Грамматину> 510 626
- Уныние 511 627
- Похвала сельской жизни 515 627
- К моему рассудку. *Сатира третья* . . . 518 628
- К юности 525
- К Патриотам. Писано в 1812 году, по занятии французами Смоленска 528 630
- Мать-убийца (*Из Шиллера*) 531 630
- Договор со смертью. К друзьям моим . 536
- Ночь на могиле друга 540
- «Жуковский, не забудь Милонова ты вечно...» 543 630
- Послание в Вену к друзьям 544 631
- Падение листьев. *Элегия* 546 631

В. Л. ПУШКИН

<i>Биографическая справка</i>	551
«Какой-то стихотвор (довольно их у нас!)...»	553 631
К В. А. Жуковскому	554 632
К Д. В. Дашкову	558 633
Опасный сосед	562 635
К жителям Нижнего Новгорода	568 636
К князю П. А. Вяземскому	570 636
К ***	574 636
Эпиграммы	
«Какой учтивец стал Дамон!..»	577
«Приятель наш Ликаст...»	577
«На что мне жизнь? Лишился я друзей...»	577
Примечания	579
Словарь устаревших, малоупотребитель- ных слов и понятий	638
Словарь мифологических имен и названий	644

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов,
В. Г. Базанов, Б. И. Бурсов, В. М. Жирмунский,
В. О. Перцов, А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский (зам. главного
редактора)*

ПОЭТЫ НАЧАЛА XIX ВЕКА

Редактор *Г. П. Макогоненко*

Художник *Л. С. Хижинский*

Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*

Техн. редактор *С. И. Брусиловская*

Корректор *О. К. Ковалева*

*

Сдано в набор 20/IX 1960 г. Подписано к печати 29/XI 1960 г. Бумага 84 × 108 1/64. Печ. л. 10,31 (16,9). Уч.-изд. л. 20,65. Тираж .50 000 (1-й завод 10 000). Заказ № 1644. Цена 72 к.

*

Ленинградское отделение
издательства «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3